

ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС

ХОЛОДНЫЙ
ДОМ

Чарльз Диккенс

Холодный дом

«Public Domain»

1853

УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44

Диккенс Ч.

Холодный дом / Ч. Диккенс — «Public Domain», 1853

ISBN 978-5-699-53733-4

Чарльз Диккенс (1812–1870) – один из величайших англоязычных прозаиков XIX века. «Просейте мировую литературу – останется Диккенс» – эти слова принадлежат Льву Толстому. Большой мастер создания интриги, Диккенс насытил драму «Холодный дом» тайнами и запутанными сюжетными ходами. Вы будете плакать и смеяться буквально на одной странице, сочувствовать и сострадать беззащитным и несправедливо обиженным – автор не даст вам перевести дух.

УДК 821.111-31

ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-699-53733-4

© Диккенс Ч., 1853
© Public Domain, 1853

Содержание

Предисловие	6
Глава I	8
Глава II	13
Глава III	18
Глава IV	31
Глава V	39
Глава VI	48
Глава VII	62
Глава VIII	69
Глава IX	82
Глава X	92
Глава XI	100
Глава XII	110
Глава XIII	120
Глава XIV	130
Глава XV	144
Конец ознакомительного фрагмента.	147

Чарлз Диккенс

Холодный дом

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Э»,
2016

Предисловие

Как-то раз в моем присутствии один из канцлерских судей любезно объяснил обществу примерно в полтора человека, которых никто не подозревал в слабоумии, что хотя предубеждения против Канцлерского суда распространены очень широко (тут судья, кажется, покосился в мою сторону), но суд этот на самом деле почти безупречен. Правда, он признал, что у Канцлерского суда случались кое-какие незначительные промахи – один-два на протяжении всей его деятельности, но они были не так велики, как говорят, а если и произошли, то только лишь из-за «скаредности общества»: ибо это зловерное общество до самого последнего времени решительно отказывалось увеличить количество судей в Канцлерском суде, установленное – если не ошибаюсь – Ричардом Вторым, а впрочем, неважно, каким именно королем.

Эти слова показались мне шуткой, и, не будь она столь тяжеловесной, я решился бы включить ее в эту книгу и вложил бы ее в уста Велеречивого Кенджа или мистера Воулса, так как ее, вероятно, придумал либо тот, либо другой. Они могли бы даже присовокупить к ней подходящую цитату из шекспировского сонета:

Красильщик скрыть не может ремесло,
Так на меня проклятое занятие
Печатью несмываемой легло.
О, помоги мне смыть мое проклятье!

Но скаредному обществу полезно знать о том, что именно происходило и все еще происходит в судейском мире, поэтому заявляю, что все написанное на этих страницах о Канцлерском суде – истинная правда и не грешит против правды. Излагая дело Гридди, я только пересказал, не изменив ничего по существу, историю одного истинного происшествия, опубликованную беспристрастным человеком, который по роду своих занятий имел возможность наблюдать это чудовищное злоупотребление с самого начала и до конца. В настоящее время¹ в суде разбирается тяжба, которая была начата почти двадцать лет тому назад, в которой иногда выступало от тридцати до сорока адвокатов одновременно; которая уже обошлась в семьдесят тысяч фунтов, истраченных на судебные пошлины; которая является *дружеской тяжбой* и которая (как меня уверяют) теперь не ближе к концу, чем в тот день, когда она началась. В Канцлерском суде разбирается и другая знаменитая тяжба, все еще не решенная, а началась она в конце прошлого столетия и поглотила в виде судебных пошлин уже не семьдесят тысяч фунтов, а в два с лишком раза больше. Если бы понадобились другие доказательства того, что тяжбы, подобные делу «Джарндисы против Джарндисов», существуют, я мог бы в изобилии привести их на этих страницах, к стыду... скаредного общества.

Есть еще одно обстоятельство, о котором я хочу коротко упомянуть. С того самого дня, как умер мистер Крук, некоторые лица отрицают, что так называемое самовозгорание возможно; после того как кончина Крука была описана, мой добрый друг, мистер Льюис (быстро убедившийся в том, что глубоко ошибается, полагая, будто специалисты уже перестали изучать это явление), опубликовал несколько остроумных писем ко мне, в которых доказывал, что самовозгорания быть не может. Должен заметить, что я не ввожу своих читателей в заблуждение ни умышленно, ни по небрежности и, перед тем как писать о самовозгорании, постарался изучить этот вопрос. Известно около тридцати случаев самовозгорания, и самый знаменитый из них, происшедший с графиней Корнелией де Баиди Чезенате, был тщательно изучен и описан веронским пребендарием Джузеппе Бианкини, известным литератором, опубликовавшим

¹ В августе 1853 г. (Прим. автора.)

статью об этом случае в 1731 году в Вероне и позже, вторым изданием, в Риме. Обстоятельства смерти графини не вызывают никаких обоснованных сомнений и весьма сходны с обстоятельствами смерти мистера Крука. Вторым в ряду наиболее известных происшествий этого рода можно считать случай, имевший место в Реймсе шестью годами раньше и описанный доктором Ле Ка, одним из самых известных хирургов во Франции. На этот раз умерла женщина, мужа которой, по недоразумению, обвинили в ее убийстве, но оправдали после того, как он подал хорошо аргументированную апелляцию в вышестоящую инстанцию, так как свидетельскими показаниями было неопровержимо доказано, что смерть последовала от самовозгорания. Я не считаю нужным добавлять к этим знаменательным фактам и тем общим ссылкам на авторитет специалистов, которые даны в главе XXXIII, мнения и исследования знаменитых профессоров-медиков, французских, английских и шотландских, опубликованные в более позднее время; отмечу только, что не откажусь от признания этих фактов, пока не произойдет основательное «самовозгорание» тех свидетельств, на которых основываются суждения о происшествиях с людьми.

В «Холодном доме» я намеренно подчеркнул романтическую сторону будничной жизни.

Глава I

В Канцлерском суде

Лондон. Осенняя судебная сессия – «Сессия Михайлова дня» – недавно началась, и лорд-канцлер восседает в Линкольнс-Инн-Холле. Несносная ноябрьская погода. На улицах такая слякоть, словно воды потопа только что схлынули с лица земли, и, появившись на Холборн-Хилле мегалозавр длиной футов в сорок, плетущийся, как слоноподобная ящерица, никто бы не удивился. Дым стелется, едва поднявшись из труб, он словно мелкая черная изморось, и чудится, что хлопья сажи – это крупные снежные хлопья, надевшие траур по умершему солнцу. Собаки так вымазались в грязи, что их и не разглядишь. Лошади едва ли лучше – они забрызганы по самые наглазники. Пешеходы, поголовно заразившись раздражительностью, тычут друг в друга зонтами и теряют равновесие на перекрестках, где, с тех пор как рассвело (если только в этот день был рассвет), десятки тысяч других пешеходов успели споткнуться и поскользнуться, добавив новые вклады в ту уже скопившуюся – слой на слое – грязь, которая в этих местах цепко прилипает к мостовой, нарастая, как сложные проценты.

Туман везде. Туман в верховьях Темзы, где он плывет над зелеными островками и лугами; туман в низовьях Темзы, где он, утратив свою чистоту, клубится между лесом мачт и прибрежными отбросами большого (и грязного) города. Туман на Эссекских болотах, туман на Кентских возвышенностях. Туман ползет в камбузы угольных бригов; туман лежит на реях и плывет сквозь снасти больших кораблей; туман оседает на бортах баржей и шлюпок. Туман слепит глаза и забивает глотки престарелым гринвичским пенсионерам, хрипящим у каминов в доме призрения; туман проник в чубук и головку трубки, которую курит после обеда сердитый шкипер, засевший в своей тесной каюте; туман жестоко щиплет пальцы на руках и ногах его маленького юнги, дрожащего на палубе. На мостах какие-то люди, перегнувшись через перила, заглядывают в туманную преисподнюю и, сами окутанные туманом, чувствуют себя как на воздушном шаре, что висит среди туч.

На улицах свет газовых фонарей кое-где чуть маячит сквозь туман, как иногда чуть маячит солнце, на которое крестьянин и его работник смотрят с пашни, мокрой, словно губка. Почти во всех магазинах газ зажгли на два часа раньше обычного, и, кажется, он это заметил – светит тускло, точно нехотя.

Сырой день всего сырее, и густой туман всего гуще, и грязные улицы всего грязнее у ворот Тэмпл-Бара, сей крытой свинцом древней заставы, что отменно украшает подступы, но преграждает доступ к некоей свинцоволобой древней корпорации. А по соседству с Тэмпл-Баром, в Линкольнс-Инн-Холле, в самом сердце тумана восседает лорд верховный канцлер в своем Верховном Канцлерском суде.

И в самом непроглядном тумане, и в самой глубокой грязи и трясине невозможно так заплутаться и так увязнуть, как ныне плутает и вязнет перед лицом земли и неба Верховный Канцлерский суд, этот зловернейший из старых грешников.

День выдался под стать лорд-канцлеру – в такой, и только в такой вот день подобает ему здесь восседать, – и лорд-канцлер здесь восседает сегодня с туманным ореолом вокруг головы, в мягкой ограде из малиновых сукон и драпировок, слушая обратившегося к нему дородного адвоката с пышными бакенбардами и тоненьким голоском, читающего нескончаемое краткое изложение судебного дела, и созерцая окно верхнего света, за которым он видит туман и только туман. День выдался под стать членам адвокатуры при Верховном Канцлерском суде, – в такой-то вот день и подобает им здесь блуждать, как в тумане, и они в числе примерно двадцати человек сегодня блуждают здесь, разбираясь в одном из десяти тысяч пунктов некоей донельзя затянувшейся тяжбы, подставляя ножку друг другу на скользких прецедентах, по колено увя-

зая в технических затруднениях, колотясь головами в защитных париках из козьей шерсти и конского волоса о стены пустословия и по-актерски серьезно делая вид, будто вершат правосудие. День выдался под стать всем причастным к тяжбе поверенным, из коих двое-трое унаследовали ее от своих отцов, зашибивших на ней деньги, – в такой-то вот день и подобает им здесь сидеть, в длинном, устланном коврами «колодце» (хоть и бессмысленно искать Истину на его дне); да они и сидят здесь все в ряд между покрытым красным сукном столом регистратора и адвокатами в шелковых мантиях, навалив перед собой кипы исков, встречных исков, отводов, возражений ответчиков, постановлений, свидетельских показаний, судебных решений, референтских справок и референтских докладов – словом, целую гору чепухи, что обошлась очень дорого.

Да как же суду этому не тонуть во мраке, рассеять который бессильны горящие там и сям свечи; как же туману не висеть в нем такой густой пеленой, словно он застрял тут навсегда; как цветным стеклам не потускнеть настолько, что дневной свет уже не проникает в окна; как непосвященным прохожим, заглянувшим внутрь сквозь стеклянные двери, осмелиться войти сюда, не убоявшись этого зловещего зрелища и тягучих словопрений, которые глухо отдаются от потолка, прозвучав с помоста, где восседает лорд верховный канцлер, созерцая верхнее окно, не пропускающее света, и где все его приближенные париконосцы заблудились в тумане! Ведь это Канцлерский суд, и в любом графстве найдутся дома, разрушенные, и поля, заброшенные по его вине, в любом сумасшедшем доме найдется замученный человек, которого он свел с ума, а на любом кладбище – покойник, которого он свел в могилу; ведь это он разорил истца, который теперь ходит в стоптанных сапогах, в поношенном платье, занимая и кланяясь у всех и каждого; это он позволяет могуществу денег бессовестно попирает право; это он так истощает состояния, терпение, мужество, надежду, так подавляет умы и разбивает сердца, что нет среди судебных честного человека, который не стремится предостеречь, больше того, – который часто не предостерегает людей: «Лучше стерпеть любую обиду, чем подать жалобу в этот суд!»

Так кто же в этот хмурый день присутствует в суде лорд-канцлера, кроме самого лорд-канцлера, адвоката, выступающего по делу, которое разбирается, двух-трех адвокатов, никогда не выступающих ни по какому делу, и вышеупомянутых поверенных в «колодце»? Здесь, в парике и мантии, присутствует секретарь, сидящий ниже судьи; здесь, облаченные в судебскую форму, присутствуют два-три блюстителя не то порядка, не то законности, не то интересов короля. Все они одержимы зевотой – ведь они никогда не получают ни малейшего развлечения от тяжбы *«Джарндисы против Джарндисов»* (того судебного дела, которое слушается сегодня), ибо все интересное было выжато из нее многие годы тому назад. Стенографы, судебные докладчики, газетные репортеры неизменно удирают вместе с прочими завсегдатаями, как только дело Джарндисов выступает на сцену. Их места уже опустели. Стремясь получше разглядеть все, что происходит в задрапированном святилище, на скамью у боковой стены взобралась щупленькая, полоумная старушка в измятой шляпке, которая вечно торчит в суде от начала и до конца заседаний и вечно ожидает, что решение каким-то непостижимым образом состоится в ее пользу. Говорят, она действительно с кем-то судится или судилась; но никто этого не знает наверное, потому что никому до нее нет дела. Она всегда таскает с собой в ридикюле какой-то хлам, который называет своими «документами», хотя он состоит главным образом из бумажных спичек и сухой лаванды. Арестант с землистым лицом является под конвоем – чуть не в десятый раз – лично просить о снятии с него «обвинения в оскорблении суда», но просьбу его вряд ли удовлетворят, ибо он был когда-то одним из чьих-то душеприказчиков, пережил их всех и безнадежно запутался в каких-то счетах, о которых, по общему мнению, и знать не знал. Тем временем все его надежды на будущее рухнули. Другой разоренный истец, который время от времени приезжает из Шропшира, каждый раз всеми силами стараясь добиться разговора с канцлером после конца заседаний, и которому невозможно растолковать,

почему канцлер, четверть века отравлявший ему жизнь, теперь вправе о нем забыть, – другой разоренный истец становится на видное место и следит глазами за судьей, готовый, едва тот встанет, воззвать громким и жалобным голосом: «Милорд!» Несколько адвокатских клерков и других лиц, знающих этого просителя в лицо, задерживаются здесь в надежде позабавиться на его счет и тем разогнать скуку, навеянную скверной погодой.

Нудное судоговорение по делу Джарндисов все тянется и тянется. В этой тяжбе – пугале, а не тяжбе! – с течением времени все так перепуталось, что никто не может в ней ничего понять. Сами тяжущиеся разбираются в ней хуже других, и общеизвестно, что даже любые два юриста Канцлерского суда не могут поговорить о ней и пять минут без того, чтобы не разойтись во мнениях относительно всех ее пунктов. Нет числа младенцам, что сделались участниками этой тяжбы, едва родившись на свет; нет числа юношам и девушкам, что породнились с нею, как только вступили в брак; нет числа старикам, что выпутались из нее лишь после смерти. Десятки людей с ужасом узнавали вдруг, что они неизвестно как и почему оказались замешанными в тяжбе «Джарндисы против Джарндисов»; целые семьи унаследовали вместе с нею старые полузабытые распри. Маленький истец или ответчик, которому обещали подарить новую игрушечную лошадку, как только дело Джарндисов будет решено, успевал вырасти, обзавестись настоящей лошастью и ускакать на тот свет. Опекаемые судом красавицы девушки увяли, сделавшись матерями, а потом бабушками; прошла длинная вереница сменявших друг друга канцлеров; кипы приобщенных к делу свидетельств по искам уступили место кратким свидетельствам о смерти; с тех пор как старый Том Джарндис впал в отчаяние и, войдя в кофейню на Канцлерской улице, пустил себе пулю в лоб, на земле не осталось, кажется, и трех Джарндисов, но тяжба «Джарндисы против Джарндисов» все еще тянется в суде – год за годом, томительная и безнадежная.

Тяжба Джарндисов дает пищу остроумию. Больше ничего хорошего из нее не вышло. Многим людям она принесла смерть, зато в судейской среде она дает пищу остроумию. Каждый референт Канцлерского суда наводил справки в приобщенных к ней документах. Каждый канцлер, в бытность свою адвокатом, выступал в ней от имени того или иного лица. Старшины юридических корпораций – пожилые юристы с сизыми носами и в тупоносых башмаках – не раз удачно острили на ее счет, заседаая после обеда в избранном кругу своей «комиссии по распитию портвейна». Ученики-клерки привыкли оттачивать на ней свое юридическое остроумие. Теперешний лорд-канцлер как-то раз тонко выразил всеобщее отношение к тяжбе: видный адвокат мистер Блоуэрс сказал про что-то: «Это будет, когда с неба хлынет картофельный дождь», а канцлер заметил: «Или – когда мы распутаем дело Джарндисов, мистер Блоуэрс», и этой шутке тогда до упаду смеялись блюстители порядка, законности и интересов короля.

Трудно ответить на вопрос: сколько людей, даже не причастных к тяжбе «Джарндисы против Джарндисов», было испорчено и соvrащено с пути истинного ее губительным влиянием. Она развратила всех судейских, начиная с референта, который хранит стопы насаженных на шпильки, пропыленных, уродливо измятых документов, приобщенных к тяжбе, и кончая последним клерком-переписчиком в «Палате шести клерков», переписавшим десятки тысяч листов формата «канцлерский фолио» под неизменным заголовком «Джарндисы против Джарндисов». Под какими бы благовидными предлогами ни совершались вымогательство, надувательство, издевательство, подкуп и волокита, они тлетворны и ничего, кроме вреда, принести не могут. Даже мальчикам-слугам поверенных, издавна приучившимся не впускать несчастных просителей, уверяя их, будто мистер Чизл, Мизл – или как его там зовут? – сегодня особенно перегружен работой и занят до самого обеда, – даже этим мальчишкам пришлось лишний раз покривить душой из-за тяжбы Джарндисов. Сборщику судебных пошлин она принесла изрядную сумму денег, а в придачу – недоверие ко всем – даже к родной матери – и презрение к ближним. Чизл, Мизл – или как их там зовут? – привыкли давать себе туманные обещания разобраться в таком-то затянувшемся дельце и посмотреть, нельзя ли чем-нибудь

помочь Дризлу, – с которым так плохо обошлись, – но не раньше, чем их контора развяжется с делом Джарндисов. Повсюду рассеяло это злополучное дело семена жульничества и жадности всех видов, и даже те люди, которые наблюдали за развитием тяжбы, находясь за пределами ее порочного круга, сами того не заметив, поддались искушению беспринципно махнуть рукой на все дурное вообще и, предоставив ему идти все тем же дурным путем, столь же беспринципно решили, что если мир плох, значит, устроен он как попало и не суждено ему быть хорошим.

Так в самой гуще грязи и в самом сердце тумана восседает лорд верховный канцлер в своем Верховном Канцлерском суде.

– Мистер Тенгл, – говорит лорд верховный канцлер, не вытерпев наконец красноречия этого ученого джентльмена.

– М'лорд? – отзывается мистер Тенгл.

Никто так тщательно не изучил дела «Джарндисы против Джарндисов», как мистер Тенгл. Он этим славится, – говорят даже, будто он со школьной скамьи ничего другого не читал.

– Вы скоро закончите изложение своих доводов?

– Нет, м'лорд... много разнообразных вопросов... но мой долг повиноваться... вашей м'лости, – высказывает ответ из уст мистера Тенгла.

– Мы должны выслушать еще нескольких адвокатов, не правда ли? – говорит канцлер с легкой усмешкой.

Восемнадцать ученых собратьев мистера Тенгла, каждый из которых вооружен кратким изложением дела на восемнадцати сотнях листов, подскочив, словно восемнадцать молоточков в рояле, и отвесив восемнадцать поклонов, опускаются на свои восемнадцать мест, тонущих во мраке.

– Мы продолжим слушание дела через две недели, в среду, – говорит канцлер.

Надо сказать, что вопрос, подлежащий обсуждению, – это всего лишь вопрос о судебных пошлинах, ничтожный росток в дремучем лесу породившей его тяжбы, – и уж он-то, несомненно, будет разрешен рано или поздно.

Канцлер встает; адвокаты встают; арестанта поспешно выводят вперед; человек из Шропшира вызывает: «Милорд!» Блюстители порядка, законности и интересов короля негодуяще кричат: «Тише!» – бросая суровые взгляды на человека из Шропшира.

– Что касается, – начинает канцлер, все еще продолжая судоговорение по делу «Джарндисы против Джарндисов», – что касается молодой девицы...

– Прош'прощенья, ваш'милость... молодого человека, – преждевременно вскакивает мистер Тенгл.

– Что касается, – снова начинает канцлер, произнося слова особенно внятно, – молодой девицы и молодого человека, то есть обоих молодых людей...

(Мистер Тенгл повержен во прах.)

– ...коих я сегодня вызвал и кои сейчас находятся в моем кабинете, то я побеседую с ними и рассмотрю вопрос – целесообразно ли вынести решение о дозволении им проживать у их дяди.

Мистер Тенгл снова вскакивает:

– Прош'прощенья, ваш'милость... он умер.

– Если так, – канцлер, приложив к глазам лорнет, просматривает бумаги на столе, – то у их деда.

– Прош'прощенья, ваш'милость... дед пал жертвой... собственной опрометчивости... пустил пулю в лоб.

Тут из дальних скоплений тумана внезапно возникает крохотный адвокат и, пыжась изо всех сил, гудит громоподобным басом:

– Ваша милость, разрешите мне? Я выступаю от имени своего клиента. Молодым людям он приходится родственником в отдаленной степени родства. Я пока не имею возможности доложить суду, в какой именно степени, но он, бесспорно, их родственник.

Эта речь (произнесенная замогильным голосом) еще звучит где-то в вышине меж стропилами, а крохотный адвокат уже плюхнулся на свое место, скрывшись в тумане. Все его ищут глазами. Никто не видит его.

– Я побеседую с обоими молодыми людьми, – повторяет канцлер, – и рассмотрю вопрос о дозволении им проживать у их родственника. Я сообщу о своем решении завтра утром, когда открою заседание.

Канцлер уже собирается легким поклоном отпустить адвокатов, но тут подводят арестанта. Его запутанные дела, по-видимому, невозможно распутать, и остается только отдать приказ отвести его обратно в тюрьму, что и выполняют немедленно. Человек из Шропшира решается воззвать еще раз: «Милорд!» – но канцлер, заметив его, мгновенно исчезает. Все остальные тоже исчезают мигом. Батарей синих мешков заряжают тяжелыми бумажными снарядами, и клерки тащат ее прочь; полоумная старушка удаляется вместе со своими документами; опустевший суд запирают.

О, если б можно было здесь запереть всю им содеянную несправедливость, все горе, им принесенное, и сжечь дотла вместе с ним как огромный погребальный костер, – какое это было бы счастье и для лиц, непричастных к тяжбе «Джарндисы против Джарндисов»!

Глава II

В большом свете

В этот слякотный день нам довольно лишь мельком взглянуть на большой свет. Он не так уж резко отличается от Канцлерского суда, и нам нетрудно будет сразу же перенестись из одного мира в другой. И большой свет, и Канцлерский суд скованы прецедентами и обычаями: они – как заспавшиеся Рипы Ван-Винклы, что и в сильную грозу играли в странные игры; они – как спящие красавицы, которых когда-нибудь разбудит рыцарь, после чего все вертелы в кухне, теперь неподвижные, завертятся стремительно!

Большой свет невелик. Даже по сравнению с миром таких, как мы, впрочем тоже имеющих свои пределы (в чем вы, ваша светлость, убедитесь, когда, изъездив его вдоль и поперек, окажетесь перед зияющей пустотой), большой свет – всего лишь крошечное пятнышко. В нем много хорошего; много хороших, достойных людей; он занимает предназначенное ему место. Но все зло в том, что этот изнеженный мир живет как в футляре для драгоценностей, слишком плотно закутанный в мягкие ткани и тонкое сукно, а потому не слышит шума более обширных миров, не видит, как они вращаются вокруг солнца. Это отмирающий мир, и порождения его болезненны, ибо в нем нечем дышать.

Миледи Дедлок вернулась в свой лондонский дом и дня через три-четыре отбудет в Париж, где ее милость собирается пробыть несколько недель; куда она отправится потом, еще неизвестно. Так, стремясь осчастливить парижан, предвещает великосветская хроника, а кому, как не ей, знать обо всем, что делается в большом свете. Узнавать об этом из других источников было бы не по-светски. Миледи Дедлок провела некоторое время в своей линкольнширской «усадьбе», как она говорит, беседуя в тесном кругу. В Линкольншире настоящий потоп. Мост в парке обрушился – одну его арку подмыло и унесло паводком. Низина вокруг превратилась в запруженную реку шириной в полмили, и унылые деревья островками торчат из воды, а вода вся в пузырьках – ведь дождь льет и льет день-деньской. В «усадьбе» миледи Дедлок скука была невыносимая. Погода стояла такая сырая, много дней и ночей напролет так лило, что деревья, должно быть, отсырели насквозь, и когда лесник подсекает и обрубают их, не слышно ни стука, ни треска – кажется, будто топор бьет по мягкому. Олени, наверное, промокли до костей, и там, где они проходят, в их следах стоят лужицы. Выстрел в этом влажном воздухе звучит глухо, а дымок из ружья ленивым облачком тянется к зеленому холму с рощицей на вершине, на фоне которого отчетливо выделяется сетка дождя. Вид из окон в покоях миледи Дедлок напоминает то картину, написанную свинцовой краской, то рисунок, сделанный китайской тушью. Вазы на каменной террасе перед домом весь день наполняются дождевой водой, и всю ночь слышно, как она переливается через край и падает тяжелыми каплями – кап-кап-кап – на широкий настил из плитняка, исстари прозванный «Дорожкой призрака». В воскресенье пойдешь в церковку, что стоит среди парка, видишь – вся она внутри заплесневела, на дубовой кафедре выступил холодный пот, и чувствуешь такой запах, такой привкус во рту, словноходишь в склеп дедлоковских предков. Как-то раз миледи Дедлок (женщина бездетная), глядя ранними сумерками из своего будуара на сторожку привратника, увидела отблеск каминного пламени на стеклах решетчатых окон, и дым, поднимающийся из трубы, и женщину, догоняющую ребенка, который выбежал под дождем к калитке навстречу мужчине в клеенчатом плаще, блестящем от влаги, – увидела и потеряла душевное спокойствие. И миледи Дедлок теперь говорит, что все это ей «до смерти надоело».

Вот почему миледи Дедлок сбежала из линкольнширской усадьбы, предоставив ее дождю, воронам, кроликам, оленям, куропаткам и фазанам. А в усадьбе домоправительница прошла по комнатам старинного дома, закрывая ставни, и портреты покойных Дедлоков

исчезли – словно скрылись от неизбежной тоски в отсыревшие стены. Скоро ли они вновь появятся на свет божий – этого даже великосветская хроника, всеведущая, как дьявол, когда речь идет о прошлом и настоящем, но не ведающая будущего, пока еще предсказать не решается.

Сэр Лестер Дедлок всего лишь баронет, но нет на свете баронета более величественного. Род его так же древен, как горы, но бесконечно почтеннее. Сэр Лестер склонен думать, что мир, вероятно, может обойтись без гор, но он погибнет без Дедлоков. О природе он, в общем, мог бы сказать, что замысел ее хорош (хоть она, пожалуй, немножко вульгарна, когда не заключена в ограду парка), но замысел этот еще предстоит осуществить, что всецело зависит от нашей земельной аристократии. Это джентльмен строгих правил, презирующий все мелочное и низменное, и он готов когда угодно пойти на какую угодно смерть, лишь бы на его безупречно честном имени не появилось ни малейшего пятнышка. Это человек почтенный, упрямый, правдивый, великодушный, с закоренелыми предрассудками и совершенно неспособный прислушиваться к голосу разума.

Сэр Лестер на добрых два десятка лет старше миледи. Ему уже перевалило за шестьдесят пять или шестьдесят шесть лет, а то и за все шестьдесят семь. Время от времени он страдает приступами подагры, и походка у него немного деревянная. Вид у него представительный: серебристо-седые волосы и бакенбарды, тонкое жабо, белоснежный жилет, синий сюртук, который всегда застегнут на все пуговицы, начищенные до блеска. Он церемонно учтив, важен, изысканно вежлив с миледи во всех случаях жизни и превыше всего ценит ее обаяние. К миледи он относится по-рыцарски, – так же, как в те времена, когда добивался ее руки, – и это – единственная романтическая черточка в его натуре.

Что и говорить, женился он на ней по любви, только по любви. До сего времени ходят слухи, будто она даже не родовита; впрочем, сам сэр Лестер происходит из столь знатного рода, что, вероятно, решил удовольствоваться им и обойтись без новых родственных связей. Зато миледи так прекрасна, так горда и честолюбива, одарена такой дерзновенной решительностью и умом, что может затмить целый легион светских дам. Эти качества в сочетании с богатством и титулом быстро помогли ей подняться в высшие сферы, и вот уже много лет, как миледи Дедлок пребывает в центре внимания великосветской хроники, на верхней ступени великосветской лестницы.

О том, как лил слезы Александр Македонский, осознав, что он завоевал весь мир и больше завоевывать нечего, знает каждый или может узнать теперь, потому что об этом стали упоминать довольно часто. Миледи Дедлок, завоевав *свой* мирок, не только не изошла слезами, но как бы оледенела. Утомленное самообладание, равнодушие пресыщения, такая невозмутимость усталости, что никаким интересам и удовольствиям ее не всколыхнуть, – вот победные трофеи этой женщины. Держится она безукоризненно. Если бы завтра ее вознесли на небеса, она, вероятно, поднялась бы туда, не выразив ни малейшего восторга.

Она все еще хороша собой, и хотя красота ее уже пережила летний расцвет, но осень для нее еще не настала. Лицо у леди Дедлок примечательное – раньше его можно было назвать скорее очень миловидным, чем красивым, но с годами оно приобрело выражение, свойственное лицам высокопоставленных женщин, и это придало ее чертам классическую строгость. Она очень стройна и потому кажется высокой. На самом деле она среднего роста, но, как не раз клятвенно утверждал достопочтенный Боб Стейблс, «она умеет выставить свои стати в самом выгодном свете». Тот же авторитетный ценитель находит, что «экстерьер у нее безупречный», и, в частности, по поводу ее прически отмечает, что она «самая выхоленная кобылица во всей конюшне».

Итак, украшенная всеми этими совершенствами, миледи Дедлок (неотступно преследуемая великосветской хроникой) приехала в Лондон из линкольнширской усадьбы, чтобы провести дня три-четыре в своем городском доме, а затем отбыть в Париж, где ее милость собирается

прожить несколько недель; куда она отправится потом, пока еще неясно. А в городском ее доме в этот слякотный, хмурый день появляется старосветский пожилой джентльмен, ходатай по делам, а также поверенный при Верховном Канцлерском суде, имеющий честь быть фамильным юрисконсультom Дедлоков, имя которых начертано на стольких чугунных ящиках, стоящих в его конторе, как будто ныне здравствующий баронет не человек, а монета, непрерывно перелетающая по мановению фокусника из одного ящика в другой. Через вестибюль, вверх по лестнице, по коридорам, по комнатам, столь праздничным во время лондонского сезона и столь унылым остальное время года – страна чудес для посетителей, но пустыня для обитателей, – Меркурий в пудреном парике провожает пожилого джентльмена к миледи.

Пожилой джентльмен выглядит немного обветшалым, хотя, по слухам, он очень богат, ибо нажил большое состояние на заключении брачных договоров и составлении завещаний для членов аристократических семейств. Окруженный таинственным ореолом хранителя семейных тайн, он, как всем известно, владеет ими, не открывая их никому. Мавзолеи аристократии, век за веком врастающие в землю на уединенных прогалинах парков, среди молодой поросли и папоротника, хранят, быть может, меньше аристократических тайн, чем грудь мистера Талкинхорна, запертые в которой эти тайны бродят вместе с ним по белу свету. Он, что называется, «человек старой школы» – в этом образном выражении речь идет о школе, которая, кажется, никогда не была молодой, – и носит короткие штаны, стянутые лентами у колен, и гетры или чулки. Его черный костюм и черные чулки, все равно шелковые они или шерстяные, имеют одну отличительную особенность: они всегда тусклы. Как и он сам, платье его не бросается в глаза, застегнуто наглухо и не меняет своего оттенка даже при ярком свете. Он ни с кем никогда не разговаривает – разве только если с ним советуются по юридическим вопросам. Иногда можно увидеть, как он, молча, но чувствуя себя как дома, сидит в каком-нибудь крупном поместье на углу обеденного стола или стоит у дверей гостиной, о которой красноречиво повествует великосветская хроника; здесь он знаком со всеми, и половина английской знати, проходя мимо, останавливается, чтобы сказать ему: «Как поживаете, мистер Талкинхорн?» Он без улыбки принимает эти приветствия и хоронит их в себе вместе со всем, что ему известно.

Сэр Лестер Дедлок сидит у миледи и рад видеть мистера Талкинхорна. Мистер Талкинхорн как будто сознает, что принадлежит Дедлокам по праву давности, а это всегда приятно сэру Лестеру; он принимает это как некую дань. Ему нравится костюм мистера Талкинхорна: подобный костюм тоже в некотором роде – дань. Он безукоризненно приличен, но все-таки чем-то смахивает на ливрею. Он облакает, если можно так выразиться, хранителя юридических тайн, дворецкого, ведающего юридическим погребом Дедлоков.

Подозревает ли об этом сам мистер Талкинхорн? Быть может, да, а может быть, и нет; но следует отметить одну замечательную особенность, свойственную миледи Дедлок, как дочери своего класса, как одной из предводительниц и представительниц своего мирка: смотрясь в зеркало, созданное ее воображением, она видит себя каким-то непостижимым существом, совершенно недоступным для понимания простых смертных, и в этом зеркале она действительно выглядит так. Однако любая тусклая планетка, вращающаяся вокруг нее, начиная с ее собственной горничной и кончая директором Итальянской оперы, знает ее слабости, предрасудки, причуды, аристократическое высокомерие, капризы и кормится тем, что подсчитывает и измеряет ее душевные качества с такой же точностью и так же тщательно, как портниха снимает мерку с ее талии.

Допустим, что понадобилось создать моду на новый фасон платья, новый обычай, нового певца, новую танцовщицу, новое драгоценное украшение, нового карлика или великана, новую часовню – что-нибудь новое, все равно что. Этим займутся угодливые люди самых различных профессий, которые, по глубокому убеждению миледи Дедлок, способны лишь на преклонение перед ее особой, но в действительности могут научить вас командовать ею, как ребенком, –

люди, которые всю свою жизнь только и делают, что нянчатся с ней, смиренно притворяясь, будто следуют за нею с величайшим подобострастием, на самом же деле ведут ее и всю ее свиту на поводу и, зацепив одного, непременно зацепят и уведут всех, куда хотят, как Лемюэль Гулливер увел грозный флот величественной Лилипутии.

– Если вы хотите привлечь внимание наших, сэр, – говорят ювелиры Блейз и Спаркл, подразумевая под «нашими» леди Дедлок и ей подобных, – вы должны помнить, что имеете дело не с широкой публикой; вы должны поразить их в самое уязвимое место, а их самое уязвимое место – вот это.

– Чтобы выгодно распродать этот товар, джентльмены, – говорят галантерейщики Шийн и Глосс своим знакомым фабрикантам, – вы должны обратиться к нам, потому что мы умеем привлекать светскую клиентуру и можем создать моду на ваш товар.

– Если вы желаете видеть эту гравюру на столе у моих высокопоставленных клиентов, сэр, – говорит книгопродавец мистер Следдери, – если вы желаете ввести этого карлика или этого великана в дома моих высокопоставленных клиентов, сэр, если вы желаете обеспечить успех этому спектаклю у моих высокопоставленных клиентов, сэр, осмелюсь посоветовать вам поручить это дело мне, ибо я имею обыкновение изучать тех, кто задает тон в среде моих высокопоставленных клиентов, сэр, и, скажу не хвастаясь, могу обвести их вокруг пальца.

И, говоря это, мистер Следдери – человек честный – отнюдь не преувеличивает.

Итак, мистер Талкингхорн, быть может, не знает, что сейчас на душе у Дедлоков; но скорей всего знает.

– Дело миледи сегодня опять разбиралось в Канцлерском суде, не правда ли, мистер Талкингхорн? – спрашивает сэр Лестер, протягивая ему руку.

– Да. Сегодня оно опять разбиралось, – отвечает мистер Талкингхорн, как всегда, неторопливо кланяясь миледи, которая сидит на диване у камина и, держа перед собой ручной экран, защищает им лицо от огня.

– Не стоит и спрашивать, вышло ли из этого хоть что-нибудь путное, – говорит миледи с таким же скучающим видом, какой был у нее в линкольнширской усадьбе.

– Ничего такого, что *вы* назвали бы «путным», сегодня не вышло, – отзывается мистер Талкингхорн.

– Да и никогда не выйдет, – говорит миледи.

Сэр Лестер не против бесконечных канцлерских тяжб. Тянутся они долго, денег стоят уйму, зато соответствуют британскому духу и конституции. Правда, сэр Лестер не очень заинтересован в тяжбе «Джарндисы против Джарндисов», хотя, кроме участия в ней – и, значит, надежды на наследство, – миледи не принесла ему никакого приданого, и он только смутно ощущает, как нелепейшую случайность, что его фамилия – фамилия Дедлок – встречается лишь в бумагах, приобщенных к какой-то тяжбе, тогда как должна бы стоять в ее заголовке. Но, по его мнению, Канцлерский суд, даже если он порой несколько замедляет правосудие и слегка путается, все-таки есть нечто, изобретенное – вкуче со многими другими «нечто» – совершенным человеческим разумом для закрепления навечно всего на свете. Вообще он твердо убежден, что санкционировать своей моральной поддержкой жалобы на этот суд все равно что подстрекать какого-нибудь простолюдина поднять где-нибудь восстание... по примеру Уота Тайлера.

– Ввиду того, что к делу приобщено несколько новых показаний, притом коротких, – начинает мистер Талкингхорн, – и ввиду того, что у меня есть прескверный обычай докладывать моим клиентам – с их разрешения – обо всех новых обстоятельствах их судебного дела, – осторожный мистер Талкингхорн предпочитает не брать на себя лишней ответственности, – и далее, поскольку вы, как мне известно, собираетесь в Париж, я принес с собой эти показания.

(Сэр Лестер, кстати сказать, тоже собирается в Париж, но великосветская хроника жадно интересуется только его супругой.)

Мистер Талкингхорн вынимает бумаги, просит разрешения положить их на великолепный позолоченный столик, у которого сидит миледи, и, надев очки, начинает читать при свете лампы, прикрытой абажуром:

– «В Канцлерском суде. Между Джоном Джарндисом...»

Миледи прерывает его просьбой по возможности опускать « всю эту судейскую тарабарщину ».

Мистер Талкингхорн бросает на нее взгляд поверх очков и, пропустив несколько строк, продолжает читать. Миледи с небрежным и презрительным видом перестает слушать. Сэр Лестер, покаясь в огромном кресле, смотрит на пламя камина и, кажется, величественно одобряет перегруженное бесчисленными повторами судейское многословие, видимо почитая его одним из оплотов нации. Там, где сидит миледи, становится жарко, а ручной экран, хоть и драгоценный, слишком мал; он красив, но бесполезен. Пересев на другое место, миледи замечает бумаги на столе... присматривается к ним... присматривается внимательней... и вдруг спрашивает:

– Кто это переписывал?

Мистер Талкингхорн мгновенно умолкает, изумленный волнением миледи и необычным для нее тоном.

– Кажется, такой почерк называется у вас, юристов, писарским почерком? – спрашивает она, снова приняв небрежный вид, и, обмахиваясь ручным экраном, пристально смотрит мистеру Талкингхорну в лицо.

– Нет, не сказал бы, – отвечает мистер Талкингхорн, рассматривая бумаги. – Вероятно, этот почерк приобрел писарской характер уже после того, как установился. А почему вы спрашиваете?

– Просто так, для разнообразия – очень уж скучно слушать. Но продолжайте, пожалуйста, продолжайте!

Мистер Талкингхорн снова принимается за чтение. Становится еще жарче; миледи загроживает лицо экраном. Сэр Лестер дремлет; но внезапно он вскакивает с криком:

– Как? Что вы сказали?

– Я сказал, – отвечает мистер Талкингхорн, быстро поднявшись, – « боюсь, что миледи Дедлок нездоровится ».

– Мне дурно, – шепчет миледи побелевшими губами, – только и всего; но дурно, как перед смертью. Не говорите со мной. Позвоните и проводите меня в спальню!

Мистер Талкингхорн переходит в другую комнату; звонят колокольчики; чьи-то шаги шаркают и топчут; но вот наступает тишина. Наконец Меркурий приглашает мистера Талкингхорна вернуться.

– Ей лучше, – говорит сэр Лестер, жестом предлагая поверенному сесть и читать вслух – теперь уже ему одному. – Я очень испугался. Насколько я знаю, у миледи никогда в жизни не было обмороков. Правда, погода совершенно невыносимая... и миледи до смерти соскучилась у нас в линкольнширской усадьбе.

Глава III

Жизненный путь

Мне очень трудно приступить к своей части этого повествования, – ведь я знаю, что я неумная. Да и всегда знала. Помнится, еще в раннем детстве я часто говорила своей кукле, когда мы с ней оставались вдвоем:

– Ты же отлично знаешь, куколка, что я дурочка, так будь добра, не сердись на меня!

Румяная, с розовыми губками, она сидела в огромном кресле, откинувшись на его спинку, и смотрела на меня, – или, пожалуй, не на меня, а в пространство, – а я усердно делала стежок за стежком и поверяла ей все свои тайны.

Милая старая кукла! Я была очень застенчивой девочкой – не часто решалась открыть рот, чтобы вымолвить слово, а сердца своего не открывала никому, кроме нее. Плакать хочется, когда вспомнишь, как радостно было, вернувшись домой из школы, взбежать наверх, в свою комнату, крикнуть: «Милая, верная куколка, я знала, ты ждешь меня!», сесть на пол и, прислонившись к подлокотнику огромного кресла, рассказывать ей обо всем, что я видела с тех пор, как мы расстались. Я с детства была довольно наблюдательная, – но не сразу все понимала, нет! – просто я молча наблюдала за тем, что происходило вокруг, и мне хотелось понять это как можно лучше. Я не могу соображать быстро. Но когда я очень нежно люблю кого-нибудь, я как будто яснее вижу все. Впрочем, возможно, что мне это только кажется потому, что я тщеславна.

С тех пор как я себя помню, меня, как принцесс в сказках (только принцессы всегда красавицы, а я нет), воспитывала моя крестная. То есть мне говорили, что она моя крестная. Это была добродетельная, очень добродетельная женщина! Она часто ходила в церковь: по воскресеньям – три раза в день, а по средам и пятницам – к утренней службе, кроме того, слушала все проповеди, не пропуская ни одной. Она была красива, и если б улыбалась хоть изредка, была бы прекрасна, как ангел (думала я тогда); но она никогда не улыбалась. Всегда оставалась серьезной и суровой. И она была такая добродетельная, что если и хмурилась всю жизнь, то лишь оттого, казалось мне, что видела, как плохи другие люди. Я чувствовала, что не похожа на нее ничем, что отличаюсь от нее гораздо больше, чем отличаются маленькие девочки от взрослых женщин, и казалась себе такой жалкой, такой ничтожной, такой чуждой ей, что при ней не могла держать себя свободно, мало того – не могла даже любить ее так, как хотелось бы любить. Я с грустью сознавала, до чего она добродетельна и до чего я недостойна ее, страстно надеялась, что когда-нибудь стану лучше, и часто говорила об этом со своей милой куклой; но все-таки я не любила крестной так, как должна была бы любить и любила бы, будь я по-настоящему хорошей девочкой.

От этого, думается мне, я с течением времени сделалась более робкой и застенчивой, чем была от природы, и привязалась к кукле – единственной подруге, с которой чувствовала себя легко. Я была совсем маленькой девочкой, когда случилось одно событие, еще больше укрепившее эту привязанность.

При мне никогда не говорили о моей маме. О папе тоже не говорили, но больше всего мне хотелось знать о маме. Не помню, чтобы меня когда-нибудь одевали в траурное платье. Мне ни разу не показали маминой могилы. Мне даже не говорили, где находится ее могила. Однако меня учили молиться только за крестную, – словно у меня и не было других родственников. Не раз пыталась я, когда вечером уже лежала в постели, заговорить об этих волновавших меня вопросах с нашей единственной служанкой, миссис Рейчел (тоже очень добродетельной женщиной, но со мной обращавшейся строго), однако миссис Рейчел отвечала только: «Спокойной ночи, Эстер!», брала мою свечу и уходила, оставляя меня одну.

В нашей школе, где я была приходящей, училось семеро девочек, – они называли меня «крошка Эстер Саммерсон», – но я ни к одной из них не ходила в гости. Правда, все они были гораздо старше и умнее меня и знали гораздо больше, чем я (я была много моложе других учениц), но, помимо разницы в возрасте и развитии, нас, казалось мне, разделяло что-то еще. В первые же дни после моего поступления в школу (я это отчетливо помню) одна девочка пригласила меня к себе на вечеринку, чему я очень обрадовалась. Но крестная в самых официальных выражениях написала за меня отказ, и я не пошла. Я ни у кого не бывала в гостях.

Наступил день моего рождения. В дни рождения других девочек нас отпускали из школы, а в мой нет. Дни рождения других девочек праздновали у них дома – я слышала, как ученицы рассказывали об этом друг другу; мой не праздновали. Мой день рождения был для меня самым грустным днем в году.

Я уже говорила, что, если меня не обманывает тщеславие (а я знаю, оно способно обманывать, и, может быть, я очень тщеславна, сама того не подозревая... Впрочем, нет, не тщеславна), моя проницательность обостряется вместе с любовью. Я крепко привязываюсь к людям, и если бы теперь меня ранили, как в тот день рождения, мне, пожалуй, было бы так же больно, как тогда; но подобную рану нельзя перенести дважды.

Мы уже пообедали и сидели с крестной за столом у камина. Часы тикали, дрова потрескивали; не помню, как долго никаких других звуков не было слышно в комнате, да и во всем доме. Наконец, оторвавшись от шитья, я робко взглянула через стол на крестную, и в ее лице, в ее устремленном на меня хмурым взгляде прочла: «Лучше б у тебя вовсе не было дня рождения, Эстер... лучше бы ты и не родилась на свет!»

Я расплакалась и, всхлипывая, проговорила:

– Милая крестная, скажите мне, умоляю вас, скажите, моя мама умерла в тот день, когда я родилась?

– Нет, – ответила она. – Не спрашивай меня, дитя.

– Пожалуйста, пожалуйста, расскажите мне что-нибудь о ней. Расскажите же, наконец, милая крестная, пожалуйста, расскажите сейчас. За что она покинула меня? Как я ее потеряла? Почему я так отличаюсь от других детей и как получилось, что я сама в этом виновата, милая крестная? Нет, нет, нет, не уходите! Скажите же мне что-нибудь!

Меня обуял какой-то страх, и я в отчаянии уцепилась за ее платье и бросилась перед ней на колени. Она все время твердила: «Пусти меня!» Но вдруг замерла.

Ее потемневшее лицо так поразило меня, что мой порыв угас. Я протянула ей дрожащую ручонку и хотела было от всей души попросить прощения, но крестная так посмотрела на меня, что я отдернула руку и прижала ее к своему трепещущему сердцу. Она подняла меня и, поставив перед собой, села в кресло, потом заговорила медленно, холодным, негромким голосом (я и сейчас вижу, как она, сдвинув брови, показала на меня пальцем):

– Твоя мать покрыла тебя позором, Эстер, а ты навлекла позор на нее. Настанет время – и очень скоро, – когда ты поймешь это лучше, чем теперь, и почувствуешь так, как может чувствовать только женщина. То горе, что она принесла мне, я ей простила, – однако лицо крестной не смягчилось, когда она сказала это, – и я больше не буду о нем говорить, хотя это такое великое горе, какого ты никогда не поймешь... да и никто не поймет, кроме меня, страдальцы. А ты, несчастная девочка, осиротела и была опозорена в тот день, когда родилась – в первый же из этих твоих постыдных дней рождения; так молись каждодневно о том, чтобы чужие грехи не пали на твою голову, как сказано в Писании. Забудь о своей матери, и пусть люди забудут ее и этим окажут величайшую милость ее несчастному ребенку. А теперь уйди.

Я хотела было уйти – так замерли во мне все чувства, – но крестная остановила меня и сказала:

– Послушание, самоотречение, усердная работа – вот что может подготовить тебя к жизни, на которую в самом ее начале пала подобная тень. Ты не такая, как другие дети, Эстер, –

потому что они рождены в узаконенном грехе и вожделении, а ты – в незаконном. Ты стоишь особняком.

Я поднялась в свою комнату, забралась в постель, прижалась мокрой от слез щекой к щечке куклы и, обнимая свою единственную подругу, плакала, пока не уснула. Хотя я и плохо понимала причины своего горя, мне теперь стало ясно, что никому на свете я не принесла радости и никто меня не любит так, как я люблю свою куколку.

Подумать только, как много времени я проводила с нею после этого вечера, как часто я рассказывала ей о своем дне рождения и заверяла ее, что всеми силами попытаюсь искупить тяготеющий на мне от рождения грех (в котором покаянно считала себя без вины виноватой) и постараюсь быть всегда прилежной и добросердечной, не жаловаться на свою судьбу и по мере сил делать добро людям, а если удастся, то и заслужить чью-нибудь любовь. Надеюсь, я не потворю своим слабостям, если, вспоминая об этом, плачу. Я очень довольна своей жизнью, я очень бодра духом, но мне трудно удержаться.

Ну вот! Я вытерла глаза и могу продолжать. После этого дня я стала еще сильнее ощущать свое отчуждение от крестной и страдать от того, что занимаю в ее доме место, которое лучше было бы не занимать, и хотя в душе я была глубоко благодарна ей, но разговаривать с нею почти не могла. То же самое я чувствовала по отношению к своим школьным подругам, то же – к миссис Рейчел и особенно – к ее дочери, навещавшей ее два раза в месяц, – дочерью миссис Рейчел (она была вдовой) очень гордилась! Я стала очень замкнутой и молчаливой и старалась быть как можно прилежнее.

Как-то раз в солнечный день, когда я вернулась из школы с книжками в сумке и, глядя на свою длинную тень, стала, как всегда, тихонько подниматься вверх, к себе в комнату, крестная выглянула из гостиной и позвала меня. Я увидела, что у нее сидит какой-то незнакомый человек, – а незнакомые люди заходили к нам очень редко, – представительный важный джентльмен в черном костюме и белом галстуке; на мизинце у него был толстый перстень-печатка, на часовой цепочке – большие золотые брелоки, а в руках – очки в золотой оправе.

– Вот она, эта девочка, – сказала крестная вполголоса. Затем проговорила, как всегда, суровым тоном: – Это Эстер, сэр.

Джентльмен надел очки, чтобы получше меня рассмотреть, и сказал:

– Подойдите, милая.

Продолжая меня разглядывать, он пожал мне руку и попросил меня снять шляпу. Когда же я сняла ее, он проговорил: «А!», потом «Да!». Затем уложил очки в красный футляр, откинулся назад в кресле и, перекидывая футляр с ладони на ладонь, кивнул крестной. Тогда крестная сказала мне: «Можешь идти вверх, Эстер», а я сделала реверанс джентльмену и ушла.

С тех пор прошло года два, и мне было уже почти четырнадцать, когда я однажды ненастным вечером сидела с крестной у камина. Я читала вслух, она слушала. Как всегда, я сошла вниз в девять часов, чтобы почитать Библию крестной, и читала одно место из Евангелия от Иоанна, где говорится о том, что к нашему Спасителю привели грешницу, а он наклонился и стал писать пальцем по земле.

– «Когда же продолжали спрашивать его, – читала я, – он, склонившись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось в нее камень».

На этих словах я оборвала чтение, потому что крестная внезапно встала, схватила за голову и страшным голосом выкрикнула слова из другой главы Евангелия:

– «Итак, бодрствуйте... чтобы, пришедши внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте».

Мгновение она стояла, повторяя эти слова, и вдруг рухнула на пол. Мне незачем было звать на помощь – ее голос прозвучал по всему дому, и его слышали даже с улицы.

Ее уложили в постель. Она лежала больше недели, почти не изменившись внешне, – ее красивое лицо, со столь хорошо мне знакомым решительным и хмурым выражением, как бы застыло. Часто-часто, днем и ночью, прижавшись щекой к ее подушкам, чтобы она могла лучше расслышать мой шепот, я целовала ее, благодарила, молилась за нее, просила ее благословить и простить меня, умоляла подать хоть малейший знак, что она меня узнает и слышит. Все напрасно! Лицо ее словно окаменело. Ни разу, вплоть до самого последнего мгновения, и даже после смерти, оно не смягчилось.

На следующий день после похорон моей бедной, доброй крестной джентльмен в черном костюме и белом галстуке снова явился к нам. Он послал за мной миссис Рейчел, и я увидела его на прежнем месте – как будто он и не уходил.

– Моя фамилия Кендж, – сказал он, – запомните ее, дитя мое: контора Кенджа и Карбоя, в Линкольнс-Инне.

Я сказала, что уже встречалась с ним однажды и помню его.

– Садитесь, пожалуйста... вот здесь, поближе ко мне. Не отчаивайтесь, – это бесполезно. Миссис Рейчел, вы осведомлены о делах покойной мисс Барбери, значит, мне незачем говорить вам, что средства, которыми она располагала при жизни, так сказать, умерли вместе с нею, и эта молодая девица теперь, когда ее тетка скончалась...

– Моя тетка, сэр!

– Не стоит продолжать обман, если этим не достигаешь никакой цели, – мягко проговорил мистер Кендж. – Она ваша тетка по крови, но не по закону. Не отчаивайтесь! Перестаньте плакать! Не надо так дрожать! Миссис Рейчел, наша юная приятельница, конечно, слышала о... э-э... – тяжбе «Джарндисы против Джарндисов»?

– Нет, – ответила миссис Рейчел.

– Может ли быть, – изумился мистер Кендж, надев очки, – чтобы наша юная приятельница... *прошу* вас, не отчаивайтесь!.. никогда не слыхала о деле Джарндисов?

Я покачала головой, спрашивая себя, что это такое.

– Не слыхала о тяжбе «Джарндисы против Джарндисов»? – проговорил мистер Кендж, глядя на меня поверх очков и осторожно поворачивая их футляр какими-то ласкающими движениями. – Не слыхала об одной из знаменитейших тяжб Канцлерского суда? О тяжбе Джарндисов, которая... э... является величайшим монументом канцлерской судебной практики? Тяжба, в которой, я бы сказал, каждое осложнение, каждое непредвиденное обстоятельство, каждая фикция, каждая форма процедуры, известная этому суду, повторяется все вновь и вновь? Это такая тяжба, какой не может быть нигде, кроме как в нашем свободном и великом отечестве. Должен сказать, миссис Рейчел, – очевидно, я казалась ему невнимательной и потому он обращался к ней, – что общая сумма судебных пошлин по тяжбе «Джарндисы против Джарндисов» дошла к настоящему времени до *ше-сти-десяти*, а может быть, и *се-ми-десяти* тысяч фунтов! – заключил мистер Кендж, откидываясь назад в кресле.

Я ничего не могла понять; но что мне было делать? Я была так несведуща в подобных вопросах, что и после его разъяснений ровно ничего не понимала.

– Неужели она и впрямь ничего не слыхала об этой тяжбе? – проговорил мистер Кендж. – Поразительно!

– Мисс Барбери, сэр, – начала миссис Рейчел, – которая ныне пребывает среди серафимов...

– Надеюсь, что так, надеюсь, – вежливо вставил мистер Кендж.

– ...желала, чтобы Эстер знала лишь то, что может быть ей полезно. Только этому ее и учили здесь, а больше она ничего не знает.

– Прекрасно! – проговорил мистер Кендж. – В общем, это очень разумно. Теперь приступим к делу, – обратился он ко мне. – Мисс Барбери была вашей единственной родственницей

(разумеется – незаконной; по закону же у вас, должен заметить, нет никаких родственников), но она скончалась, и, конечно, нельзя ожидать, что миссис Рейчел...

– Конечно, нет! – поспешила подтвердить миссис Рейчел.

– Разумеется, – согласился мистер Кендж. – Нельзя ожидать, что миссис Рейчел обременит себя вашим содержанием и воспитанием (прошу вас, не отчаивайтесь), поэтому вы теперь имеете возможность принять предложение, которое мне поручили сделать мисс Барбери года два тому назад, ибо хоть сама она тогда и отвергла это предложение, но просила сделать его вам в случае, если произойдет прискорбное событие, случившееся теперь. Далее, если я сейчас открыто признаю, что в тяжбе «Джарндисы против Джарндисов», а также в других делах я выступаю от имени весьма гуманного, хоть и своеобразного человека, погрешу ли я в каком-нибудь отношении против своей профессиональной осторожности? – заключил мистер Кендж, откидываясь назад в кресле и спокойно глядя на нас обеих.

Он, видимо, прямо-таки наслаждался звуками собственного голоса. Да и немудрено – голос у него был сочный и густой, что придавало большой вес каждому его слову. Он слушал себя с явным удовольствием, по временам слегка покачивая головой в такт своей речи или закругляя конец фразы движением руки. На меня он произвел большое впечатление, – даже в тот день, то есть раньше, чем я узнала, что он подражает одному важному лорду, своему клиенту, и что его прозвали «Велеречивый Кендж».

– Мистер Джарндис, – продолжал он, – осведомлен о... я бы сказал, печальном положении нашей юной приятельницы и предлагает поместить ее в первоклассное учебное заведение, где воспитание ее будет завершено, где она ни в чем не станет нуждаться, где будут предупреждать ее разумные желания, где ее превосходно подготовят к выполнению ее долга на той ступени общественной лестницы, которая ей была предназначена... скажем, провидением.

И то, что он говорил, и его выразительная манера говорить произвели на меня такое сильное впечатление, что я, как ни старалась, не могла вымолвить ни слова.

– Мистер Джарндис, – продолжал он, – не ставит никаких условий, только выражает надежду, что наша юная приятельница не покинет упомянутое заведение без его ведома и согласия; что она добросовестно постарается приобрести знания, применяя которые будет впоследствии зарабатывать средства на жизнь; что она вступит на стезю добродетели и чести и... э-э... тому подобное.

Я все еще была не в силах выдать из себя ни звука.

– Ну, так что же скажет наша юная приятельница? – продолжал мистер Кендж. – Не торопитесь, не торопитесь! Я подожду ответа. Не надо торопиться!

Мне ни к чему приводить здесь слова, которые тщетно пыталась произнести несчастная девочка, получившая это предложение. Мне легче было бы повторить те, которые она произнесла, если бы только их стоило повторять. Но я никогда не смогу выразить то, что она чувствовала и будет чувствовать до своего смертного часа.

Этот разговор происходил в Виндзоре, где я (насколько мне было известно) жила от рождения. Ровно через неделю, в изобилии снабженная всем необходимым, я уехала оттуда в почтовой карете, направлявшейся в Рединг.

Миссис Рейчел была так добра, что, прощаясь со мной, не растрогалась; я же была не так добра и плакала горькими слезами. Мне казалось, что за столько лет, прожитых вместе, я должна была бы узнать ее ближе, должна была так привязать ее к себе, чтобы наше расставание ее огорчило. Она коснулась моего лба холодным прощальным поцелуем, упавшим на меня, словно капля талого снега с каменного крыльца, – в тот день был сильный мороз, – а я почувствовала такую боль, такие укоры совести, что прижалась к ней и сказала, что если она растает со мной так легко, то это – моя вина.

– Нет, Эстер, – возразила она, – это – твоя беда!

Почтовая карета подъехала к калитке палисадника, – мы не выходили из дома, пока не услышали стука колес, – и тут я грустно простилась с миссис Рейчел. Она вернулась в комнаты, прежде чем мой багаж был уложен на крышу кареты, и захлопнула дверь. Пока наш дом был виден, я сквозь слезы неотрывно смотрела на него из окна кареты. Крестная оставила все свое небольшое имущество миссис Рейчел, а та собиралась его распродать и уже вывесила наружу, на мороз и снег, тот старенький предкаминный коврик с узором из роз, который всегда казался мне самой лучшей вещью на свете. Дня за два до отъезда я завернула свою милую старую куклу в ее собственную шаль и – стыдно признаться – похоронила ее в саду под деревом, которое росло у окна моей комнаты. У меня больше не осталось друзей, кроме моей птички, и я увезла ее с собой в клетке.

Клетка стояла у моих ног, на соломенной подстилке, и, когда дом скрылся из виду, я села на самый край низкого сиденья, чтобы легче было дотянуться до высокого окна кареты, и стала смотреть на опущенные инеем деревья, напоминавшие мне красивые кристаллы; на поля, совсем ровные и белые под пеленой снега, который выпал накануне; на солнце, такое красное, но излучавшее так мало тепла; на лед, отливающий темным металлическим блеском там, где конькобежцы и люди, скользившие по катку без коньков, смели с него снег. На противоположной скамье в карете сидел джентльмен, который казался очень толстым – так он был закутан; но он смотрел в другое окно, не обращая на меня никакого внимания.

Я думала о своей покойной крестной... и о памятном вечере, когда в последний раз читала ей вслух, и о том, как неподвижен и суров был ее хмурый взгляд, когда она лежала при смерти; думала о чужом доме, в который ехала; о людях, которых там увижу; о том, какими они окажутся и как встретят меня... но вдруг чуть не подскочила, – так неожиданны были чьи-то слова, прозвучавшие в карете:

– Какого черта вы плачете?

Я так испугалась, что потеряла голос и могла только отозваться шепотом:

– Я, сэр?

Закутанный джентльмен не отрывался от окна, но я, конечно, догадалась, что это он заговорил со мной.

– Да, вы, – ответил он, повернувшись ко мне.

– Я не плачу, сэр, – пролепетала я.

– Нет, плачете, – сказал джентльмен. – Вот, смотрите!

Он сидел в дальнем углу кареты, но теперь подвинулся, сел прямо против меня и провел широким меховым обшлагом своего пальто по моим глазам (однако не сделав мне больно), а потом показал мне следы моих слез на меху.

– Ну вот! Теперь поняли, что плачете, – проговорил он. – Ведь так?

– Да, сэр, – согласилась я.

– А отчего вы плачете? – спросил джентльмен. – Вам не хочется ехать туда?

– Куда, сэр?

– Куда? Да туда, куда вы едете, – объяснил джентльмен.

– Я очень рада, что еду, сэр, – ответила я.

– Ну, так пусть у вас будет радостное лицо! – воскликнул джентльмен.

Он показался мне очень странным; то есть показались очень странными те немногие его черты, которые я могла разглядеть, – ведь он был закутан до самого подбородка, а лицо его почти закрывала меховая шапка с широкими меховыми наушниками, застегнутыми под подбородком; но я уже успокоилась и перестала его бояться. И я сказала, что плакала, должно быть, оттого, что моя крестная умерла, а миссис Рейчел не горевала, расставаясь со мной.

– К чертям миссис Рейчел! – вскричал джентльмен. – Чтоб ее ветром унесло верхом на помеле!

Я опять испугалась, уже не на шутку, и взглянула на него с величайшим удивлением. Но я заметила, что глаза у него добрые, хоть он и сердито бормотал что-то себе под нос, продолжая всячески поносить миссис Рейчел.

Немного погодя он распахнул свой плащ, такой широкий, что в него, казалось, можно было завернуть всю карету, и сунул руку в глубокий боковой карман.

– Слушайте, что я вам скажу! – начал он. – Вот в эту бумагу, – он показал мне аккуратно сделанный пакет, – завернут кусок самого лучшего кекса, какой только можно достать за деньги... сверху слой сахара в дюйм толщины – точь-в-точь как жир на бараньей отбивной. А вот это – маленький паштет (настоящий деликатес и на вид, и на вкус); привезен из Франции. Как вы думаете, из чего он сделан? Из превосходной гусиной печени. Вот так паштет! Теперь посмотрим, как вы все это скушаете.

– Благодарю вас, сэр, – ответила я, – я, право же, очень благодарна вам, но, – пожалуйста, не обижайтесь, – все это для меня слишком жирно.

– Опять сел в лужу! – воскликнул джентльмен – я не поняла, что он этим хотел сказать, – и выбросил оба пакета в окно.

Больше он не заговаривал со мной и только, выйдя из кареты неподалеку от Рединга, посоветовал мне быть паинькой и прилежно учиться, а на прощанье пожал мне руку. Расставшись с ним, я, признаться, почувствовала облегчение. Карета отъехала, а он остался стоять у придорожного столба. Впоследствии мне часто случалось проходить мимо этого столба, и, поравнявшись с ним, я всякий раз вспоминала своего спутника – мне почему-то казалось, что я должна его встретить. Так было несколько лет; но я ни разу его не встретила и с течением времени позабыла о нем.

Когда карета остановилась, в окно заглянула очень подтянутая дама и сказала:

– Мисс Донни.

– Нет, сударыня, я Эстер Саммерсон.

– Да, конечно, – сказала дама. – Мисс Донни.

Наконец я поняла, что она, представляясь мне, назвала свою фамилию, и, попросив у нее извинения за недогадливость, ответила на ее вопрос, где уложены мои вещи. Под надзором столь же подтянутой служанки вещи мои перенесли в крошечную зеленую карету, затем мы трое – мисс Донни, служанка и я – уселись в нее и тронулись в путь.

– Мы все приготовили к вашему приезду, Эстер, – сказала мисс Донни, – а программу ваших занятий составили так, как пожелал ваш опекун, мистер Джарндис.

– Мой... как вы сказали, сударыня?

– Ваш опекун, мистер Джарндис, – повторила мисс Донни.

Я прямо обомлела, а мисс Донни подумала, что у меня захватило дух на морозе, и протянула мне свой флакон с нюхательной солью.

– А вы знакомы с моим... опекуном, мистером Джарндисом, сударыня? – спросила я наконец после долгих колебаний.

– Не лично, Эстер, – ответила мисс Донни, – только через посредство его лондонских поверенных, господ Кенджа и Карбоя. Мистер Кендж – человек замечательный. Необычайно красноречивый. Некоторые периоды в его речах просто великолепны!

В душе я согласилась с мисс Донни, но от смущения не решилась сказать это вслух. Не успела я опомниться, как мы доехали, и тут уж я совсем растерялась – никогда не забуду, что в тот вечер все в Гринлифе (доме мисс Донни) казалось мне каким-то туманным и призрачным.

Впрочем, я быстро здесь освоилась. Вскоре я так привыкла к гринлифским порядкам, что мне стало казаться, будто я приехала сюда уже давным-давно, а моя прежняя жизнь у крестной была не действительной жизнью, но сном. Такой точности, аккуратности и педантичности, какие царили в Гринлифе, наверное, не было больше нигде на свете. Здесь все обязанности

распределялись по часам, – сколько их есть на циферблате, – и каждую выполняли в назначенный для нее час.

Нас, двенадцать пансионеров, воспитывали две мисс Донни – сестры-близнецы. Было решено, что в будущем я сама стану воспитательницей, и потому сестры Донни не только учили меня всему, что полагалось изучить в Гринлифе, но вскоре заставили помогать им в занятиях с другими девочками. Только этим и отличалась моя жизнь здесь от жизни других воспитанниц. Чем больше расширялись мои познания, тем больше уроков я давала, так что с течением времени у меня оказалось много работы, которую я очень любила, потому что, занимаясь со мной, милые девочки полюбили меня. Если, поступив к нам, новая воспитанница немного грустила и тосковала, она, право, не знаю почему, непременно сближалась со мной; поэтому всех новеньких стали отдавать на мое попечение. Они говорили, что я такая ласковая; а я думала, что это они сами ласковые. Я часто вспоминала о том, как в день своего рождения решила быть прилежной и добросердечной, не жаловаться на судьбу, стараться делать добро и, если удастся, заслужить чью-нибудь любовь, и, право же, право, готова была устыдиться, что сделала так мало, получив так много.

В Гринлифе я прожила шесть счастливых, спокойных лет. В день своего рождения я, слава богу, ни разу за это время не видела по глазам людей, что было бы лучше, если б я не родилась на свет. Когда наступал этот день, он приносил мне столько знаков любви и внимания, что они круглый год украшали мою комнату.

За эти шесть лет я ни разу никуда не выезжала, если не считать визитов к соседям во время каникул. Спустя примерно полгода после приезда в Гринлиф я спросила мисс Донни, как она думает, не написать ли мне мистеру Кенджу, что мне здесь хорошо живется, за что я очень благодарна, и, с ее одобрения, написала такое письмо. В ответ я получила официальное отношение юридической конторы, в котором подтверждалось получение моего письма и было сказано, что «содержание оного будет неукоснительно передано нашему клиенту». После этого я иногда слышала, как мисс Донни и ее сестра говорили, что плата за мое обучение поступает очень регулярно, и раза два в год отваживалась написать письмо мистеру Кенджу – такое же, как в первый раз. На каждое я получала обратной почтой точно такой же ответ, какой получила на свое первое, и все они были написаны тем же круглым почерком, а внизу стояла подпись: «Кендж и Карбой», сделанная другой рукой, – вероятно, самим мистером Кенджем.

Как странно, что мне приходится столько писать о себе самой! Как будто эта повесть – повесть о моей жизни! Впрочем, моя скромная особа вскоре отступит на задний план.

Шесть спокойных лет прожила я в Гринлифе (вспомнила, что уже говорила это), наблюдая в окружающих, как в зеркале, каждую ступень моего собственного роста и развития, и вот однажды ноябрьским утром получила следующее письмо. Я привожу его здесь без даты.

Для мисс Эстер Саммерсон.

Олд-сквер в Линкольнс-Инне.

Дело «Джарндисы против Джарндисов».

Сударыня!

Наш клиент, мистер Джарндис, согласно постановлению Канцлерского суда, принимает к себе в дом состоящую под опекой оного суда участницу вышеуказанного судебного дела и, вознамерившись подыскать ей достойную компаньонку, поручает нам уведомить Вас, что он желал бы воспользоваться Вашими услугами для достижения данной цели.

Мы обеспечили Вам проезд за наш счет в почтовой карете, выезжающей из Рединга в следующий понедельник, в восемь часов утра, и имеющей прибыть в Лондон, на Пикадилли, в каретный двор при гостинице «Погреб белого коня», где Вас будет ожидать наш клерк, чтобы проводить Вас в нашу контору по вышеуказанному адресу.

Готовые к Вашим услугам, сударыня,
Кендж и Карбой».

Ах, никогда, никогда, никогда не забыть мне, как взволновало это письмо весь дом! Так трогательно и горячо любили меня его обитательницы; так милостив был небесный отец, который не забыл меня, который облегчил и сгладил мой сиротский путь и привлек ко мне столько юных существ, что я едва могла вынести все это. Не могу сказать, чтобы мне хотелось видеть моих девочек не очень огорченными – нет, конечно, – но радость, и печаль, и гордость, и счастье, и смутное сожаление, вызванные их грустью, – все эти чувства так перемешались в моем сердце, что оно прямо разрывалось, хоть и было исполнено восторга.

День моего отъезда был назначен в письме, и на сборы у меня осталось только пять дней. И вот, когда я в течение всех этих пяти дней стала с каждой минутой получать все новые и новые доказательства любви и нежности; и когда наконец наступило утро отъезда и меня провели по всем комнатам, чтобы я взглянула на них в последний раз; и когда одна девочка крикнула: «Эстер, дорогая, простимся тут, у моей постели, ведь здесь ты впервые говорила со мной – и так ласково!»; и когда другие девочки попросили меня только написать им на бумажках их имена, с припиской: «От любящей Эстер»; и когда они все окружили меня, протягивая прощальные подарки, и со слезами прижимались ко мне, восклицая: «Что мы будем делать, когда наша милая, милая Эстер уедет!»; и когда я пыталась объяснить им, как снисходительны, как добры они были ко мне и как я благословляю и благодарю их всех, – что только творилось в моем сердце!

И когда обе мисс Донни, расставаясь со мной, горевали не меньше, чем самая маленькая воспитанница, и когда служанки говорили: «Будьте счастливы, мисс, где бы вам ни пришлось жить!», и когда невзрачный, хромо́й старик садовник, который, как мне казалось, все эти годы вряд ли замечал мое присутствие, тяжело дыша, побежал за отъезжавшей каретой, чтобы преподнести мне букетик герани, и сказал, что я была светом его очей, – старик именно так и сказал, – что только творилось в моем сердце!

И как мне было не плакать, если, проезжая мимо деревенской школы, я увидела неожиданное зрелище: бедные ребятишки высыпали наружу и махали мне шапками и капорами, а один седой джентльмен и его жена (я давала уроки их дочке и бывала у них в гостях, хотя они считались самыми высокомерными людьми во всей округе) закричали мне, забыв обо всем, что нас разделяло: «До свиданья, Эстер! Желаем вам большого счастья!» – как мне было не плакать от всего этого и, сидя одной в карете, не твердить в глубочайшем волнении: «Я так благодарна, так благодарна!»

Но, конечно, я скоро рассудила, что после всего того, что для меня сделали, мне не подобает явиться в Лондон заплаканной. Поэтому я проглотила слезы и заставила себя успокоиться, то и дело повторяя: «Ну, Эстер, перестань! *Нельзя же так!*» В конце концов мне удалось вполне овладеть собой, хотя и не так быстро, как следовало бы, а когда я освежила себе глаза лавандовой водой, пора уже было готовиться к приезду в Лондон.

И вот я решила, что мы уже приехали, но оказалось, что до Лондона еще десять миль; когда же мы наконец действительно прибыли в город, мне все не верилось, что мы когда-нибудь доедем. Но как только мы начали трястись по булыжной мостовой и особенно когда мне стало казаться, будто все прочие экипажи наезжают на нас, а мы наезжаем на них, я наконец поняла, что мы и в самом деле приближаемся к концу нашего путешествия. Немного погодя мы остановились.

На тротуаре стоял какой-то молодой человек, который, должно быть по неосторожности, вымазался чернилами; он обратился ко мне с такими словами:

- Я от конторы Кендж и Карбой в Линкольнс-Инне, мисс.
- Очень приятно, сэр, – отозвалась я.

Он оказался весьма предупредительным – приказал перенести в пролетку мой багаж, потом усадил в нее меня, и тут я спросила, уж не вспыхнул ли где-нибудь большой пожар, – спросила потому, что в городе стоял необычайно густой и темный дым – ни зги не было видно.

– Ну, что вы, мисс! Конечно, нет, – ответил молодой человек. – В Лондоне всегда так.

Я была поражена.

– Это туман, мисс, – объяснил он.

– Вот как! – воскликнула я.

Мы медленно двигались по улицам, самым грязным и темным на свете (казалось мне), и на каждой из них было такое столпотворение, что я удивлялась, как можно здесь не потерять головы; но вот шум внезапно сменился тишиной, – проехав под какими-то старинными воротами, мы покатали по безлюдной площади и остановились в углу у подъезда с широкой крутой лестницей, такой, какие бывают перед входом в церковь. И как по соседству с церковью нередко видишь кладбище, так и здесь я, поднимаясь наверх, увидела в окно окаймленный аркадами двор, а в нем могилы с надгробными плитами.

В этом доме помещалась контора Кенджа и Карбоя. Молодой человек провел меня через канцелярию в кабинет мистера Кенджа, где сейчас никого не было, и вежливо пододвинул кресло к огню. Потом он показал мне на зеркальце, висевшее на гвозде сбоку от камина.

– Может, вам с дороги захочется привести себя в порядок, мисс, перед тем как представиться канцлеру. Впрочем, в этом вовсе нет надобности, смею заверить, – галантно проговорил молодой человек.

– Представиться канцлеру? – промолвила я в недоумении.

– Простая формальность, мисс, – объяснил молодой человек. – Мистер Кендж сейчас в суде. Он просил вас кланяться... не желаете ли подкрепиться, – я увидела на столике печенье и графин с вином, – а также просмотреть газету? – Молодой человек подал мне газету. Затем помешал угли в камине и ушел.

Все в этой комнате казалось мне таким странным – особенно потому, что здесь среди бела дня царил ночной мрак, свечи горели каким-то бледным пламенем и от всех предметов веяло сыростью и холодом, – и так все это было непривычно, что, взяв газету, я читала слова, не понимая их значения, и наконец поймала себя на том, что перечитываю одни и те же строки несколько раз подряд. Продолжать в том же духе не имело смысла, поэтому я отложила газету, посмотрела в зеркало, хорошо ли на мне сидит шляпа, затем окинула взглядом полутемную комнату, потертые, покрытые пылью столы, кипы исписанной бумаги, книжный шкаф, набитый книгами самого невзрачного, самого непривлекательного вида. Потом я стала думать, и все думала, думала, думала; а огонь в камине все горел, и горел, и горел, а свечи мигали и оплывали, – щипцов для снятия нагара не было, пока молодой человек не принес щипцы, очень грязные, – и так я просидела целых два часа.

Наконец прибыл мистер Кендж. Кто-кто, а он ничуть не изменился; зато он нашел во мне резкую перемену, которой, видимо, был удивлен и очень доволен.

– Поскольку вам предстоит сделаться компаньонкой той молодой девицы, что сейчас сидит в кабинете канцлера, мисс Саммерсон, – сказал он, – мы полагаем, что вам сейчас следует находиться при ней. Присутствие лорд-канцлера вас не смутит, не правда ли?

– Нет, сэр, не думаю, – ответила я, поразмыслив, но так и не поняв, почему, собственно, я могу смутиться.

Итак, мистер Кендж взял меня под руку, и мы, выйдя на площадь, завернули за угол, миновали колоннаду какого-то здания и вошли в него через боковую дверь. Потом мы прошли по коридору и наконец очутились в хорошо обставленной комнате, где я увидела девушку и юношу у камина, в котором жарко горели и громко трещали дрова. Молодые люди разговаривали, стоя друг против друга и опираясь на экран, поставленный перед камином.

Когда я вошла, они оба взглянули на меня, и девушка, озаренная пламенем, показалась мне необычайно красивой, – у нее были такие густые золотистые волосы, такие нежные голубые глаза, такое светлое, невинное, доверчивое лицо!

– Мисс Ада, – сказал мистер Кендж, – разрешите представить вам мисс Саммерсон.

Здороваясь со мной, она приветливо улыбнулась и протянула было мне руку, но вдруг передумала и поцеловала меня. Скажу коротко: она была так естественна, так мила и обаятельна, что уже спустя несколько минут мы с ней уселись в оконной нише, освещенной пламенем камина, и принялись болтать до того непринужденно и весело, будто век были подругами.

У меня точно гора с плеч свалилась! Как отрадно было сознавать, что она доверяет мне и что я ей нравлюсь! Как мило она отнеслась ко мне и как это меня ободрило!

Юноша был ее дальний родственник, Ричард Карстон, – она сама мне это сказала. Красивый, с ясным, открытым лицом, он удивительно хорошо смеялся, а когда Ада подозвала его, он стал возле нас и, тоже озаренный пламенем камина, стал разговаривать с нами весело, словно беззаботный мальчик. Лет ему было немного – девятнадцать, не больше, может быть, меньше; Ада была почти на два года моложе. Оба они потеряли родителей, а познакомились друг с другом только сегодня (что показалось мне очень удивительным и странным). Итак, мы трое впервые встретились при столь необычных обстоятельствах, что об этом стоило поговорить, и мы говорили об этом, а огонь, переставший трещать, уже только подмигивал нам рдеющими очами, словно «засыпающий старый канцлерский лев», по выражению Ричарда.

Мы говорили вполголоса, потому что были не одни – какой-то судейский, в парадной мантии и парике фасона «с кошельком», то входил в комнату, то уходил, и, когда он открывал дверь, мы слышали какое-то отдаленное тягучее гуденье – судейский объяснил нам, что это один из адвокатов, выступающих по нашей тяжбе, обратился с речью к лорд-канцлеру. Наконец судейский сообщил мистеру Кенджу, что канцлер освободится через пять минут, и действительно вскоре послышался шум и топот, а мистер Кендж сказал, что заседание суда окончилось и его милость вернулся в свой кабинет.

Судейский в парике почти тотчас же распахнул дверь и пригласил мистера Кенджа войти. И вот мы все перешли в соседнюю комнату, – мистер Кендж впереди с моей дорогой девочкой (я теперь настолько привыкла называть ее так, что не могу писать иначе), – и здесь увидели лорд-канцлера, который сидел в кресле за столом у камина, одетый в простой черный костюм, – свою мантию, обшитую великолепным золотым кружевом, он бросил на другое кресло. Когда мы вошли, его милость окинул нас испытующим взглядом, но поздоровался с нами изысканно-вежливо и любезно.

Судейский в парике положил на стол его милости кипу дел, а его милость молча выбрал одно из них и принялся его перелистывать.

– Мисс Клейр, – проговорил лорд-канцлер. – Мисс Ада Клейр?

Мистер Кендж представил ему Аду, и его милость предложил ей сесть рядом с ним. Даже я сразу заметила, что она очень понравилась лорд-канцлеру и заинтересовала его. Но мне стало больно, когда я подумала о том, что у этой юной, прелестной девушки нет родного дома и ее опекает бездушное государственное учреждение, – ведь лорд верховный канцлер, даже самый добрый, едва ли может заменить любящих родителей.

– Джарндис, о котором идет речь, – начал лорд-канцлер, продолжая перелистывать дело, – это тот Джарндис, что владеет Холодным домом?

– Да, милорд, тот самый, что владеет Холодным домом, – подтвердил мистер Кендж.

– Неуютное название, – заметил лорд-канцлер.

– Но теперь это уютный дом, милорд, – сказал мистер Кендж.

– А Холодный дом, – продолжал его милость, – находится в...

– В Хэртфордшире, милорд.

– Мистер Джарндис, владелец Холодного дома, не женат? – спросил его милость.

– Нет, он не женат, милорд, – ответил мистер Кендж.

Минута молчания.

– Мистер Ричард Карстон здесь? – спросил лорд-канцлер, бросив взгляд на юношу.

Ричард поклонился и сделал шаг вперед.

– Гм! – произнес лорд-канцлер и снова принялся перелистывать дело.

– Мистер Джарндис, владелец Холодного дома, милорд, – начал мистер Кендж вполголоса, – осмелюсь напомнить вашей милости, подыскал достойную компаньонку для...

– Для мистера Ричарда Карстона? – спросил (как мне показалось, но, может быть, я ослышалась) лорд-канцлер тоже вполголоса и улыбнулся.

– Для мисс Ады Клейр. Разрешите представить ее... мисс Саммерсон.

Его милость бросил на меня снисходительный взгляд и ответил на мой реверанс очень учтивым кивком.

– Мисс Саммерсон ведь не состоит в родстве ни с кем из тяжущихся?

– Нет, милорд.

Не успев договорить, мистер Кендж наклонился к канцлеру и начал о чем-то ему докладывать шепотом. Его милость слушал, не спуская глаз с бумаг; кивнул два-три раза, перевернул еще несколько страниц и потом до самого нашего ухода избегал смотреть на меня.

Мистер Кендж с Ричардом отошли к двери, у которой сидела я, а моя прелесть (я настолько привыкла называть ее так, что опять не могу удержаться!) осталась подле лорд-канцлера, и его милость побеседовал с нею отдельно – спросил (как она мне потом передала), тщательно ли она обдумала предложенный ей план устройства ее жизни, уверена ли, что ей будет хорошо у мистера Джарндиса, в Холодном доме, и почему она в этом уверена. Вскоре он поднялся и с поклоном отпустил ее, потом минуты две поговорил с Ричардом Карстоном, но уже стоя и не так официально, как говорил раньше, а проще – очевидно, он хоть и стал лорд-канцлером, но все еще не забыл, как нужно обращаться с наивными юношами, чтобы завоевать их симпатию.

– Прекрасно! – громко проговорил его милость. – Так я отдам приказ. Мистер Джарндис, владелец Холодного дома, подыскал для мисс Клейр очень хорошую компаньонку, насколько я могу судить, – тут только он взглянул на меня, – и при данных обстоятельствах весь план в целом, по-видимому, удачен – лучшего не придумать.

Он учтиво дал нам понять, что прием окончен, и все мы вышли, очень благодарные ему за то, что он был с нами так приветлив и любезен, чем, конечно, ничуть не умалил своего достоинства; напротив, это еще больше возвысило его в наших глазах.

Когда мы дошли до колоннады, мистер Кендж вспомнил, что ему нужно на минуту вернуться за какой-то справкой, и оставил нас одних в тумане возле кареты лорд-канцлера, у которой стояли ожидавшие его слуги.

– Ну, с *этим* делом покончено! – сказал Ричард Карстон. – Куда же мы отправимся теперь, мисс Саммерсон?

– Разве вы этого не знаете? – спросила я.

– Не имею понятия, – ответил он.

– А *ты* знаешь, дорогая? – спросила я Аду.

– Нет! – сказала она. – А ты?

– И не подозреваю! – ответила я.

Мы переглянулись, посмеиваясь над тем, что стоим тут, словно дети, которые заблудились в лесу, как вдруг к нам подошла какая-то диковинная маленькая старушка в помятой шляпке и с ридикюлем в руках и, улыбаясь, сделала нам необычайно церемонный реверанс.

– О! – проговорила она. – Подопечные тяжбы Джарндисов! Оч-чень рада, конечно, что имею честь представиться! Какое это доброе предзнаменование для молодости, и надежды, и красоты, если они очутились здесь и не знают, что из этого выйдет.

– Полоумная! – прошептал Ричард, не подумав, что она может услышать.

– Совершенно верно! Полоумная, молодой джентльмен, – отозвалась она так быстро, что он совсем растерялся. – Я сама когда-то была подопечной. Тогда я еще не была полоумной, – продолжала она, делая глубокие реверансы и улыбаясь после каждой своей коротенькой фразы. – Я была одарена молодостью и надеждой. Пожалуй, даже красотой. Теперь все это не имеет никакого значения. Ни та, ни другая, ни третья не поддержала меня, не спасла. Я имею честь постоянно присутствовать на судебных заседаниях. Со своими документами. Ожидаю, что суд вынесет решение. Скоро. В день Страшного суда. Я разгадала, что шестая печать, о которой сказано в Откровении, – это печать лорда верховного канцлера. Она давным-давно снята! Прошу вас, примите мое благословение.

Ада немного испугалась, а я, желая сделать удовольствие старушке, сказала, что мы ей очень обязаны.

– Да-а! – промолвила она жеманно. – Полагаю, что так. А вот и Велеречивый Кендж. Со *своими* документами! Как поживаете, ваша честь?

– Прекрасно, прекрасно! Ну, не приставайте к нам, любезная! – бросил на ходу мистер Кендж, уводя нас в свою контору.

– И не думаю, – возразила бедная старушка, семеня рядом со мной и Адой. – Вовсе не пристаю, я обеим им завещаю поместья, а это, надеюсь, не значит приставать? Ожидаю, что суд вынесет решение. Скоро. В день Страшного суда. Для вас это доброе предзнаменование. Примите же мое благословение!

Дойдя до широкой крутой лестницы, она остановилась и не пошла дальше; но когда мы, поднимаясь вверх, оглянулись, то увидели, что она все еще стоит внизу и лепечет, приседая и улыбаясь после каждой своей коротенькой фразы:

– Молодость. И надежда. И красота. И Канцлерский суд. И Велеречивый Кендж! Ха! Прошу вас, примите мое благословение!

Глава IV

Телескопическая филантропия

Мистер Кендж сообщил нам, когда мы вошли в его кабинет, что нам придется переночевать у миссис Джеллиби, затем повернулся ко мне и сказал, что я, конечно, знаю, кто такая миссис Джеллиби.

– Нет, не знаю, сэр, – ответила я. – Может быть, мистер Карстон... или мисс Клейр...

Но нет, они ровно ничего не знали о миссис Джеллиби.

– Та-ак, та-ак!.. Миссис Джеллиби, – начал мистер Кендж, становясь спиной к камину и устремляя взор на пыльный каминный коврик, словно на нем была написана биография упомянутой дамы, – миссис Джеллиби – это особа с необычайно сильным характером, всецело посвятившая себя обществу. В разные времена она занималась разрешением чрезвычайно разнообразных общественных вопросов, а в настоящее время посвящает себя (пока не увлечется чем-либо другим) африканскому вопросу, точнее – культивированию кофейных бобов... а также туземцев... и благополучному переселению на берега африканских рек лишнего населения Англии. Мистер Джарндис, – а он охотно поддерживает любое мероприятие, если оно считается полезным, и его часто осаждают филантропы, – мистер Джарндис, по-видимому, очень высокого мнения о миссис Джеллиби.

Мистер Кендж поправил галстук и посмотрел на нас.

– А мистер Джеллиби, сэр? – спросил Ричард.

– Да! Мистер Джеллиби – он... э... я – пожалуй, смогу сказать вам о нем только то, что он муж миссис Джеллиби, – ответил мистер Кендж.

– Значит, он просто ничтожество, сэр? – проговорил Ричард, усмехаясь.

– Этого я не говорю, – с важностью ответил мистер Кендж. – Никак не могу этого сказать, ибо ровно ничего не знаю о мистере Джеллиби. Если мне не изменяет память, я ни разу не имел удовольствия его видеть. Возможно, что мистер Джеллиби человек выдающийся, но он, так сказать, растворился, растворился в более блестящих качествах своей супруги.

Далее мистер Кендж объяснил, что в такой ненастный вечер путь до Холодного дома показался бы нам очень долгим, темным и скучным, тем более что сегодня нам уже пришлось проехать; поэтому мистер Джарндис сам предложил, чтобы мы переночевали в Лондоне. Завтра утром за нами к миссис Джеллиби приедет карета, которая и увезет нас из города.

Он позвонил в колокольчик, и вошел молодой человек, тот самый, который встретил меня, когда я приехала. Мистер Кендж назвал его Гаппи и спросил, отвезли ли к миссис Джеллиби вещи мисс Саммерсон и весь остальной багаж. Мистер Гаппи сказал, что багаж отвезли, а сейчас у подъезда ждет карета, которая отвезет туда же и нас, как только мы пожелаем.

– Теперь, – начал мистер Кендж, пожимая нам руки, – мне осталось только выразить мое живейшее удовлетворение (до свиданья, мисс Клейр!) вынесенным сегодня решением и (всего вам *хорошего*, мисс Саммерсон!) живейшую надежду, что оно принесет счастье (рад, что имел честь познакомиться с вами, мистер Карстон!), всяческое благополучие и пользу всем заинтересованным лицам. Гаппи, проводите наших друзей до места.

– А где это «место», мистер Гаппи? – спросил Ричард, когда мы спускались с лестницы.

– Близехонько, – ответил мистер Гаппи, – Тейвис-Инн, знаете?

– Понятия не имею, где это, – ведь я приехал из Винчестера и никогда не бывал в Лондоне.

– Да тут рядом, за углом, – объяснил мистер Гаппи. – Свернем на Канцлерскую улицу, прокатимся по Холборну, и не пройдет четырех минут, как мы уже на месте, – рукой подать. Ну, мисс, *теперь-то* уж вы сами видите, что в Лондоне «всегда так», не правда ли?

Он, кажется, был в восторге от того, что я это вижу.

– Туман действительно очень густой! – подтвердила я.

– Но нельзя сказать, что он дурно влияет на вас, смею заверить, – проговорил мистер Гаппи, закинув подножку кареты. – Напротив, мисс, судя по вашему цвету лица, он вам на пользу.

Я поняла, что, отпуская этот комплимент, он просто хотел доставить мне удовольствие, и сама посмеялась над собой за то, что покраснела; а мистер Гаппи, захлопнув дверцу, уже взобрался на козлы, и мы трое со смехом принялись болтать о том, какие мы все неопытные и какой этот Лондон странный, да так и болтали, пока не свернули под какую-то арку и не достигли места нашего назначения – узкой улицы с высокими домами, похожей на длинную цистерну, до краев наполненную туманом. Кучка зевак, в которой детей было больше, чем взрослых, стояла перед домом, к которому мы подъехали, – на двери его была прибита потускневшая медная дощечка с надписью: «Джеллиби».

– Ничего страшного, не волнуйтесь! – сказал мистер Гаппи, заглядывая к нам в окно кареты. – Это просто один из ребят Джеллиби застрял головой в ограде нижнего двора.

– Бедняжка! – воскликнула я. – Откройте, пожалуйста, дверцу, – я выйду!

– Будьте осторожны, мисс. Ребята Джеллиби вечно выкидывают какие-нибудь штуки, – предупредил меня мистер Гаппи.

Я направилась к дворику, вырытому ниже уровня улицы, и подошла к бедному мальчугану, который оказался одним из самых жалких замарашек, каких я когда-либо видела; застряв между двумя железными прутьями, он, весь красный, вопил не своим голосом, испуганно и сердито, в то время как продавец молока и приходский надзиратель, движимые самыми лучшими побуждениями, старались вытащить его наверх за ноги, очевидно полагая, что это поможет его черепу сжаться. Присмотревшись к мальчику (но сначала успокоив его), я заметила, что голова у него, как у всех малышей, большая, а значит, туловище, вероятно, пролезет там, где пролезла она, и сказала, что лучший способ вызволить ребенка – это пропихнуть его головой вперед. Продавец молока и приходский надзиратель принялись выполнять мое предложение с таким усердием, что бедняжка немедленно грохнулся бы вниз, если бы я не удержала его за передник, а Ричард и мистер Гаппи не прибежали на дворик через кухню, чтобы подхватить мальчугана, когда его протолкнут. В конце концов он, целый и невредимый, очутился внизу и тут же в остервенении принялся колотить мистера Гаппи палочкой от обруча.

Ни один из обитателей этого дома не вышел на шум, если не считать какой-то особы в высоких деревянных сандалиях, которая, стоя внизу во дворе, тыкала в мальчугана метлой, – не знаю, зачем, да, впрочем, она, пожалуй, и сама этого не знала. Поэтому я решила, что миссис Джеллиби нет дома, и была очень удивлена, когда та же особа появилась в коридоре, – но уже без сандалий, – и, проводив Аду и меня до выходящей во двор комнаты на втором этаже, доложила о нас так:

– Молодые леди пришли, миссис Джеллиби, те самые!

Поднимаясь наверх, мы прошли мимо нескольких других детей, на которых трудно было не наткнуться в темноте, а когда предстали перед миссис Джеллиби, один из этих бедных малышей с громким криком полетел кувырком вниз по лестнице и (как я заключила по шуму) прокатился целый марш.

Однако лицо миссис Джеллиби не отражало и малой доли того беспокойства, какого нельзя было не заметить на наших лицах, когда голова ее дорогого отпрыска отмечала свое движение по лестнице, стучаясь о каждую ступеньку, – Ричард говорил впоследствии, что их целых семь, да еще площадка, – и нас миссис Джеллиби встретила совершенно невозмутимо. Это была миловидная, очень маленькая, пухленькая женщина лет сорока-пятидесяти, с красивыми глазами, которые, как ни странно, все время были устремлены куда-то вдаль. Казалось, – я опять повторяю слова Ричарда, – будто они видят только то, что находится не ближе Африки!

– Очень, очень рада, – проговорила миссис Джеллиби приятным голосом, – что имею удовольствие принять вас у себя. Я глубоко уважаю мистера Джарндиса и не могу отнестись безучастно к тем, с кем он поддерживает знакомство.

Мы поблагодарили ее и сели у двери на колченогий, ветхий диван. У миссис Джеллиби были очень хорошие волосы, но, по горло занятая своими африканскими делами, она, очевидно, не успевала причесываться. Шаль, небрежно накинутая на ее плечи, упала на кресло, когда миссис Джеллиби встала и двинулась нам навстречу; когда же она повернулась, чтобы снова сесть на свое место, мы не могли не заметить, что платье ее не застегнуто на спине и видна корсетная шнуровка – ни дать ни взять решетчатая стена садовой беседки.

Комната, усыпанная бумажками и почти вся загроможденная огромным письменным столом, тоже заваленным бумагами, была, надо сознаться, не только в полном беспорядке, но и очень грязна. Наши глаза не могли не заметить этого, а уши не могли не слышать воплей бедного ребенка, который упал с лестницы, должно быть – в кухню, где кто-то, казалось, пытался его задушить.

Но кто нас особенно поразил, так это изможденная, нездоровая с виду, хоть и довольно хорошенькая девушка, которая сидела за письменным столом, покусывая гусиное перо и уставившись на нас.

Трудно было так измазаться чернилами, как измазалась она. К тому же она с головы до ног (с нечесаной головки и до изящных ножек, обезображенных изношенными и рваными атласными туфлями со стоптанными каблуками) была одета так неряшливо, что, кажется, ни одна принадлежность ее туалета, начиная с булавок, не была в должном порядке и на своем месте.

– Вы видите, дорогие мои, – начала миссис Джеллиби, снимая нагар с двух вставленных в оловянные подсвечники толстых конторских свечей, от которых вся комната пропахла горелым салом (камин давно погас, и в нем лежали только зола, несколько головешек да кочерга), – вы видите, дорогие мои, что у меня, как всегда, очень много работы; но вы меня извините. Теперь все мое время занято африканским проектом. В связи с ним я должна вести обширную переписку с различными общественными организациями и частными лицами, которые радеют о благосостоянии своих соотечественников. Я с удовлетворением могу сообщить вам, что дело подвигается. Мы надеемся, что уже через год от полутора до двухсот здоровых семейств будут у нас заняты выращиванием кофе и обучением туземцев в Борибула-Гха на левом берегу Нигера.

Ада молча взглянула на меня, и я тогда сказала, что все это, должно быть, очень отратно.

– Очень отратно, – подтвердила миссис Джеллиби. – И требует от меня всех моих сил; но не стоит их жалеть, если дело увенчается успехом, а я с каждым днем все больше верю в успех. Вы знаете, мисс Саммерсон, я просто не могу понять, почему *вы* до сих пор не заинтересовались Африкой.

Признаюсь, этот поворот в разговоре явился для меня столь неожиданным, что я растерялась. Я заикнулась было, что африканский климат...

– Лучший климат в мире! – перебила меня миссис Джеллиби.

– Разве, сударыня?

– Безусловно. Надо только остерегаться, – сказала миссис Джеллиби. – Пройдите по Холборну, не остерегаясь, – попадете под колеса. Пройдите по Холборну осторожно, и вы никогда не попадете под колеса. То же самое и в Африке.

– Совершенно верно, – согласилась я, подумав: «Верно-то верно, но только по отношению к Холборну».

– Вот, не хотите ли взглянуть, – продолжала миссис Джеллиби, пододвигая к нам какие-то бумаги, – это заметки по поводу африканского климата и по всему африканскому вопросу

в целом (мы их широко распространили) – почитайте, а я пока закончу письмо, которое диктую... своей старшей дочери – она мне заменяет секретаря...

Девушка, сидевшая за столом, перестала покусывать перо и поздоровалась с нами не то застенчиво, не то хмуро.

– Вот только допишем это письмо, и все мои сегодняшние дела будут завершены, – продолжала миссис Джеллиби с ласковой улыбкой, – хотя вообще работа моя никогда не кончается... На чем мы остановились, Кедди?

– «Кланяется мистеру Суоллоу и имеет честь...» – прочла Кедди.

– «...имеет честь уведомить его, – начала диктовать миссис Джеллиби, – в ответ на его письменный запрос об африканском проекте...» Уйди, Пищик, не приставай!

Пищик (так он сам себя прозвал) оказался тем самым несчастным ребенком, который только что скатился с лестницы; подойдя с пластырем на лбу к матери, он мешал ей диктовать, показывая на свои разбитые коленки, а мы с Адой, глядя на них, не знали, чему ужасаться больше – ссадинам или грязи, которыми они были покрыты. Но миссис Джеллиби с безмятежным спокойствием, с каким говорила всегда, только бросила ему: «Уходи прочь, Пищик, несносный мальчишка!» – и снова устремила свои красивые глаза на Африку.

Она опять принялась за диктовку, а я отважилась тихонько остановить уходившего Пищика и, уверенная, что никому этим не помешаю, посадила бедняжку к себе на колени. Он очень удивился, особенно когда Ада поцеловала его, но вскоре стал всхлипывать все реже и реже, пока не затих совсем, и крепко уснул у меня на руках. Занявшись Пищиком, я упустила многие подробности письма, но все же сделала из него вывод, что Африка – это самое главное, а все прочие страны и вообще все на свете не имеет ровно никакого значения, и я прямо-таки устыдилась, что так мало о ней думала.

– Уже шесть часов! – проговорила миссис Джеллиби. – А мы обедаем в пять – то есть это только считается, что в пять, а на самом деле мы обедаем в разное время. Кедди, проводи мисс Клейр и мисс Саммерсон в их комнаты. Вы, наверное, хотите переодеться? Меня вы, конечно, извините, ведь я так занята. Ох, что за противный ребенок! Пожалуйста, мисс Саммерсон, спустите его на пол!

Но я попросила позволения взять малыша с собой, искренне уверяя, что он вовсе меня не беспокоит, унесла его наверх и положила на свою кровать. Нам с Адой отвели наверху две смежные комнаты, сообщающиеся дверью. В них почти совсем не было мебели и царил немислимый беспорядок, а занавеска на моем окне держалась только при помощи вилки.

– Принести вам горячей воды? – спросила нас мисс Джеллиби и огляделась в поисках кувшина с уцелевшей ручкой, но так и не нашла его.

– Пожалуйста, если вам нетрудно, – ответили мы.

– Дело не в трудности, – отрезала мисс Джеллиби, – вопрос в том, *есть ли* у нас вообще горячая вода.

Вечер был такой холодный, а воздух в комнатах такой сырой и затхлый, что, признаюсь, я чувствовала себя довольно скверно, тогда как Ада едва удерживалась от слез. Впрочем, мы вскоре развеселились и усердно принялись распаковывать свои вещи, но тут вернулась мисс Джеллиби и сказала, что, к сожалению, горячей воды нет, – чайник не удалось отыскать, а кипятильник испортился.

Мы попросили ее не беспокоиться и поторопились как можно скорее спуститься вниз – к огоньку. Но тут все дети, сколько их было в доме, поднялись по лестнице на площадку перед моей комнатой, чтобы полюбоваться чудом – спящим в моей постели Пищиком, – так что внимание наше все время отвлекалось непрерывным мельканием носиков и пальчиков, которым грозила опасность быть прищемленными дверью. Надо сказать, что комнаты наши не запирались – у моей двери не было ручки, так что открыть и закрыть эту дверь можно было бы, только вставив в дырку заводной ключ, а в комнате Ады дверная ручка, правда, вертелась с

величайшей легкостью, описывая полный круг, но на дверь это не оказывало никакого влияния. Поэтому я предложила детям войти ко мне в комнату и посидеть смирно за столом, пока я буду переодеваться и рассказывать им сказку о Красной Шапочке, на что они согласились и, войдя, вели себя тихо, как мышки, все до единого, даже Пищик, который проснулся как раз вовремя – еще до появления волка.

Наконец мы спустились по лестнице при свете коптилки, точнее зажженного фитиля, который плавал в стоявшей на окне кружке с надписью: «На память о Тенбриджских водах», и, войдя в гостиную (с открытой настежь дверью в комнату миссис Джеллиби), застали в ней девушку с опухшим, обмотанным фланелью лицом, которая, задыхаясь, тщетно старалась раздуть огонь в камине. Комната была полна дымом, так что мы целых полчаса просидели в ней при открытых окнах, кашляя и вытирая слезы, в то время как миссис Джеллиби все так же кротко диктовала письма об Африке. Я, признаться, была очень рада видеть ее столь поглощенной делами, ибо Ричард стал рассказывать нам, как ему пришлось мыть руки в форме для паштета и как чайник отыскался на его туалетном столике, и до того насмешил этим Аду, что и я, глядя на них, смеялась как дурочка.

В начале восьмого мы направились в столовую и, вняв совету миссис Джеллиби, спускались по лестнице очень осторожно – половики, лишь кое-где прикрепленные прутьями к ступеням, были так изорваны, что превратились в настоящие ловушки. Нам подали превосходную треску, ростбиф, котлеты и пудинг – словом, обед мог бы быть очень хорошим, если бы только он был приготовлен хоть мало-мальски сносно; но все кушанья были недоварены или недожарены. Девушка с фланелевой повязкой, прислуживая за столом, швыряла на него блюда куда попало и больше уже к ним не притрагивалась, а убирая со стола, ставила посуду на ступеньки лестницы. Та особа, которая была в деревянных сандалиях, когда мы впервые ее увидели (вероятно, кухарка), то и дело подходила к дверям и препиралась с опухшей девушкой – судя по всему, они не ладили.

В течение всего обеда, который очень затянулся из-за различных происшествий – миску с картофелем уронили в угольное ведро, от штопора отлетела ручка и ударила девушку в подбородок, – в течение всего обеда миссис Джеллиби была по-прежнему невозмутима. Она рассказала нам кучу интересных вещей о Борибула-Гха и туземцах, и ей принесли столько писем, что Ричард, сидевший рядом с нею, заметил в подливке четыре конверта сразу. Некоторые письма содержали отчеты о деятельности дамских комитетов или принятые на дамских совещаниях резолюции, и наша хозяйка читала их вслух; в других были запросы лиц, по разным причинам интересующихся культивированием кофе и туземцев; третьи требовали немедленного отклика, и миссис Джеллиби три или четыре раза заставляла старшую дочь выходить из-за стола, чтобы писать на них ответы. Она была полна энергии и, несомненно, как сама говорила нам раньше, предана делу.

Мне хотелось узнать, кто тот скромный, лысый джентльмен в очках, который сел на свободный стул (определенных мест для хозяина и хозяйки здесь не было), после того как рыбу уже унесли, и, казалось, пассивно мирился с существованием Борибула-Гха, но не был активно заинтересован этой колонией. За весь вечер он не вымолвил ни слова, и если бы не цвет лица, его можно было бы принять за туземца.

Лишь после того, как обед кончился и мы, дамы, вышли из столовой, оставив его наедине с Ричардом, мне пришло в голову, что ведь это, пожалуй, мистер Джеллиби. И он действительно оказался мистером Джеллиби, что подтвердил некий мистер Куэйл – говорливый молодой человек с зачесанными назад волосами, открывавшими лоснящийся, шишковатый на висках лоб; он пришел после обеда и, отрекомендовавшись Аде филантропом, сказал ей, что, по его мнению, брак миссис Джеллиби с мистером Джеллиби – это союз духа и материи.

Этот молодой человек не только сам разглагольствовал очень пространно о своих заслугах в африканских делах и о своем проекте подготовки «кофейных колонистов» к тому, чтобы

они, обучив туземцев вытачивать ножки для роялей, наладили экспортную торговлю этими ножками, но всячески старался привлечь общее внимание на миссис Джеллиби, задавая ей такие, например, вопросы: «Насколько я знаю, миссис Джеллиби, вы за один день получили от полутораста до двухсот писем об Африке, не правда ли?» или: «Если меня не обманывает память, вы, миссис Джеллиби, говорили мне, что однажды отправили из одного почтового отделения пять тысяч циркуляров сразу?», и, как переводчик, повторял нам ответы миссис Джеллиби. Мистер Джеллиби весь вечер просидел в углу, прислонившись головой к стене и явно предаваясь унынию. Оставшись наедине с Ричардом после обеда, он, оказывается, несколько раз открывал было рот, словно собираясь что-то сказать, но, к величайшему смущению Ричарда, закрывал его, не проронив ни слова.

Миссис Джеллиби, обложившись кипами исписанной бумаги, сидела в ней, как в гнезде, весь вечер пила кофе и время от времени диктовала своей старшей дочери. Кроме того, она завела спор с мистером Куэйлом на тему – если только я правильно поняла – о братстве людей и при этом высказала несколько возвышенных суждений. Впрочем, я не могла слушать их беседу так внимательно, как следовало бы, потому что Пищик и все остальные ребяташки столпились возле нас с Адой в углу гостиной, приставая, чтобы им опять рассказали сказку, так что мы сидели, окруженные детьми, и шепотом рассказывали им о Коте в сапогах и не помню еще о чем, пока миссис Джеллиби случайно не вспомнила о них и не отослала их спать. Пищик с криком требовал, чтобы в постель его уложила я, и я отнесла его наверх, где девица с фланелевой повязкой, как дракон, налетела на ребят и рассовала их всех по кроваткам.

Потом я принялась наводить порядок в нашей комнате и ублажать огонь в камине – ведь огонь тут был такой строптивый, что сначала никак не желал разгораться, но в конце концов ярко запылал. Вернувшись в гостиную, я почувствовала, что миссис Джеллиби презирает меня за мое легкомыслие, и мне стало не по себе, хотя я и знала, что не могу претендовать на более высокое мнение о моей особе.

Нам удалось отправиться на покой лишь около полуночи, но даже в этот поздний час миссис Джеллиби все еще сидела, обложившись бумагами, и пила кофе, а мисс Джеллиби все еще покусывала гусиное перо.

– Вот нелепый дом! – проговорила Ада, когда мы поднялись наверх. – Как странно, что кузен Джарндис направил нас сюда!

– А меня, душенька, это прямо ошеломило, – откликнулась я. – Хочу понять, но никак не могу.

– Что именно? – спросила Ада с прелестной улыбкой.

– Да все в этом доме, дорогая, – ответила я. – Должно быть, это очень хорошо со стороны миссис Джеллиби так надрываться над каким-то проектом благодетельствования туземцев... но... как посмотришь, в каком состоянии Пищик и домашнее хозяйство!..

Ада рассмеялась, обвила рукой мою шею, – я стояла перед камином и смотрела на огонь, – и сказала мне, что я спокойная, милая, добрая девушка и что она всем сердцем любила меня.

– Ты такая заботливая, Эстер, – говорила она, – и вместе с тем такая веселая; и ты с такой скромностью делаешь так много. В твоих руках даже этот дом превратился бы в уютное гнездышко.

Моя милая, простодушная девочка! Она и не подозревала, что этими словами хвалила себя, – ведь надо было быть очень доброй, чтобы так меня превозносить!

– Можно задать тебе один вопрос? – спросила я после того, как мы с нею немного посидели у камина.

– Пожалуйста – хоть пятьсот, – сказала Ада.

– Я хочу спросить тебя о твоём родственнике, мистере Джарндисе. Я ему многим обязана. Ты могла бы что-нибудь рассказать мне о нём?

Ада откинула назад свои золотистые волосы и, смеясь, посмотрела на меня так удивленно, что я тоже диву далась – до того поразили меня и ее красота, и ее изумление.

– Эстер! – воскликнула она.

– Да, дорогая?

– Ты хочешь, чтобы я рассказала тебе про кузена Джарндиса?

– Да, милая, ведь я никогда его не видела.

– Я тоже никогда его не видела! – сказала Ада.

Кто бы мог этому поверить!

Да, она в самом деле никогда его не видела. Но, как она ни была мала, когда мама ее скончалась, она помнит, что мама никогда не могла говорить без слез о мистере Джарндисе, о его благородстве и великодушии, о том, что на него можно положиться во всех случаях жизни; и Ада полагается на него. Несколько месяцев назад кузен Джарндис, по словам Ады, написал ей «простое, искреннее письмо», в котором предложил устроить ее жизнь так, как это теперь было решено, и выразил надежду, что «со временем это, возможно, залечит кое-какие раны, нанесенные роковой канцлерской тяжбой». Ада ответила письмом, в котором с благодарностью приняла это предложение. Ричард получил такое же письмо и написал такой же ответ. Вот ему удалось видеть мистера Джарндиса, но только раз, пять лет назад, в Винчестерской школе. Он рассказывал о нем Аде в ту минуту, когда я вошла и увидела, как они стоят у камина, опираясь на экран, и добавил, что мистер Джарндис, «помнится, этакий грубовато-добродушный, краснощекий человек». Вот и все, что Ада могла мне сказать о нем.

Это заставило меня призадуматься, и, когда Ада уже спала, я все еще сидела у камина и все думала да раздумывала, – какой он, этот Холодный дом, и почему вчерашнее утро кажется мне теперь таким далеким. Не помню, куда забрели мои мысли, когда стук в дверь вернул меня к действительности.

Я тихонько открыла дверь и увидела, что за нею стоит мисс Джеллиби, трясаясь от холода и держа в одной руке сломанную свечу в сломанном подсвечнике, а в другой – рюмку для яиц.

– Спокойной ночи! – хмуро проговорила она.

– Спокойной ночи! – отозвалась я.

– Можно войти? – неожиданно буркнула она, все так же хмуро.

– Конечно, – ответила я. – Только не разбудите мисс Клейр.

Мисс Джеллиби отказалась присесть и, угрюмо насупившись, стояла у камина, макая черный от чернил средний палец в уксус, налитый в рюмку, и размазывая им чернильные пятна по лицу.

– Чтоб ей провалиться, этой Африке! – внезапно воскликнула она.

Я хотела было что-то возразить.

– Да-да, чтоб ей провалиться! – перебила она меня. – Не спорьте, мисс Саммерсон. Я ее ненавижу, терпеть не могу! Противная!

Я сказала девушке, что она просто устала и мне ее жаль. Положила ей руку на голову и пощупала лоб, заметив, что сейчас он горячий, но завтра это пройдет. Она стояла все так же, надув губы и хмуро глядя на меня, но вдруг поставила рюмку и тихонько подошла к кровати, на которой лежала Ада.

– Какая хорошенькая! – проговорила она, по-прежнему хмурая брови и все тем же сердитым тоном. Я улыбкой выразила согласие.

– Сирота. Ведь она сирота, правда?

– Да.

– Но, должно быть, умеет многое? Танцует, играет на рояле, поет? Наверное, говорит по-французски, знает географию, разбирается в глобусе, умеет вышивать, все умеет?

– Несомненно, – подтвердила я.

– А вот я не умею, – сказала девушка. – Почти ничего не умею, только – писать. Вечно пишу для мамы. И как только вам обоим не стыдно было явиться сюда сегодня и глазеть на меня, понимая, что я ни к чему другому не способна? Вот какие вы скверные. Но, конечно, считаете себя очень хорошими!

Я видела, что бедная девушка вот-вот расплачется, и снова села в кресло, молча и только глядя на нее так же благожелательно (хочется думать), как относилась к ней.

– Позорище, – проговорила она. – И вы это сами знаете... Весь наш дом – сплошное позорище. Дети – позорище. Я – позорище. Папа страдает, да и немудрено! Приссилла пьет – вечно пьяная! И если вы скажете, что не почувствовали сегодня, как от нее пахнет, то это будет наглая ложь и очень стыдно с вашей стороны. Обед подавали ужасно, не лучше, чем в харчевне, и вы это заметили!

– Ничего я не заметила, дорогая, – возразила я.

– Заметили, – отрезала она. – Не говорите, что не заметили. Заметили!

– Но, милая, – начала я, – если вы не дадите мне говорить...

– Да ведь вы сейчас говорите. Сами знаете, что говорите. Не выдумывайте, мисс Саммерсон.

– Милая моя, – снова начала я, – пока вы меня не выслушаете...

– Не хочу я вас слушать.

– Нет, хотите, – сказала я, – а если бы не хотели, это было бы совсем уж неразумно. Я ничего не заметила, потому что за обедом служанка ко мне не подходила, но я вам верю, и мне грустно это слышать.

– Нечего ставить это себе в заслугу, – промолвила она.

– Я и не ставлю, дорогая, – сказала я. – Это было бы очень глупо.

Не отходя от кровати, она вдруг наклонилась и поцеловала Аду (однако все с тем же недовольным выражением лица). Потом тихонько отошла и стала у моего кресла. Волнуясь, она тяжело дышала, и мне было очень жаль ее, но я решила больше ничего не говорить.

– Лучше бы мне умереть! – вырвалось у нее вдруг. – Лучше бы всем нам умереть! Это было бы самое лучшее для всех нас.

Мгновение спустя она упала передо мной на колени и, уткнувшись лицом в мое платье, зарыдала, горячо прося у меня прощенья. Я успокаивала ее, старалась поднять, но она, вся в слезах, твердила, что ни за что не встанет, нет, нет!

– Вы учили девочек, – проговорила она. – Ах, если бы вы учили меня, я могла бы от вас всему научиться! Я такая несчастная, а вы мне так полюбились!

Мне не удалось уговорить ее сесть рядом со мною, – она только пододвинула к себе колченогую скамеечку и села на нее, по-прежнему цепляясь за мое платье. Но постепенно усталость взяла свое, и девушка уснула, а я, приподняв и положив к себе на колени ее голову, чтобы ей было удобнее, накрыла бедняжку шалью и закуталась сама. Так она и проспала всю ночь напролет у камина, в котором огонь погас и осталась только зола. А меня сначала мучила бессонница, и я, закрыв глаза и перебирая в уме события этого дня, тщетно старалась забыться. Наконец они мало-помалу стали тускнеть и сливаться в моей памяти. Я перестала сознавать, кто спит здесь, прислонившись ко мне. То мне казалось, что это Ада; то – одна из моих прежних редингских подруг (и мне не верилось, что я так недавно с ними рассталась); то – маленькая помешанная старушка, смертельно уставшая от реверансов и улыбок; то – некто, владеющий Холодным домом. Наконец все исчезло, исчезла и я сама.

Подслеповатый рассвет слабо боролся с туманом, когда я открыла глаза и увидела, что на меня пристально смотрит маленькое привидение с измазанным личиком. Пищик выкарабкался из своей кровати и пробрался ко мне в ночной рубашке и чепчике, стуча зубками от холода, да так громко, словно все они уже прорезались и зубов у него полон рот.

Глава V

Утреннее приключение

Утро было сырое, а туман все еще казался густым, – говорю «казался», ибо оконные стекла в этом доме так обросли грязью, что за ними и солнечный свет в разгаре лета показался бы тусклым, – но я хорошо знала, какие неудобства грозят нам здесь в этот ранний час, и очень интересовалась Лондоном, а потому, когда мисс Джеллиби предложила нам пойти погулять, согласилась сразу.

– Мама выйдет не скоро, – сказала она, – и хорошо, если завтрак подадут через час после этого, – вот как долго у нас всегда возятся. А папа – тот подкрепится чем бог послал и пойдет на службу. Никогда ему не удастся позавтракать как следует. Приссилла с вечера оставляет для него булку и молоко, если только оно есть. Но молока часто не бывает – то не принесут, то кошка вылакает. Впрочем, вы, наверное, устали, мисс Саммерсон; может быть, вам лучше лечь в постель?

– Ничуть не устала, милая, – сказала я, – прогуляюсь с большим удовольствием.

– Ну, если так, – отозвалась мисс Джеллиби, – я пойду оденусь.

Ада сказала, что тоже хочет проветриться, и сразу же встала. Я спросила у Пищика, не позволит ли он мне вымыть его и потом снова уложить, но уже на мою кровать – ведь ничего лучшего я для него придумать не могла. Он согласился с величайшей готовностью и, пока я его отмывала, смотрел на меня такими удивленными глазами, словно с ним совершалось какое-то чудо; но личико у него, конечно, было очень несчастное, хоть он ни на что не жаловался и заснул, свернувшись комочком, как только улегся. Надо сказать, что я не сразу решилась вымыть и уложить ребенка без позволения его мамы, но потом рассудила, что никто в доме, по-видимому, ничего не заметит.

То ли от возни с Пищиком, то ли от возни с собственным одеванием и с Адой, которой я помогала одеться, но мне скоро стало жарко. Мисс Джеллиби мы застали в кабинете, – она старалась согреться у камина, который Приссилла силилась затопить, взяв из гостиной залитый салом подсвечник и бросив свечу в огонь, чтобы он наконец разгорелся. Все в доме было в том же виде, как и вчера, и, судя по всему, никто не собирался навести порядок. Скатерть, на которой мы обедали, даже не стряхнули, – так она и осталась на столе в ожидании первого завтрака. Все было покрыто пылью, усеяно хлебными крошками и обрывками бумаги. На ограде нижнего дворика висели оловянные кружки и бидон для молока; входная дверь была открыта настежь, а кухарку мы встретили за углом в тот момент, когда она, вытирая рот, выходила из трактира. Пробежав мимо, она объяснила, что пошла туда посмотреть, который час.

Но еще до встречи с кухаркой мы увидели Ричарда, который бегал вприпрыжку по Тейвис-Инну, чтобы согреть ноги. Приятно удивленный нашим столь ранним появлением, он сказал, что с удовольствием погуляет вместе с нами. Ричард взял под руку Аду, а мы с мисс Джеллиби пошли впереди них. Кстати сказать, мисс Джеллиби опять насупилась, и я никак не подумала бы, что я ей нравлюсь, если б она вчера сама мне этого не сказала.

– Куда бы нам пойти, как по-вашему? – спросила она.

– Куда угодно, милая, – ответила я.

– Куда угодно – все равно что никуда, – с досадой проговорила мисс Джеллиби и остановилась.

– Все-таки пойдемте куда-нибудь, – предложила я.

Она пошла вперед очень быстро, увлекая меня за собой.

– Мне все равно! – начала она вдруг. – Будьте свидетельницей, мисс Саммерсон, повторяю, мне все равно, но если даже он каждый вечер будет к нам приходить, пока не доживет

до Мафусаиловых лет, ничего он от меня не дождется... один лоб чего стоит – высоченный, лоснится, весь в шишках! Каких *ослов* они строят из себя: и он, и мама!

– Дорогая! – упрекнула я мисс Джеллиби за столь непочтительное словцо и подчеркнутую выразительность, с какой она его произнесла. – Ваш дочерний долг...

– Эх, мисс Саммерсон, не говорите мне о дочернем долге! Где же тогда мамин материнский долг? Или она выполняет его только по отношению к обществу и Африке? Так пусть же общество и Африка выполняют дочерний долг, – это скорей их обязанность, чем моя. Вы возмущены, я вижу! Ну что ж, я тоже возмущена, значит, мы обе возмущены – и делу конец!

Она еще быстрее повлекла меня вперед.

– Но так или иначе, а я опять скажу: пускай себе ходит, и ходит, и ходит, все равно – ничего он от меня не дождется. Видеть его не могу. А чего я совершенно не выношу, что ненавижу больше всего на свете, так это ту околесицу, которую они несут – мама и он. Удивляюсь, как это у булыжников хватает терпения лежать на мостовой перед нашим домом, слушать, как она и он городят вздор, сами себе противореча, и смотреть, как нелепо хозяйничает мама!

Я не могла не догадаться, что ее слова относятся к мистеру Куэйлу – тому молодому джентльмену, который пришел вчера после обеда. Продолжать этот разговор было бы не особенно приятно, но меня спасли Ричард и Ада, которые быстро догнали нас и со смехом спросили, не взбрело ли нам в голову устроить соревнование в беге. Это прервало излияния мисс Джеллиби; она умолкла и уныло поплелась рядом со мной, тогда как я не переставала удивляться разнообразию улиц, сменявших одна другую, людским толпам, которые уже двигались во всех направлениях, множеству экипажей, проезжавших мимо, деловитой возне с установкой товаров в витринах и уборкой магазинов, странным людям в лохмотьях, которые украдкой рылись в мусоре, ища булавок и всякое старье.

– Итак, кухня, – послышался сзади меня веселый голос Ричарда, говорившего с Адой, – я вижу, нам не уйти от Канцлерского суда! Мы другой дорогой пришли к тому месту, где встретились вчера, и... клянусь Большой печатью, вон и та самая старушка!

И правда, она стояла прямо перед нами, приседая, улыбаясь и так же, как и вчера, твердя покровительственным тоном:

– Подопечные тяжбы Джарндисов! Оч-чень счастлива, поверьте!

– Раненько вы из дому вышли, сударыня, – сказала я, в то время как она делала мне реверанс.

– Да-а! Я всегда гуляю здесь рано утром. До начала судебных заседаний. Уединенное местечко. Здесь я обдумываю повестку дня, – жеманно лепетала старушка. – Повестка дня требует длительных размышлений. Оч-чень трудно следить за канцлерским судопроизводством.

– Кто это, мисс Саммерсон? – прошептала мисс Джеллиби, крепче прижимая к себе мой локоть.

Слух у старушки был поразительно острый. Она сию же секунду сама ответила вместо меня:

– Истица, дитя мое. К вашим услугам. Я имею честь регулярно присутствовать в суде. Со своими документами. Не имею ли я удовольствия разговаривать еще с одной юной участницей тяжбы Джарндисов? – проговорила старушка, снова сделав глубокий реверанс, и выпрямилась, склонив голову набок.

Ричард, стремясь искупить свою вчерашнюю оплошность, любезно объяснил, что мисс Джеллиби не имеет никакого отношения к тяжбе.

– Ха! – произнесла старушка. – Значит, она не ждет решения судьбы? А все-таки и она состарится. Но не так рано. О нет, не так рано! Вот это сад Линкольнс-Инна. Я считаю его своим садом. Летом он такой тенистый – в нем как в беседке. Где мелодично поют птички. Я провожу здесь большую часть долгих каникул суда. В созерцании. Вы находите долгие каникулы чересчур долгими, не так ли?

Мы ответили утвердительно, так как она, по-видимому, этого ждала.

– Когда с деревьев падают листья и нет больше цветов на букеты для суда лорд-канцлера, – продолжала старушка, – каникулы кончаются и шестая печать, о которой сказано в Откровении, снова торжествует. Зайдите, пожалуйста, ко мне. Это будет для меня добрым предзнаменованием. Молодость, надежда и красота бывают у меня очень редко. Много, много времени прошло с тех пор, как они меня навещали.

Она взяла меня под руку и повела вперед вместе с мисс Джеллиби, кивком предложив Ричарду и Аде идти вслед за нами. Не зная, как отказаться, я взглянула на Ричарда, ища у него помощи. Но эта встреча и забавляла его, и возбуждала его любопытство, к тому же он сам не знал, как отделаться от старушки, не обидев ее, и потому шел за нами вместе с Адой; а наша чудаковатая проводница вела нас все дальше, снисходительно улыбаясь и то и дело повторяя, что живет совсем близко.

Так оно и было, и мы в этом быстро убедились. Она жила очень близко, и не успели мы сказать ей двух-трех любезных слов, как дошли до ее дома. Проведя нас через маленькую боковую калитку, старушка совершенно неожиданно остановилась в узком переулке, который так же, как и соседние дворы и улочки, непосредственно примыкал к стене Линкольнс-Инна, и сказала:

– Вот моя квартира. Пожалуйста!

Она остановилась у лавки, над дверью которой была надпись: «*Крук, склад тряпья и бутылок*», и другая – длинными, тонкими буквами: «*Крук, торговля поддержанными корабельными принадлежностями*». В одном углу окна висело изображение красного здания бумажной фабрики, перед которой разгружали подводу с мешками тряпья. Рядом была надпись: «Скупка костей». Дальше – «Скупка негодной кухонной утвари». Дальше – «Скупка железного лома». Дальше – «Скупка макулатуры». Дальше – «Скупка дамского и мужского платья». Можно было подумать, что здесь скупают все, но ничего не продают. Окно было сплошь заставлено грязными бутылками: тут были бутылки из-под ваксы, бутылки из-под лекарств, бутылки из-под имбирного пива и содовой воды, бутылки из-под пикулей, винные бутылки, бутылки из-под чернил. Назвав последние, я вспомнила, что по ряду признаков можно было догадаться о близком соседстве лавки с юридическим миром, – она, если можно так выразиться, казалась чем-то вроде грязной приживалки и бедной родственницы юриспруденции. Чернильных бутылок в ней было великое множество. У входа в лавку стояла маленькая шаткая скамейка с горой истрепанных старых книг и надписью: «Юридические книги, по девять пенсов за том». Некоторые из перечисленных мною надписей были сделаны писарским почерком, и я узнала его – тем же самым почерком были написаны документы, которые я видела в конторе Кенджа и Карбоя, и письма, которые я столько лет получала от них. Среди надписей было объявление, написанное тем же почерком, но не имевшее отношения к торговым операциям лавки, а гласившее, что почтенный человек, сорока пяти лет, берет на дом переписку, которую выполняет быстро и аккуратно; «обращаться к Немо через посредство мистера Крука». Кроме того, тут во множестве висели поддержанные мешки для хранения документов, синие и красные. Внутри за порогом кучей лежали свитки старого потрескавшегося пергамента и выцветшие судебные бумаги с загнутыми уголками. Напрашивалась догадка, что сотни ржавых ключей, брошенных здесь грудой, как железный лом, были некогда ключами от дверей или несгораемых шкафов в юридических конторах. А тряпье – и то, что было свалено на единственную чашку деревянных весов, коромысло которых, лишившись противовеса, криво свисало с потолочной балки, и то, что валялось под весами, возможно, было когда-то адвокатскими нагрудниками и мантиями. Оставалось только вообразить, как шепнул Ричард нам с Адой, пока мы стояли, заглядывая в глубь лавки, что кости, сложенные в углу и обглоданные начисто, – это кости клиентов суда, и картина могла считаться законченной.

Туман еще не рассеялся, и на улице было полутемно, к тому же доступ света в лавку преграждала стена Линкольнс-Инна, стоявшая в нескольких ярдах; поэтому нам, конечно, не удалось бы увидеть здесь так много, если бы не зажженный фонарь в руках бродившего по лавке старика в очках и мохнатой шапке. Повернувшись ко входу, старик заметил нас. Он был маленького роста, мертвенно-бледный, сморщенный; голова его глубоко ушла в плечи и сидела как-то косо, а дыхание вырывалось изо рта клубами пара – чудилось, будто внутри у него пылает огонь. Шея его, подбородок и брови так густо заросли белой, как иней, щетиной и были так изборозжены морщинами и вздувшимися жилами, что он смахивал на корень старого дерева, усыпанный снегом.

– Ха! – пробурчал старик, подходя к двери. – Принесли что-нибудь на продажу?

Мы невольно отшатнулись и взглянули на нашу проводницу, которая силилась открыть наружную дверь, ведущую в жилые комнаты, вынутым из кармана ключом, а Ричард сказал, что раз мы уже получили удовольствие видеть, где она живет, то можем с нею проститься, так как времени у нас мало.

Но проститься с нею оказалось вовсе не просто. Старушка с такой поразительной, искренней настойчивостью упрашивала нас хоть на минутку зайти и посмотреть, как она живет, и так простодушно, но упорно влекла меня в дом, к себе, должно быть видя во мне желанное для нее «доброе предзнаменование», что я (не знаю, как другие) просто не могла противиться. Впрочем, у всех нас любопытство было более или менее возбуждено, – во всяком случае, когда старушку поддержал ее хозяин, говоря: «Да-да! Сделайте ей удовольствие! Загляните на минутку! Входите, входите! Пройдите через эту дверь, если та не в порядке!» – мы вошли в лавку, положившись на покровительство Ричарда и ободренные его улыбкой.

– Мой хозяин, Крук, – проговорила маленькая старушка, представляя нам хозяина с таким видом, словно она снизошла к нему с высоты своего величия. – Соседи прозвали его «Лорд-канцлером». Его лавку называют «Канцлерским судом». Очень эксцентричная личность. Очень странный. О, уверяю вас, очень странный!

Она несколько раз качнула головой и постучала пальцем себе по лбу, как бы прося нас любезно извинить слабости своего хозяина.

– Ведь он, знаете ли, немножко... того!.. – величественно проговорила старушка.

Старик расслышал ее слова и ухмыльнулся.

– Что правда, то правда, – сказал он, шагая с фонарем впереди нас, – меня действительно прозвали Лорд-канцлером, а мою лавку – Канцлерским судом. А как вы думаете, почему люди прозвали меня Лорд-канцлером, а мою лавку Канцлерским судом?

– Право, не знаю! – бросил Ричард довольно пренебрежительным тоном.

– Извольте видеть, – начал старик, остановившись и повернувшись к нам, – люди потому... Ха! Что за чудесные волосы! У меня в подвале три мешка женских волос, но таких красивых и тонких нету. Какой цвет, какие шелковистые!

– Довольно, приятель, – проговорил Ричард, раздраженный тем, что старик провел своей желтой рукой по косам Ады. – Можете восхищаться, как и все мы, но не позволяйте себе вольностей.

Старик внезапно метнул на него такой взгляд, что я позабыла и про Аду, а та, смущенная и зардевшаяся, была до того красива, что привлекла даже рассеянное внимание маленькой старушки. Стараясь предотвратить ссору, Ада со смехом сказала, что может лишь гордиться столь неподдельным восхищением, а мистер Крук снова сжался и погас столь же внезапно, как вспыхнул.

– У меня здесь, извольте видеть, полным-полно всякой всячины, – продолжал он, подняв фонарь, – и все это, как полагают соседи (хотя они ничего не знают, эти люди), изнашивается, разваливается, гниет, вот почему они так и окрестили меня и мою лавку. А склад у меня битком набит старым пергаментом и бумагой. Да еще есть у меня страстишка к ржавчине, плесени,

паутине. По мне, «что в сеть попало, то и рыба» – ничем не брезгую. А уж если что попадет ко мне в лапы, того я из них не выпущу (то есть соседи мои так думают, но что они знают, эти люди?); а еще я терпеть не могу никаких перемен, никакой уборки, стирки, чистки, ремонта у себя в доме. Потому-то лавка моя и получила столь зловещее прозвище – «Канцлерский суд». Но сам я на это не обижаюсь. Я чуть не каждый день хожу любоваться на своего благородного и ученого собрата, когда он заседает в Линкольнс-Инне. Он меня не замечает, но я-то его замечая. Между нами невелика разница. Оба копаемся в неразберихе... Ха, Леди Джейн!

Большая серая кошка соскочила с полки к нему на плечо, и все мы вздрогнули.

– Ха! Покажи-ка им, как ты царапаешься. Ха! Ну-ка, рви, миледи! – приказал ей хозяин.

Кошка, прыгнув на узел тряпья, принялась рвать его своими тигриными когтями и так шипела, что мне стало не по себе.

– Вот как она расправится со всяким, на кого я ее науськаю, – сказал старик. – Кроме всего прочего, я скупаю кошачьи шкурки, ну мне и принесли эту кошку. Отличная шкурка – сами видите, – однако я ее не содрал. Не содрал – не в пример Канцлерскому суду!

Он уже провел нас через лавку и открыл заднюю дверь, ведущую в подъезд. Остановившись, он положил руку на задвижку, а старушка, проходя мимо, снисходительно бросила:

– Довольно, Крук. Вы любезны, но надоедливы. Моим молодым друзьям некогда. Мне тоже некогда, – я должна присутствовать на судебном заседании, а оно вот-вот начнется. Мои молодые друзья – подопечные тяжбы Джарндисов.

– Джарндисов! – вздрогнул старик.

– «Джарндисы против Джарндисов» – знаменитая тяжба, Крук, – уточнила его жилища.

– Ха! – удивленно воскликнул старик, словно эти слова напомнили ему о многом, и еще шире раскрыл глаза. – Подумать только!

Он был явно ошеломлен и смотрел на нас с таким любопытством, что Ричард сказал ему:

– Вы, очевидно, очень интересуетесь делами, которые разбирает ваш благородный и ученый собрат – другой канцлер!

– Да, – рассеянно отозвался старик. – Еще бы! *Вас* зовут...

– Ричард Карстон.

– Карстон, – повторил он, медленно загибая указательный палец, как потом загибал остальные пальцы, перечисляя другие фамилии. – Так-так. А еще там встречаются фамилия Барбери, фамилия Клейр и фамилия Дедлок тоже, если не ошибаюсь.

– Да он знает нашу тяжбу не хуже, чем настоящий канцлер, который за это жалованье получает! – удивленно проговорил Ричард, обращаясь ко мне и Аде.

– Еще бы! – начал старик, с трудом пытаясь сосредоточиться. – Да! Том Джарндис... не посетуйте, что я называю вашего родственника Томом, в суде его иначе не называли и знали так же хорошо, как... как вот теперь знают ее, – он кивнул на свою жилищу. – Том Джарндис частенько забегал в наши края. Все, бывало, шатался тут по соседству, места себе не находил, когда тяжба разбиралась или скоро должна была разбираться в суде; болтал с лавочниками и советовал им ни в коем случае не обращаться в Канцлерский суд. «Ведь это, – говаривал он, – все равно что попасть под жернов, который едва вертится, но сотрет тебя в порошок; все равно что изжариться на медленном огне; все равно что быть до смерти закусанным пчелами, которые жалят тебя одна за другой; все равно что утонуть в воде, которая прибывает по каплям; все равно что сходить с ума постепенно, минута за минутой». Однажды он чуть руки на себя не наложил, как раз вон там, где сейчас стоит молодая леди.

Мы слушали его с ужасом.

– Вошел он тогда в эту дверь, – рассказывал старик, медленно чертя пальцем в воздухе воображаемый путь по лавке, – я говорю про тот день, когда он это все-таки сделал... да, впрочем, все вокруг уже давно говорили, что рано или поздно, а он этим кончит... вошел он тогда в эту дверь, походил взад-вперед, сел на скамью, что стояла вон там, и попросил

меня (я, конечно, был тогда гораздо моложе) принести ему пинту вина. «Видишь ли, Крук, говорит, я прямо сам не свой; дело мое опять разбирается, и, судя по всему, теперь наконец-то вынесут решение». Мне не хотелось оставлять его тут одного, вот я и уговорил его пойти в трактир напротив – на той стороне моей улицы (то есть Канцлерской улицы), а сам пошел за ним вслед, посмотрел в окно, вижу: он сидит в кресле у камина, как будто спокойный, и не один, а в компании. Не успел я вернуться домой, слышу – выстрел... грянул и раскатился до самого Инна. Я выбежал... соседи выбежали... и сразу же человек двадцать крикнули: «Том Джарндис!»

Старик умолк и окинул нас жестким взглядом, потом открыл фонарь, задул пламя и закрыл дверцу.

– Кому-кому, а вам говорить не нужно, что угадали мы правильно. Ха! А как в тот день все соседи хлынули в суд на разбор дела! Как мой достойный и ученый собрат и все прочие судейские, по обыкновению, виляли и петляли, но делали вид, что и не слыхивали про последнее событие, к которому привела тяжба, а если даже слышали, – о господи! – так оно не имеет к ней ровно никакого отношения.

Румянец сошел с лица Ады, а Ричард побледнел не меньше, чем она. Да и немудрено – ведь даже я взволновалась, хотя и была непричастна к тяжбе; так как же горько было столь юным и неискушенным сердцам получить в наследство бесконечное несчастье, связанное для множества людей с такими ужасными воспоминаниями! С другой стороны, мне было больно думать, что жизнь этого несчастного самоубийцы кое в чем напоминает жизнь бедной полумной старушки, которая привела нас сюда; но, к моему удивлению, сама она этого как будто совершенно не сознавала и, ведя нас вверх по лестнице, объясняла нам, со снисходительностью высшего существа к слабостям простых смертных, что ее хозяин «немножко... того... знаете ли!».

Она жила на самом верху, в довольно большой комнате, из которой был виден Линкольнс-Инн-Холл. Это, должно быть, и послужило для нее главной побудительной причиной поселиться здесь. Ведь отсюда она, по ее словам, могла смотреть на здание Канцлерского суда даже ночью, особенно при лунном свете. Комната у нее была чистенькая, но почти совсем пустая. Самая необходимая мебель, старые гравированные портреты канцлеров и адвокатов, вырезанные из книг и прилепленные облатками к стенам, да несколько ридикюлей и рабочих мешочков, по словам хозяйки, «набитых документами», – вот все, что я здесь увидела. В камине ни угля, ни золы; нигде никакой одежды, ни крошки еды. На полке открытого посудного шкафчика стояло, правда, несколько тарелок, две-три чайных чашки и еще кое-какая посуда, но вся она была пустая, насухо вытертая. Оглядывая комнату, я с жалостью подумала, что, значит, недаром ее хозяйка такая изможденная, и только теперь поняла – почему.

– Чрезвычайно польщена, поверьте, этим визитом подопечных тяжбы Джарндисов, – начала бедная старушка самым любезным тоном. – И весьма признательна за доброе предзнаменование. Местоительство у меня уединенное. Сравнительно. Я ограничена в выборе местоительства. Вынуждена находиться при канцлере. Я живу здесь уже много лет. Дни свои провожу в суде; вечера и ночи здесь. Ночи кажутся мне длинными, – ведь сплю я мало, а думаю много. Это, конечно, неизбежно, когда твое дело разбирается в Канцлерском суде. К сожалению, не имею возможности предложить шоколаду. Ожидаю, что суд вынесет решение скоро, а тогда устрою свою жизнь получше. В настоящее время не стесняюсь признаться подопечным тяжбы Джарндисов (строго доверительно), что иногда трудно сохранить приличный вид. Мне здесь случалось страдать от холода. А порой и от кое-чего более тяжелого, чем холод. Но это неважно. Прошу извинить, что завела разговор на столь низменные темы.

Она немного отодвинула занавеску продолговатого низкого чердачного окна и показала нам висящие в нем птичьи клетки; в некоторых из них сидело по несколько птичек. Здесь были жаворонки, коноплянки, щеглы – всего птиц двадцать, не меньше.

– Я завела у себя этих малюток с особой целью, и подопечные ее сразу поймут, – сказала она. – С намерением выпустить птичек на волю. Как только вынесут решение по моему делу. Да-а! Однако они умирают в тюрьме. Бедные глупышки, жизнь у них такая короткая в сравнении с канцлерским судопроизводством, что все они, птичка за птичкой, умирают, – целые коллекции у меня так вымерли одна за другой. И я, знаете ли, опасаясь, что ни одна из этих вот птичек, хоть все они молоденькие, тоже не доживет до освобождения. Оч-чень прискорбно, не правда ли?

Среди потока ее фраз изредка мелькал вопрос, но она не дожидалась ответа, а продолжала тараторить, как будто привыкла задавать вопросы в пространство, даже когда была одна.

– И, право же, – продолжала она, – я положительно опасаясь иногда, уверяю вас, что, поскольку дело еще не решено и шестая, или Большая, печать все еще торжествует, может случиться, что и *меня* найдут здесь окоченевшей и бездыханной, как я находила стольких птичек.

В ответ на полный сострадания взгляд Ады Ричард ухитрился тихо и незаметно положить на каминную полку немного денег. Мы все подошли поближе к клеткам, делая вид, будто рассматриваем птичек.

– Я не могу позволить им петь слишком много, – говорила старушка, – так как (вам это покажется странным) в голове у меня путается, когда я слежу за судебными прениями и вдруг вспоминаю, что пташки мои сейчас поют. А голова у меня, знаете ли, должна быть очень, очень ясной! В другой раз я назову вам их имена. Не сейчас. В день столь доброго предзнаменования пусть поют сколько угодно. В честь молодости, – улыбка и реверанс, – надежды, – улыбка и реверанс, – и красоты. – Улыбка и реверанс. – Ну вот! Раздвинем занавески – пусть будет совсем светло.

Птички оживились и начали щебетать.

– Я не могу открывать окно, чтобы воздух у меня был свежее, – говорила маленькая старушка (воздух в комнате был спертый, и ее не худо было бы проветрить), – потому что Леди Джейн – кошка, которую вы видели внизу, – покушается на их жизнь. Целыми часами сидит, притаившись, за окном на парапете. Я поняла, – тут она перешла на таинственный шепот, – что ее природное жестокосердие теперь обострилось – она охвачена ревнивой боязнью, как бы их не выпустили на волю. В результате решения суда, которое, я надеюсь, вынесут вскоре. Она хитрая и коварная. Иногда я готова поверить, что она не кошка, а волк из старинной поговорки: «Волк что голод – не выгонишь!»

Бой часов на колокольне, где-то поблизости, напомнил бедняжке, что уже половина десятого, и положил конец нашему визиту, – нам самим закончить его было бы не так-то легко. Придя домой, старушка положила на стол свой мешочек с документами, а теперь торопливо схватила его и осведомилась, не собираемся ли мы тоже пойти в суд. Мы ответили отрицательно, подчеркнув, что никоим образом не хотим ее задерживать, и тогда она открыла дверь, чтобы проводить нас вниз.

– После такого предзнаменования мне более чем когда-либо нужно попасть в суд до выхода канцлера, – сказала она, – ибо он может назначить слушание моего дела в первую очередь. У меня предчувствие, что он действительно назначит его в первую очередь сегодня утром.

На лестнице она остановила нас и зашептала, что весь дом набит каким-то диковинным хламом, который ее хозяин скупил постепенно, а продавать не желает... потому что он чуть-чуть... того. Это она говорила на площадке второго этажа, а перед тем, на третьем этаже, ненадолго остановилась и молча указала нам пальцем на темную закрытую дверь.

– Единственный жилец, не считая меня, – объяснила она шепотом, – переписчик судебных бумаг. Здешние уличные мальчишки болтают, будто он продал душу черту. Не представляю себе, на что он мог истратить вырученные деньги! Тсс!

Тут она, должно быть, испугалась, как бы жилец не услышал ее слов из-за двери, и, повторяя «тсс!», пошла впереди нас на цыпочках, точно шум ее шагов мог выдать ему то, что она сказала.

Проходя через лавку к выходу тем же путем, как мы шли к лестнице, мы снова увидели старика хозяина, убиравшего в подполье кипы исписанной бумаги, видимо макулатуры. Старик работал очень усердно, – так, что пот выступил у него на лбу, – и, убрав сверток или пачку, хватал лежащий у него под рукой кусок мела и чертил им какую-то закорючку на обшивке стены.

Ричард, Ада, мисс Джеллиби и маленькая старушка уже прошли мимо него, а я не успела, так как он внезапно остановил меня и, дотронувшись до моего локтя, написал мелом на стене букву «Д» – написал чрезвычайно странным образом, начав снизу. Это была заглавная буква, не печатная, но написанная точь-в-точь так, как написал бы ее клерк из конторы господ Кенджа и Карбоя.

– Можете вы произнести ее? – спросил старик, устремив на меня пронзительный взгляд.

– Конечно, – ответил я. – Это нетрудно.

– Как же она произносится?

– Д...

Снова бросив взгляд на меня, потом на дверь, он стер букву, вывел на ее месте букву «ж» (теперь незаглавную) и спросил:

– А это что такое?

Я ответила. Он стер «ж», написал «а» и задал мне тот же вопрос. Так он быстро чертил букву за буквой, все тем же странным образом, начиная снизу, а начертив, стирал ее, – причем ни разу не оставил на стене двух одновременно, – и остановился лишь после того, как написал все буквы, составляющие слово «Джарндис».

– Как произносится это слово? – спросил он меня.

Я произнесла его, и старик рассмеялся. Затем он таким же странным образом и с такой же быстротой начертил и стер одну за другой все буквы, составляющие слова «Холодный дом». Не без удивления прочла я вслух и эти слова, а старик снова рассмеялся.

– Ха! – сказал он, отложив в сторону мел. – Вот видите, мисс, я могу рисовать слова по памяти, хоть и не умею ни читать, ни писать.

У него был такой неприятный вид, а кошка устремила на меня такой хищный взгляд, – словно я была кровной родственницей живших наверху птичек, – что я почувствовала настоящее облегчение, когда Ричард появился в дверях и сказал:

– Надеюсь, мисс Саммерсон, вы не собираетесь продавать свои волосы? Не поддавайтесь искушению. Три мешка уже лежат в подполье, и хватит с мистера Крука!

Я не замедлила пожелать мистеру Круку всего хорошего и присоединилась к своим друзьям, стоявшим на улице, и тут мы расстались с маленькой старушкой, которая очень торжественно простилась с нами и повторила свое вчерашнее обещание завещать Аде и мне какие-то поместья. Заходя за угол, мы оглянулись и увидели мистера Крука, – он смотрел нам вслед, стоя у входа в лавку с очками на носу и кошкой на плече, – хвост ее торчал над его мохнатой шапкой, словно длинное перо.

– Вот так утреннее приключение в Лондоне, – сказал Ричард со вздохом. – Ах, кухня, кухня, какие это страшные слова – «Канцлерский суд»!

– И я боялась их с тех пор, как помню себя, – откликнулась Ада. – Тяжело сознавать себя врагом, – ведь я, очевидно, враг, – своих многочисленных родственников и других людей; тяжело сознавать, что они мои враги, – а так оно, вероятно, и есть, – и видеть, что мы разоряем друг друга, сами не зная как и зачем, и всю жизнь проводим в подозрениях и раздорах. Должна же где-то быть правда, и очень странно, что за столько лет не нашлось ни одного честного судьи, который взялся бы за дело всерьез и выяснил, на чьей она стороне.

– Да, кухня, – вздохнул Ричард, – еще бы не странно! Вся эта разорительная, беспцельная шахматная игра действительно кажется очень странной. Когда я видел вчера, как безмятежно топчется на месте этот невозмутимый суд, и думал о страданиях пешек на его шахматной доске, у меня разболелись и голова и сердце. Голова – оттого, что я был не в силах понять, как все это возможно, если только люди не дураки и не подлецы, а сердце – от мысли о том, что люди бывают и дураками, и подлецами. Но, во всяком случае, Ада... можно мне называть вас Адой?

– Конечно, можно, кузен Ричард.

– Во всяком случае, Ада, Канцлерский суд не может вредно повлиять на нас. К счастью, мы с вами встретились, – благодаря нашему доброму родственнику, – и теперь суд не в силах нас разлучить!

– Надеюсь, что нет, кузен Ричард! – тихо промолвила Ада.

Мисс Джеллиби сжала мой локоть и бросила на меня весьма многозначительный взгляд. Я улыбнулась в ответ, и весь остальной путь до дому мы прошли очень весело.

Спустя полчаса после нашего возвращения из спальни вышла миссис Джеллиби, а потом в течение часа в столовой один за другим появлялись разнообразные предметы, необходимые для первого завтрака. Я не сомневаюсь, что миссис Джеллиби легла спать и встала точно так же, как это делают все люди, но по ее виду казалось, будто она, ложась в постель, даже платья не сняла. За завтраком она была совершенно поглощена своими делами, так как утренняя почта принесла ей великое множество писем относительно Бориобула-Гха, а это, по ее собственным словам, сулило ей хлопотливый день. Дети шатались повсюду, то и дело падая и оставляя следы пережитых злоключений на своих ногах, превратившихся в какие-то краткие летописи ребячьих бедствий; а Пищик пропадал полтора часа, и домой его привел полисмен, который нашел его на Ньюгетском рынке. Спокойствие, с каким миссис Джеллиби перенесла и отсутствие и возвращение своего отпрыска в лоно семьи, поразило всех нас.

Все это время она усердно продолжала диктовать Кедди, а Кедди беспрерывно пачкалась чернилами, быстро обретая тот вид, в каком мы застали ее накануне. В час дня за нами приехала открытая коляска и подвода для нашего багажа. Миссис Джеллиби попросила нас передать сердечный привет своему доброму другу мистеру Джарндису; Кедди встала из-за письменного стола и, провожая нас, поцеловала меня, когда мы шли по коридору, а потом стояла на ступеньках крыльца, покусывая гусиное перо и всхлипывая; Пищик, к счастью, спал, так что сон избавил его от мук расставанья (я не могла удержаться от подозрений, что на Ньюгетский рынок он ходил искать меня); остальные же дети прицепились сзади к нашей коляске, но вскоре сорвались и попадали на землю, и мы, оглянувшись назад, с тревогой увидели, что они валяются по всему Тейвис-Инну.

Глава VI

Совсем как дома

Тем временем прояснело, и чем дальше мы двигались на запад, тем светлей и светлей становился день. Озаренные солнцем, вдыхая свежий воздух, мы ехали, все больше и больше дивясь на бесчисленные улицы, роскошь магазинов, оживленное движение и толпы людей, которые запестрели, словно цветы, как только туман рассеялся. Но вот мы мало-помалу стали выбираться из этого удивительного города, пересекли предместья, которые, как мне казалось, сами могли бы образовать довольно большой город, и наконец свернули на настоящую деревенскую дорогу, а тут на нас пахнуло ароматом давно скошенного сена и перед нами замелькали ветряные мельницы, стога, придорожные столбы, фермерские телеги, качающиеся вывески и водопойные колоды, деревья, поля и живые изгороди. Чудесно было видеть расстилавшийся перед нами зеленый простор и знать, что громадная столица осталась позади, а когда какой-то фургон, запряженный породистыми лошадьми в красной сбруе, поравнялся с нами, бойко тарахтя под музыку звонких бубенчиков, мы все трое, кажется, готовы были запеть им в лад, – таким весельем дышало все вокруг.

– Дорога все время напоминает мне о моем тезке – Виттингтоне, – сказал Ричард, – и этот фургон – последний штрих на картине... Эй! В чем дело?

Мы остановились, фургон тоже остановился. Как только лошади стали, звон бубенчиков перешел в легкое позвякивание, но стоило одной из лошадей дернуть головой или встряхнуться, как нас вновь окатывало ливнем звона.

– Наш фореитор оглядывается на возчика, – сказал Ричард, – а тот идет назад, к нам... Добрый день, приятель! – Возчик уже стоял у дверцы нашей коляски. – Смотрите-ка, вот чудеса! – добавил Ричард, всматриваясь в него. – У него на шляпе ваша фамилия, Ада!

На шляпе у него оказались все три наши фамилии. За ее ленту были заткнуты три записки: одна – адресованная Аде, другая – Ричарду, третья – мне. Возчик вручил их нам одну за другой поочередно, всякий раз сперва прочитывая вслух фамилию адресата. На вопрос Ричарда, от кого эти записки, он коротко ответил: «От хозяина, сэр», – надел шляпу (похожую на котелок, только мягкий) и щелкнул бичом, а «музыка» зазвучала снова, и под ее звон он покатиł дальше.

– Это фургон мистера Джарндиса? – спросил Ричард фореитора.

– Да, сэр, – ответил тот. – Едет в Лондон.

Мы развернули записки. Написанные твердым, разборчивым почерком, они были совершенно одинакового содержания, и в каждой мы прочли следующие слова:

«Надеюсь, друг мой, что мы встретимся непринужденно и не будем стесняться один другого. Поэтому предлагаю встретиться, как старые приятели, ни словом не помяная о прошлом. Возможно, так будет легче и для Вас, а для меня – безусловно.

Любящий Вас

Джон Джарндис».

Эта просьба удивила меня, вероятно, меньше, чем моих спутников, – ведь мне так ни разу и не удалось поблагодарить того, кто столько лет был моим благодетелем и единственным покровителем. Раньше я не спрашивала себя: как мне благодарить его? – признательность была слишком глубоко скрыта в моем сердце; теперь же стала думать: как удержаться от благодарности при встрече с ним? И поняла, что это будет очень трудно.

Прочитав записки, Ричард и Ада стали говорить, что у них осталось впечатление, – только они не помнят, откуда оно взялось, – будто их кузен Джарндис не терпит благодарности за свои

добрые дела и, уклоняясь от нее, прибегает к самым диковинным хитростям и уловкам вплоть до того, что спасается бегством. Ада смутно припомнила, как еще в раннем детстве слышала от своей мамы, будто мистер Джарндис однажды оказал ей очень большую услугу, а когда мама отправилась его благодарить, он, увидев в окно, что она подошла к дверям, немедленно сбежал через задние ворота, и потом целых три месяца о нем не было ни слуху ни духу. Мы много беседовали на эту тему, и, сказать правду, она не иссякала весь день, так что мы почти ни о чем другом не говорили. Случайно отвлекшись от нее, мы немного погодя возвращались к ней опять и гадали, какой он, этот Холодный дом, да скоро ли мы туда доедем, да увидим ли мистера Джарндиса тотчас же по приезде или позже, да что он нам скажет и что следует нам сказать ему. Обо всем этом мы думали и раздумывали и говорили все вновь и вновь.

Дорога оказалась очень скверной – лошадям было тяжело, но пешеходные тропинки по обочинам большей частью были удобны; поэтому мы выходили из коляски на всех подъемах и шли в гору пешком, и нам так это нравилось, что, добравшись доверху, мы и на ровном месте не сразу садились в свой экипаж. В Барнете нас ждали сменные лошади, но им только что задали корму, так что нам пришлось подождать и мы успели сделать еще одну длинную прогулку по выгону и древнему полю битвы, пока не подъехала наша коляска. Все это нас так задержало, что короткий осенний день уже угас и наступила долгая ночь, а мы еще не доехали до городка Сент-Олбенса, близ которого, как нам было известно, находился Холодный дом.

К тому времени мы уже так разволновались и разнервничались, что даже Ричард признался, – когда мы катили по булыжной мостовой старинного городка, – что его обуяло нелепое искушение повернуть вспять. А мы с Адой – Аду он очень заботливо укутал, так как вечер был ветреный и морозный, – дрожали с головы до ног. Когда же мы выехали за черту города и завернули за угол крайнего дома, Ричард сказал, что фореитор, который давно уже сочувствовал нашему нетерпеливому ожиданию, обернулся и кивнул нам; и тут обе мы поднялись и дальше ехали стоя (причем Ричард поддерживал Аду, чтобы она не вывалилась), напряженно всматриваясь в звездную ночь и расстилавшееся перед нами пространство. Но вот впереди на вершине холма блеснул свет, и кучер, указав на него бичом, крикнул: «Вон он, Холодный дом!», пустил лошадей крупной рысью и погнал их в гору так быстро, что нас, как брызгами на водяной мельнице, осыпало дорожной пылью, взлетающей из-под колес. Свет блеснул, погас, снова блеснул, опять погас, блеснул вновь, и мы, свернув в аллею, покатали в ту сторону, где он горел ярко. А горел он в окне старинного дома с тремя вздымавшимися на переднем фасаде шпилями и покатым въездом, который вел к крыльцу, изгибаясь дугой. Как только мы подъехали, где-то зазвонил колокол, и вот под его густой звон, гулко раздававшийся в тишине, и лай собак, доносившийся издали, озаренные потоком света, хлынувшим через распахнутую дверь, окутанные паром, поднявшимся от разгоряченных лошадей, чувствуя, как быстро забилося у нас сердце, мы вышли из коляски в немалом смятении.

– Ада, милая! Эстер, дорогая моя, добро пожаловать! Как я счастлив встретиться с вами! Рик, будь у меня сейчас еще одна свободная рука, я протянул бы ее вам!

Джентльмен, произносивший эти слова звучным, веселым, приветливым голосом, одной рукой обнял Аду, другую – меня и, отечески поцеловав нас обеих, провел через переднюю в небольшую с красными стенами комнатку, залитую светом огня, который ярко пылал в камине. Тут он снова поцеловал нас и, разжав руки, усадил рядом на диванчик, уже пододвинутый поближе к огню. В эту минуту я поняла, что стоит нам хоть немножко дать волю своим чувствам, и он убежит во мгновение ока.

– Ну, Рик, – сказал он, – теперь у меня рука свободна. Одно лишь искреннее слово не хуже целой речи. От души рад вас видеть. Вы теперь дома. Отогревайтесь же!

Ричард пожал ему обе руки и доверчиво и почтительно, но сказал только (хотя сказал так горячо, что порядком меня напугал, – очень уж я боялась, как бы мистер Джарндис сразу же

не скрылся): «Вы очень добры, сэр. Мы вам чрезвычайно обязаны!» – И, сняв шляпу и пальто, подошел к камину.

– Ну как, приятно было прокатиться? А миссис Джеллиби вам понравилась, моя милая? – спросил мистер Джарндис Аду.

Пока Ада отвечала, я украдкой посматривала на него, – не стоит и говорить, с каким интересом. Лицо его, красивое, живое, подвижное, часто меняло выражение; волосы были слегка посеребрены сединой. Я решила, что ему уже лет под шестьдесят, но держался он прямо и выглядел бодрым и крепким. Не успел он заговорить с нами, как голос его вызвал в моей памяти что-то пережитое в прошлом, только я не могла припомнить, что именно; и вот наконец что-то в его порывистых манерах и ласковых глазах внезапно напомнило мне джентльмена, сидевшего в почтовой карете шесть лет назад, в памятный день моего отъезда в Рединг. И я поняла, что это был он. Но никогда в жизни я так не пугалась, как в ту минуту, когда сделала это открытие, – ведь он поймал мой взгляд и, словно прочитав мои мысли, так выразительно взглянул на дверь, что я подумала: «Только мы его и видели!»

Однако, к счастью, он никуда не сбежал, а спросил меня, какого я мнения о миссис Джеллиби.

– Она изо всех сил трудится на пользу Африки, сэр, – сказала я.

– Прекрасно! – воскликнул мистер Джарндис. – Но вы отвечаете так же, как Ада. – Я не слышала слов Ады. – Я вижу, вы все чего-то недоговариваете.

– Если уж говорить всю правду, – начала я, посмотрев на Ричарда и Аду, которые взглядами умоляли меня ответить вместо них, – нам показалось, что она, пожалуй, недостаточно заботится о своем доме.

– Не может быть! – вскричал мистер Джарндис.

Мне опять стало страшно.

– Слушайте, мне хочется знать, что вы о ней действительно думаете, дорогая моя. Быть может, я послал вас к ней не без умысла.

– Нам кажется, – проговорила я нерешительно, – что, пожалуй, ей лучше было бы начать со своих домашних обязанностей, сэр; ведь если их выполняешь небрежно и нерадиво, то этого не искупят никакие другие заслуги.

– А малютки Джеллиби, – вмешался Ричард, приходя мне на помощь, – ведь они – простите за резкость, сэр, – прямо-таки черт знает в каком виде.

– У нее благие намерения, – торопливо проговорил мистер Джарндис. – А ветер-то восточный, оказывается.

– Пока мы сюда ехали, ветер был северный, – заметил Ричард.

– Дорогой Рик, – сказал мистер Джарндис, мешая угли в камине, – ветер дует или вот-вот подует с востока – могу поклясться. Когда ветер восточный, мне время от времени становится как-то не по себе.

– У вас ревматизм, сэр? – спросил Ричард.

– Пожалуй, что так, Рик. Вероятно. Значит, малютки Джел... Я и сам подозревал... что они в... о господи, ну, конечно, ветер восточный! – повторил мистер Джарндис.

Роняя эти обрывки фраз, он раза два-три нерешительно прошелся взад и вперед по комнате, в одной руке держа кочергу, а другой ероша волосы с добродушной досадой, такой чудачковатый и такой милый, что нет слов выразить, как горячо мы им восхищались. Но вот он взял под руку меня и Аду и, попросив Ричарда захватить свечу, пошел с нами к двери, как вдруг повернул назад.

– Насчет ребятишек Джеллиби... – начал он. – Вы не могли разве... вы не... ну, словом, неплохо было бы, если б, скажем, на них вдруг градом посыпались с небес леденцы, или пирожки с малиновым вареньем, или вообще что-нибудь в этом роде!

– Но, кузен... – торопливо подхватила Ада.

– Вот это хорошо, моя прелесть! Приятно слышать, когда тебя называют «кузеном». А «кузен Джон» – и того лучше, пожалуй.

– Так вот, кузен Джон... – снова начала Ада со смехом.

– Ха-ха! Замечательно! – воскликнул мистер Джарндис в полном восторге. – Звучит необычайно естественно. Ну, и что же, дорогая моя?

– Они получили кое-что получше. К ним с небес слетела Эстер.

– Вот как? – сказал мистер Джарндис. – Что же Эстер делала?

– А вот что, кузен Джон, – принялась рассказывать Ада, обхватив обеими руками его руку и отрицательно качая головой в ответ на мою просьбу помолчать. – Эстер сразу подружилась с ними. Эстер нянчила их, укладывала спать, умывала, одевала, рассказывала им сказки, успокаивала их, покупала им подарки.

Милая моя девочка! Ведь я всего только и сделала, что вышла на улицу с Пищиком, когда его разыскали, и подарила ему крошечную лошадку.

– И еще, кузен Джон, она утешала бедную Кэролайн, старшую дочь миссис Джеллиби, и была так внимательна ко мне, так мила!.. Нет, нет, не спорь, милая Эстер! Сама знаешь, отлично знаешь, что это правда!

И, не выпуская руки своего кузена Джона, моя ласковая девочка потянулась ко мне и поцеловала меня, потом вдруг расхрабрилась и, глядя ему прямо в глаза, сказала:

– Во всяком случае, кузен Джон, кто-кто, а я все-таки *благодарю* вас за подругу, которую вы мне дали.

Она словно вызывала его на то, чтобы он убежал. Но он остался.

– Как вы сказали, Рик, какой сейчас ветер? – спросил мистер Джарндис.

– Когда мы приехали, сэр, ветер был северный.

– Правильно, ветер вовсе не восточный. Я просто ошибся. Пойдемте, девочки, посмотрим ваш родной дом.

Это был один из тех очаровательных, причудливо построенных домов, где, переходя из одной комнаты в другую, спускаешься или поднимаешься по ступенькам, где находишь новые комнаты, после того как уже кажется, что ты осмотрел их все, где, миновав множество закоулков и коридорчиков, неожиданно попадаешь в еще более старинные, – как в деревенских коттеджах, – комнаты с решетчатыми оконными переплетами, к которым прижимается зеленая листва. Моя комната – первая, в которую мы вошли, – была именно такая: с двухскатным потолком, в котором было столько углов, что я никогда не могла их сосчитать, и с камином (в нем пылали дрова), выложенным внутри белоснежным кафелем, каждая плитка которого отражала в миниатюре ярко пылающий огонь. Из этой комнаты, спустившись по двум ступенькам, можно было попасть в прелестную маленькую гостиную, выходящую окнами на цветник и предназначенную Аде и мне. А отсюда, поднявшись по трем ступенькам, – перейти в спальню Ады, где из красивого широкого окна открывался чудесный вид (в тот вечер мы увидели только обширное темное пространство, расстилавшееся под звездами), а под окном было устроено сиденье в такой глубокой нише, что, стоило только навесить на нее дверь с пружиной, и здесь сумели бы спрятаться три милых Ады. Из ее спальни можно было пройти на маленькую галерею, к которой примыкали две (только две) парадные комнаты, а из галереи, спустившись по короткой лесенке с низкими ступеньками и, пожалуй, слишком частыми поворотами, перейти в переднюю. Но если бы вы направились в другую сторону, то есть вернулись бы из спальни Ады в мою, вышли бы из нее через ту самую дверь, в которую вошли, и поднялись по нескольким винтовым ступеням, ответвлявшимся от лестницы, вы, наверное, заблудились бы в коридорах, где увидели бы катки для белья, треугольные столики и индийское кресло, которое могло превратиться в диван, сундук или кровать, – хотя на вид казалось не то остоном бамбуковой хижины, не то огромной птичьей клеткой, – а вывезено было из Индии неизвестно кем и когда. Отсюда можно было пройти в комнату Ричарда, которая служила библиотекой, гостиной

и спальни одновременно, заменяя целую удобную квартирку. Небольшой коридор соединял ее с очень просто обставленной спальней, где мистер Джарндис круглый год спал при открытом окне на кровати без полога, стоявшей посредине комнаты, чтобы со всех сторон обдувал воздух; открытая дверь вела из спальни в смежную комнатку, где он принимал холодные ванны. Другой коридор вел из спальни к черному ходу, и, когда у конюшни чистили лошадей, отсюда было слышно, как им кричали: «Стой!» и «Пошел!» – если им случалось поскользнуться на неровных булыжниках. Но, если угодно, вы могли бы из спальни хозяина перейти прямо в переднюю – стоило только выйти в другую дверь (в каждой комнате здесь было не меньше двух дверей), спуститься по нескольким ступенькам и пройти по низкому сводчатому коридору, – а очутившись в передней, вы просто не поняли бы, каким образом вы отсюда вышли и как вам удалось сюда вернуться.

Как и сам дом, обстановка в нем была старинная, хоть и не казалась старой, и так же пленяла своим приятным разнообразием. Спальня Ады была, если можно так выразиться, «вся в цветах» – цветочным узором были украшены и ситцевые чехлы, и обои, и бархатные портьеры, и вышивки, и парчовая обивка стоявших по обе стороны камина двух роскошных, как во дворце, прямых кресел, к которым для большей пышности было приставлено, в качестве пажей, по скамеечке. Гостиная у нас была зеленая, увешанная картинками, на которых было изображено множество удивительных птиц, пристально и удивленно смотревших с полотен в застекленных рамах на аквариум с живой форелью, – такой коричневой и блестящей, словно ее подали под соусом, – и на другие картинки, например «Смерть капитана Кука» и весь процесс заготовки чая в Китае, нарисованный китайскими художниками. В моей комнате висели овальные гравюры с аллегорическими изображениями двенадцати месяцев, причем июнь олицетворяли дамы, работавшие на сенокосе в платьях с короткими талиями и широких шляпах, завязанных лентами, а октябрь – джентльмены в узких рейтузах, которые указывали треуголками на деревенские колокольни. Поясные портреты пастелью во множестве встречались по всему дому, но развешаны они были в полном беспорядке: так, например, брат молодого офицера, портрет которого висел в моей комнате, попал в посудную кладовую, а седую старуху, в которую превратилась моя хорошенькая юная новобрачная с цветком на корсаже, я увидела в той столовой, где завтракали. Зато вместо них у меня висели написанные во времена королевы Анны четыре ангела, которые не без труда поднимали на небо опутанного гирляндами самодовольного джентльмена, а другую стену украшал вышитый натюрморт – фрукты, чайник и букварь. Вся обстановка в этом доме, начиная с гардеробов и кончая креслами, столами, драпировками, зеркалами, вплоть до булавочных подушечек и флаконов с духами на туалетных столиках, отличалась столь же причудливым разнообразием. Ни одной общей черты не было у этих вещей – разве только безукоризненная опрятность, сверкающая белизна полотняных скатертей и салфеток да кучки засушенных розовых лепестков и пахучей лаванды, которые лежали повсюду, в каждом ящике – все равно, большой он был или маленький.

Так вот: сначала – сияющий в звездной ночи свет в окнах, лишь кое-где притушенный занавесками; потом – светлые, теплые, уютные комнаты, и доносящийся издали гостеприимный, предобеденный стук посуды в столовой, и лицо великодушного хозяина, излучающее доброту, от которой светлело все, что мы видели, и глухой шум ветра за стенами, служащий негромким аккомпанементом всему, что мы слышали, – так вот каковы были наши первые впечатления от Холодного дома.

– Я рад, что он вам понравился, – сказал мистер Джарндис после того, как показал нам весь дом и снова привел нас в гостиную Ады. – Никаких особых претензий у него нет, но домик уютный, хочется думать, а с такими вот веселыми молодыми обитателями он будет еще уютнее. До обеда осталось всего полчаса. Гость у нас только один, но другого такого во всем мире не сыщешь – это чудеснейшее создание... дитя.

– И тут дети, Эстер! – воскликнула Ада.

– Дитя не настоящее, – пояснил мистер Джарндис, – дитя не по летам. Он взрослый – никак не моложе меня, – но по свежести чувств, простодушию, энтузиазму, прелестной бесхитростной неспособности заниматься житейскими делами он – сущее дитя.

Мы решили, что этот гость, очевидно, очень интересный человек.

– Это один знакомый миссис Джеллиби, – продолжал мистер Джарндис. – Он музыкант – правда, только любитель, хотя мог бы сделаться профессионалом. Кроме того, он художник-любитель, хотя тоже мог бы сделать живопись своей профессией. Очень одаренный, обаятельный человек. В делах ему не везет, в профессии не везет, в семье не везет, но это его не тревожит... сущий младенец!

– Вы сказали, что он человек семейный, значит, у него есть дети, сэр? – спросил Ричард.

– Да, Рик! С полдюжины, – ответил мистер Джарндис. – Больше! Пожалуй, дюжина наберется. Но он о них никогда не заботился. Да и где ему? Нужно, чтобы кто-то заботился о *нем самом*. Сущий младенец, уверяю вас!

– А дети его сумели позаботиться о себе, сэр? – спросил Ричард.

– Ну, сами понимаете, насколько это им удалось, – проговорил мистер Джарндис, и лицо его внезапно омрачилось. – Есть поговорка, что беднота своих отпрысков не «ставит на ноги», но «тащит за ноги». Так или иначе, дети Гарольда Скимпола с грехом пополам стали на ноги. А ветер опять переменялся, к сожалению. Я это уже почувствовал!

Ричард заметил, что дом стоит на открытом месте, и когда ночь ветреная, в комнатах дует.

– Да, он стоит на открытом месте, – подтвердил мистер Джарндис. – В том-то и дело. Потому в нем и гуляет ветер, в этом Холодном доме. Ну, Рик, наши комнаты рядом. Пойдемте!

Багаж привезли, и все у меня было под рукой, поэтому я быстро переоделась и уже принялась раскладывать свое «добро», как вдруг горничная (не та, которую приставили к Аде, а другая, еще незнакомая мне) вошла в мою комнату с корзиночкой, в которой лежали две связки ключей с ярлычками.

– Это для вас, мисс, позвольте вам доложить, – сказала она.

– Для меня? – переспросила я.

– Ключи со всего дома, мисс.

Я не скрyla своего удивления, а она, тоже немного удивленная, добавила:

– Мне приказали отдать их вам, как только вы останетесь одни, мисс. Ведь, если я не ошибаюсь, мисс Саммерсон – это вы?

– Да, – ответила я. – Это я.

– Большая связка – ключи от кладовых в доме, маленькая – от погребов, мисс. И еще мне велено показать вам завтра утром все шкафы и что каким ключом отпирается – в любое время, когда прикажете.

Я сказала, что буду готова к половине седьмого, а когда горничная ушла, посмотрела на корзиночку и уже не спускала с нее глаз, совершенно растерявшись оттого, что мне оказали столь большое доверие. Так я и стояла, когда вошла Ада; и тут я показала ей ключи и объяснила, зачем их принесли, а она так очаровательно высказала свою веру в мои хозяйственные таланты, что я была бы бесчувственной и неблагодарной, если бы это меня не ободрило. Я понимала, конечно, что милая девушка говорит так лишь по доброте сердечной, но все-таки мне было приятно поддаться столь лестному обману.

Когда мы сошли вниз, нас представили мистеру Скимполу, который стоял у камина, рассказывая Ричарду о том, как он в свои школьные годы увлекался футболом. Маленький жизнерадостный человек с довольно большой головой, но тонкими чертами лица и нежным голосом, он казался необычайно обаятельным. Он говорил обо всем на свете так легко и непринужденно, с такой заразной веселостью, что слушать его было одно удовольствие. Фигура у него была стройнее, чем у мистера Джарндиса, цвет лица более свежий, а седина в волосах

менее заметна, и потому он казался моложе своего друга. Вообще он походил скорее на преждевременно постаревшего молодого человека, чем на хорошо сохранившегося старика. Какая-то беззаботная небрежность проглядывала в его манерах и даже костюме (волосы у него были несколько растрепаны, а слабо завязанный галстук развевался, как у художников на известных мне автопортретах), и это невольно внушало мне мысль, что он похож на романтического юношу, который странным образом одряхлел. Мне сразу показалось, что и манеры его, и внешность совсем не такие, какие бывают у человека, который прошел, как и все пожилые люди, долголетний путь забот и жизненного опыта.

Из общего разговора я узнала, что мистер Скимпол получил медицинское образование и одно время был домашним врачом у какого-то немецкого князя. Но, как он сам сказал нам, он всегда был сущим ребенком «в отношении мер и весов», ничего в них не смыслил (кроме того, что они ему противны) и никогда не был способен прописать лекарство с надлежащей аккуратностью в каждой мелочи. Вообще, говорил он, голова его не создана для мелочей. И с большим юмором рассказывал нам, что, когда за ним посылали, чтобы пустить кровь князю или дать врачебный совет кому-нибудь из его приближенных, он обыкновенно лежал навзничь в постели и читал газеты или рисовал карандашом фантастические наброски, а потому не мог пойти к больному. В конце концов князь рассердился – «вполне резонно», откровенно признал мистер Скимпол, – и отказался от его услуг, а так как для мистера Скимпола «не осталось ничего в жизни, кроме любви» (объяснил он с очаровательной веселостью), то он «влюбился, женился и окружил себя румяными щечками». Его добрый друг Джарндис и некоторые другие добрые друзья время от времени подыскивали ему те или иные занятия, но ничего путного из этого не получалось, так как он, должен признаться, страдает двумя самыми древними человеческими слабостями: во-первых, не знает, что такое «время», во-вторых, ничего не понимает в деньгах. Поэтому он никогда никуда не являлся вовремя, никогда не мог вести никаких дел и никогда не знал, сколько стоит то или другое. Ну что ж! Так вот он и жил всю жизнь, и такой уж он человек! Он очень любит читать газеты, очень любит рисовать карандашом фантастические наброски, очень любит природу, очень любит искусство. Все, что он просит у общества, – это не мешать ему жить. Не так уж это много. Потребности у него ничтожные. Дайте ему возможность читать газеты, беседовать, слушать музыку, любоваться красивыми пейзажами, дайте ему баранины, кофе, свежих фруктов, несколько листов бристольского картона; немножко красного вина, и больше ему ничего не нужно. В жизни он сущий младенец, но он не плачет, как дети, требуя луны с неба. Он говорит людям: «Идите с миром каждый своим путем! Хотите – носите красный мундир армейца, хотите – синий мундир моряка, хотите – облачение епископа, хотите – фартук ремесленника, а нет, так засуньте себе перо за ухо, как это делают клерки; стремитесь к славе, к святости, к торговле, к промышленности, к чему угодно, только... не мешайте жить Гарольду Скимполу!»

Все эти мысли и многие другие он излагал нам с необычайным блеском и удовольствием, а о себе говорил с каким-то оживленным беспристрастием, – как будто ему не было до себя никакого дела, как будто Скимпол был какое-то постороннее лицо, как будто он знал, что у Скимпола, конечно, есть свои странности, но есть и свои требования, которыми общество обязано заняться и не смеет пренебрегать. Он просто очаровывал своих слушателей. Если вначале я и смущалась, безуспешно стараясь примирить его признания со своими собственными взглядами на нравственный долг и ответственность (хотя я сама представляю их себе не очень ясно), меня смущало лишь то, что я не могла как следует уразуметь, почему этот человек свободен и от ответственности, и от нравственного долга. А что он действительно был от них свободен, я почти не сомневалась, – этого он ничуть не скрывал.

– Я ничего не домогаюсь, – продолжал мистер Скимпол все с тою же легкостью. – Мне не нужно ничем обладать. Вот великолепный дом моего друга Джарндиса. Я чувствую себя обязанным моему другу за то, что у меня есть этот дом. Я могу нарисовать и, рисуя, изменить его.

Я могу написать о нем музыку. Когда я живу здесь, я в достаточной мере им обладаю, не испытывая никаких беспокойств, не неся расходов и ответственности. Короче говоря, у меня есть управляющий по фамилии Джарндис, и он не может меня обмануть. Мы только что говорили о миссис Джеллиби. Вот вам женщина с острым умом, сильной волей и огромной способностью вникать в каждую мелочь любого дела, – женщина, которая с поразительным рвением преследует те или иные цели! Но я не жалею, что *у меня* нет ни сильной воли, ни огромной способности вникать в мелочи, ни умения преследовать те или иные цели с поразительным рвением. Я могу восхищаться этой женщиной без зависти. Я могу сочувствовать ее целям. Я могу мечтать о них. Я могу лежать на траве – в хорошую погоду – и мысленно плыть по какой-нибудь африканской реке, обнимая всех встречных туземцев, и при этом так же полно наслаждаться глубокой тишиной и так же верно рисовать пышную растительность тропических дебрей, как если бы я и впрямь находился в Африке. Не знаю, приносит ли эта моя деятельность какую-нибудь непосредственную пользу, но только это я могу делать, и делаю отлично. А затем, когда Гарольд Скимпол, доверчивое дитя, умоляет вас, весь свет, то есть скопище практичных деловых людей: «Прошу вас, не мешайте мне жить и восхищаться человеческим родом», будьте добры, сделайте это так или иначе и позвольте ему качаться на его игрушечной лошадке!

Было совершенно ясно, что мистер Джарндис не остался глух к этой мольбе. Ясно хотя бы потому, какое почетное положение занимал в его доме мистер Скимпол, который вскоре сам подтвердил это, высказавшись еще яснее.

– Если я кому-нибудь и завидую, так это вам, великодушные вы создания, – сказал мистер Скимпол, обращаясь к нам троим, своим новым знакомым. – Я завидую вашей способности делать то, что вы делаете. На вашем месте я тоже бы этим увлекся. Но я не чувствую к вам пошлой благодарности; ни малейшей. Я готов думать, что это *вам* следует благодарить *меня* за то, что я даю вам возможность наслаждаться собственной щедростью. Я знаю, вам это нравится. Быть может, я и на свет-то появился лишь для того, чтобы обогатить сокровищницу вашего счастья. Быть может, я родился затем, чтобы иногда давать вам возможность помогать мне в моих маленьких затруднениях и тем самым сделаться вашим благодетелем. Зачем же мне скорбеть о моей неспособности вникать в мелочи и заниматься житейскими делами, если она порождает столь приятные последствия? Я и не скорблю.

Из всех его шуточных речей (шуточных, но совершенно точно выражавших его взгляды) эта речь всего более пришлась по вкусу мистеру Джарндису. Впоследствии мне не раз хотелось выяснить вопрос, действительно ли это странно или только мне одной кажется странным, что мистер Джарндис, человек, способный, как никто, испытывать чувство благодарности за всякий пустяк, так стремится избежать благодарности других.

Все мы были очарованы. Я поняла, что мистер Скимпол, говоря откровенно с Адой и Ричардом, которых увидел впервые, и всячески стараясь быть столь утонченно любезным, только воздаст должное их обаянию. Ричард и Ада (особенно Ричард), естественно, были польщены и решили, что для них это редкостная честь пользоваться столь большим доверием такого привлекательного человека. Чем внимательнее мы слушали, тем оживленнее болтал мистер Скимпол. А уж если говорить о его веселом остроумии, его чарующей откровенности, его простодушной привычке слегка касаться своих собственных слабостей, как будто он хотел сказать: «Вы видите, я – дитя! В сравнении со мной вы коварные люди (он и вправду заставил меня считать себя коварной), а я весел и невинен; так забудьте же о своих хитростях и поиграйте со мной!» – то придется признать, что все это производило прямо-таки ошеломляющее впечатление.

И он был так чувствителен, так тонко ценил все прекрасное и юное, что уже одним этим мог бы покорять сердца. Вечером, когда я готовила чай, а моя Ада, сидя в соседней комнате за роялем, вполголоса напевала Ричарду какую-то мелодию, которую они случайно вспомнили, мистер Скимпол подсел ко мне на диван и так говорил об Аде, что я в него чуть не влюбилась.

– Она как утро, – говорил он. – Эти золотистые волосы, эти голубые глаза, этот свежий румянец на щеках... – ну, точь-в-точь летнее утро! Здесьние птички так и подумают, когда увидят ее. Нельзя же называть сиротой столь прелестное юное создание, – оно живет на радость всему человечеству. Оно дитя вселенной.

Тут я заметила, что мистер Джарндис, улыбаясь, стоит рядом с нами, заложив руки за спину, и внимательно слушает.

– Вселенная – довольно равнодушная мать, к сожалению, – проговорил он.

– Ну, не знаю! – с жаром возразил ему мистер Скимпол.

– А я знаю, – сказал мистер Джарндис.

– Что ж! – воскликнул мистер Скимпол, – вы, конечно, знаете свет (который для вас – вся вселенная), а я не имею о нем понятия, так будь по-вашему. Но если бы все было по-моему, – тут он взглянул на Аду и Ричарда, – на пути этих двух юных созданий не попадались бы колючие шипы гнусной действительности. Их путь был бы усыпан розами; он пролегал бы по садам, где не бывает ни весны, ни осени, ни зимы, где вечно царит лето. Ни годы, ни беды не могли бы его омрачить. Мерзкое слово «деньги» никогда бы не долетало до него!

Мистер Джарндис с улыбкой погладил по голове мистера Скимпола, словно тот и в самом деле был ребенком, потом, сделав два-три шага, остановился на минуту и устремил глаза на девушку и юношу. Он смотрел на них задумчиво и благожелательно, и впоследствии я часто (так часто!) вспоминала этот взгляд, надолго запечатлевшийся в моем сердце. Ада и Ричард все еще оставались в соседней комнате, освещенной только огнем камина. Ада сидела за роялем; Ричард стоял рядом, склонившись над нею. Тени их на стене сливались, окруженные другими причудливыми тенями, которые хоть и были отброшены неподвижными предметами, но, движимые трепещущим пламенем, слегка шевелились. Ада так мягко касалась клавиш и пела так тихо, что музыка не заглушала ветра, посылавшего свои вздохи к далеким холмам. Тайна будущего и ее раскрытие, предвещаемое голосом настоящего, – вот что, казалось, выражала вся эта картина.

Но я не потому упоминаю об этой сцене, что хочу рассказать про какое-то свое фантастическое предчувствие, хоть оно и запечатлелось у меня в памяти, а вот почему. Во-первых, я не могла не заметить, что поток слов, только что сказанных мистером Скимполом, был внушен отнюдь не теми мыслями и чувствами, которые отражались в безмолвном взгляде мистера Джарндиса. Во-вторых, хотя взгляд его, оторвавшись от молодых людей, лишь мимолетно остановился на мне, я почувствовала, что в этот миг мистер Джарндис признается мне, – признается умышленно и видит, что я понимаю его признание, – в своих надеждах на то, что между Адой и Ричардом когда-нибудь установится связь еще более близкая, чем родственные отношения.

Мистер Скимпол играл на рояле и на виолончели, он даже был композитором (однажды начал писать оперу, но, наскучив ею, бросил ее на половине) и со вкусом исполнял собственные сочинения. После чая у нас состоялся маленький концерт, на котором слушателями были мистер Джарндис, я и Ричард, – очарованный пением Ады, он сказал мне, что она, должно быть, знает все песни на свете. Немного погодя я заметила, что сначала мистер Скимпол, а потом и Ричард куда-то исчезли, и пока я раздумывала о том, как может Ричард не возвращаться так долго, зная, что он столько теряет, горничная, передавшая мне ключи, заглянула в дверь и проговорила:

– Нельзя ли попросить вас сюда на минуту, мисс?

Я вышла с нею в переднюю, и тут горничная, всплеснув руками, воскликнула:

– Позвольте вам доложить, мисс, мистер Карстон просит вас подняться в комнату мистера Скимпола. Плохо его дело, мисс.

– Ему плохо? – переспросила я.

– Плохо, мисс. Как громом поразило, – ответила горничная.

Меня охватил страх, как бы внезапное недомогание мистера Скимпола не оказалось опасным, но я, конечно, попросила девушку успокоиться и никого не тревожить, сама же, быстро поднимаясь по лестнице вслед за нею, успела настолько овладеть собой, что стала обдумывать, какие средства лучше всего применить, если наш гость лишился чувств. Но вот горничная распахнула дверь, и я вошла в комнату, где, к своему несказанному изумлению, увидела, что мистер Скимпол не лежит на кровати и не распростерт на полу, но стоит спиной к камину, улыбаясь Ричарду, а Ричард в полном замешательстве смотрит на какого-то мужчину в белом пальто, который сидит на кушетке, то и дело приглаживая носовым платком свои редкие, прилизанные волосы, отчего они кажутся совсем уж редкими.

– Хорошо, что вы пришли, мисс Саммерсон, – торопливо начал Ричард, – вы можете дать нам совет. Наш друг, мистер Скимпол, – не пугайтесь! – арестован за неуплату долга.

– Действительно, дорогая мисс Саммерсон, – проговорил мистер Скимпол со своей всегдашней милой откровенностью, – я сейчас очутился в таком положении, что нуждаюсь, как никогда, в вашем замечательном здравом смысле и в свойственных вам спокойной методичности и услужливости – словом, в тех ваших качествах, которых не может не заметить каждый, кто имел счастье провести хоть четверть часа в вашем обществе.

Мужчина, сидевший на кушетке и, видимо, страдавший насморком, чихнул так громко, что я вздрогнула.

– А он велик, этот долг, из-за которого вы арестованы, сэр? – спросила я мистера Скимпола.

– Дорогая мисс Саммерсон, – ответил он, качая головой в шутливом недоумении, – право, не знаю. Несколько фунтов сколько-то шиллингов и полупенсов, не так ли?

– Двадцать четыре фунта шестнадцать шиллингов и семь с половиной пенсов, – ответил незнакомец. – Вот сколько.

– И это, кажется... это, кажется, небольшая сумма? – сказал мистер Скимпол.

Незнакомец вместо ответа чихнул опять, и с такой силой, что чуть не свалился на пол.

– Мистеру Скимполу неудобно обратиться к кузену Джарндису, – объяснил мне Ричард, – потому что он на днях... насколько я понял, сэр, кажется, вы на днях...

– Вот именно! – подтвердил мистер Скимпол с улыбкой. – Но я забыл, много ли это было и когда это было. Джарндис охотно сделает это опять, но мне чисто по-эпикурейски хочется чего-то новенького и в одолжениях... хочется, – он взглянул на Ричарда и меня, – вырастить щедрость на новой почве, в форме цветка нового вида.

– Как же быть, по-вашему, мисс Саммерсон? – тихонько спросил меня Ричард.

Прежде чем ответить, я осмелилась задать вопрос всем присутствующим: чем грозит неуплата долга?

– Тюрьмой, – буркнул незнакомец и с самым спокойным видом положил носовой платок в цилиндр, стоявший на полу у кушетки. – Или отсидкой у Ковинса.

– А можно спросить, сэр, кто такой...

– Ковинс? – подсказал незнакомец. – Судебный исполнитель.

Мы с Ричардом снова переглянулись. Как ни странно, арест беспокоил нас, но отнюдь не самого мистера Скимпола. Он наблюдал за нами с добродушным интересом, в котором – да простится мне это противоречие – видимо, не было ничего эгоистического. Он, как говорится, «умыл руки» – забыл о своих неприятностях, когда передоверил их нам.

– Вот о чем я думаю, – начал он, словно желая от чистого сердца помочь нам, – не может ли мистер Ричард, или его прелестная кухня, или оба они в качестве участников той канцлерской тяжбы, в которой, как говорят, спор идет об огромном состоянии, не могут ли они подписать что-нибудь там такое, или взять на себя, или дать что-нибудь вроде поручительства, или залога, или обязательства? Не знаю уж, как это называется по-деловому, но, очевидно, есть же средство уладить дело?

– Никакого нет, – изрек незнакомец.

– В самом деле? – подхватил мистер Скимпол. – Это кажется странным тому, кто не судья в подобных делах!

– Странно или не странно, но говорю вам – никакого! – сердито пробурчал незнакомец.

– Полегче, приятель, полегче! – кротко увещевал незнакомца мистер Скимпол, делая с него набросок на форзаце какой-то книги. – Не раздражайтесь тем, что у вас такая служба. Мы можем относиться к вам, позабыв о ваших занятиях, можем оценить человека вне зависимости от того, где он служит. Не так уж мы закоснели в предрассудках, чтобы не допустить мысли, что в частной жизни вы – весьма уважаемая личность, глубоко поэтическая натура, о чем вы, возможно, и сами не подозреваете.

В ответ незнакомец снова только чихнул – и чихнул оглушительно, но что именно он хотел этим выразить – то ли что принял как должное дань, отданную его поэтичности, то ли что отверг ее с презрением – этого я не могу сказать.

– Итак, дорогая мисс Саммерсон и дорогой мистер Ричард, – весело, невинно и доверчиво начал мистер Скимпол, склонив голову набок и разглядывая свой рисунок, – вы видите, я совершенно не способен выпутаться самостоятельно и всецело нахожусь в ваших руках! Я хочу только одного – свободы. Бабочки свободны. Неужели у человечества хватит духу отказать Гарольду Скимполу в том, что оно предоставляет бабочкам!

– Слушайте, мисс Саммерсон, – шепотом сказал мне Ричард, – у меня есть десять фунтов, полученных от мистера Кенджа. Я могу их отдать.

У меня было пятнадцать фунтов и несколько шиллингов, отложенных из карманных денег, которые я все эти годы получала каждые три месяца. Я всегда полагала, что может произойти какая-нибудь несчастная случайность, и я окажусь брошенной на произвол судьбы, без родных и без средств, и всегда старалась откладывать немного денег, чтобы не остаться без гроша. Сказав Ричарду, что у меня есть маленькие сбережения, которые мне пока не нужны, я попросила его объяснить в деликатной форме мистеру Скимполу, пока я схожу за деньгами, что мы с удовольствием уплатим его долг.

Когда я вернулась, мистер Скимпол, растроганный и обрадованный, поцеловал мне руку. Рад он был не за себя (я снова заметила эту непонятную и удивительную несообразность), а за нас; как будто собственные интересы для него не существовали и трогало его только созерцание того счастья, которое мы испытали, уплатив его долг. Ричард попросил меня уладить дело с «Ковинсовым» (так мистер Скимпол шутил называл теперь агента Ковинса), сказав, что я сумею проделать эту операцию тактично, а я отсчитала ему деньги и взяла с него расписку. И это тоже привело в восторг мистера Скимпола.

Он так деликатно расточал мне комплименты, что я даже не очень краснела и расплатилась с человеком в белом пальто, ни разу не сбившись со счета. Тот положил деньги в карман и отрывисто буркнул:

– Теперь пожелаю вам всего наилучшего, мисс.

– Друг мой, – обратился к нему мистер Скимпол, став спиной к камину и отложив недоконченный набросок, – мне хотелось бы расспросить вас кое о чем, но только не обижайтесь.

– Ваяйте! – так, помнится, ответил тот.

– Знали ли вы сегодня утром, что вам предстоит выполнить это поручение? – спросил мистер Скимпол.

– Знал уже вчера перед вечерним чаем, – ответил «Ковинсов».

– И это не испортило вам аппетита? Ничуть не взволновало вас?

– Ни капельки, – ответил «Ковинсов». – Не застал бы вас нынче, так застал бы завтра. Лишний день – пустяки.

– Но когда вы сюда ехали, – продолжал мистер Скимпол, – была прекрасная погода. Светило солнце, дул ветерок, пели птички, свет и тени мелькали по полям.

– А разве кто-нибудь говорил, что нет? – заметил «Ковинсов».

– Никто не говорил, – подтвердил мистер Скимпол. – Но о чем вы думали в пути?

– Что значит «думали»? – рявкнул «Ковинсов» с чрезвычайно оскорбленным видом. – «Думали»! У меня и без думанья работы хватает, а вот заработка не хватает. «Думали»!

Последнее слово он произнес с глубоким презрением.

– Следовательно, – продолжал мистер Скимпол, – вы, во всяком случае, не думали о таких, например, вещах: «Гарольд Скимпол любит смотреть, как светит солнце; любит слушать, как шумит ветер; любит следить за изменчивой светотенью; любит слушать пташек, этих певчих в величественном храме Природы. И сдается мне, что я собираюсь лишиться Гарольда Скимпола его доли того единственного блага, которое по праву принадлежит ему в силу рождения!» Неужели вы совсем об этом не думали?

– Будьте... уверены... что... *нет!* – проговорил «Ковинсов», который, видимо, отрицал малейшую возможность возникновения у него подобных мыслей – и столь упорно, что не мог достаточно ярко выразить это иначе как длинными паузами между словами, а под конец дернулся так, что чуть не вывихнул себе шею.

– Я вижу, у вас, деловых людей, мыслительный процесс протекает очень странным, очень любопытным образом! – задумчиво проговорил мистер Скимпол. – Благодарю вас, друг мой. Прощайте.

Мы отсутствовали довольно долго, и это могло вызвать удивление тех, кто остался внизу, поэтому я немедленно вернулась в гостиную и застала Аду у камина, занятую рукодельем и беседой с кузеном Джоном. Вскоре пришел мистер Скимпол, а вслед за ним и Ричард. Весь остаток вечера мысли мои были заняты первым уроком игры в трик-трак, преподанным мне мистером Джарндисом, который очень любил эту игру, и я старалась поскорее научиться играть, чтобы впоследствии приносить хоть крупицу пользы, заменяя ему в случае нужды более достойного партнера. Но все-таки я не раз думала, – в то время как мистер Скимпол играл нам на рояле или виолончели отрывки из своих сочинений или, присев к нашему столу и без всяких усилий сохраняя прекраснейшее расположение духа, непринужденно болтал, – не раз думала, что, как ни странно, но не у мистера Скимпола, а только у меня и Ричарда остался какой-то осадок от послеобеденного происшествия, – ведь нам все казалось, будто это нас собирались арестовать.

Мы разошлись очень поздно, – Ада хотела было уйти в одиннадцать часов, но мистер Скимпол подошел к роялю и весело забарабанил: «Для продления дней надо красть у ночей хоть по два-три часа, дорогая!» Только после двенадцати вынес он из комнаты и свою свечу, и свою сияющую физиономию, и я даже думаю, что он задержал бы всех нас до зари, если бы только захотел. Ада и Ричард еще стояли у камина, решая вопрос, успела ли миссис Джеллиби закончить свою сегодняшнюю порцию диктовки, как вдруг вернулся мистер Джарндис, который незадолго перед тем вышел из комнаты.

– О господи, да что же это такое, что это такое! – говорил он, шагая по комнате и ероша волосы в добродушной досаде. – Что я слышу? Рик, мальчик мой, Эстер, дорогая, что вы натворили? Зачем вы это сделали? Как вы могли это сделать? Сколько пришлось на каждого?.. Ветер опять переменялся. Насквозь продувает!

Мы не знали, что на это ответить.

– Ну же, Рик, ну! Я должен уладить это перед сном. Сколько вы дали? Я знаю, это вы двое уплатили деньги! Зачем? Как вы могли?.. О господи, настоящий восточный... не иначе!

– Я, право же, не смогу ничего сказать вам, сэр, – начал Ричард, – это было бы неблагоприятно. Ведь мистер Скимпол положился на нас...

– Господь с вами, милый мальчик! На кого только он не полагается! – перебил его мистер Джарндис, яростно взъерошив волосы, и остановился как вкопанный.

– В самом деле, сэр?

– На всех и каждого! А через неделю он опять попадет в беду, – сказал мистер Джарндис, снова шагая по комнате быстрыми шагами с погасшей свечой в руке. – Он вечно попадает все в ту же самую беду. Так уж ему на роду было написано. Не сомневаюсь, что, когда его матушка разрешилась от бремени, объявление в газетах гласило: «Во вторник на прошлой неделе у себя, в Доме Бед, миссис Скимпол произвела на свет сына в стесненных обстоятельствах».

Ричард расхохотался от всей души, но все же заметил:

– Тем не менее, сэр, я не считаю возможным поколебать и нарушить его доверие и потому снова осмелюсь сказать, что обязан сохранить его тайну; но я предоставляю вам, как более опытному человеку, решить этот вопрос, а вы, надеюсь, подумаете, прежде чем настаивать. Конечно, если вы будете настаивать, сэр, я признаю, что был неправ, и скажу вам все.

– Пусть так! – воскликнул мистер Джарндис, снова остановившись и в рассеянности пытаясь засунуть подсвечник к себе в карман. – Я... ох, чтоб тебя! Уберите его, дорогая! Сам не понимаю, на что он мне нужен, этот подсвечник... а все из-за ветра – всегда так действует... Я не буду настаивать, Рик, – может, вы и правы. Но все же так вцепиться в вас и Эстер и выжать обоих, как пару нежных осенних апельсинов!.. Ночью разразится буря!

Он то засовывал руки в карманы, словно решив оставить их там надолго, то хватался за голову и ожесточенно ерошил волосы.

Я осмелилась намекнуть, что в такого рода делах мистер Скимпол сущее дитя...

– Как, дорогая моя? – подхватил мистер Джарндис последнее слово.

– Сущее дитя, сэр, – повторила я, – и он так отличается от других людей...

– Вы правы! – перебил меня мистер Джарндис, просияв. – Вы своим женским умом попали прямо в точку. Он – дитя, совершенное дитя. Помните, я сам сказал вам, что он младенец, когда впервые заговорил о нем.

– Помним! Помним! – подтвердили мы.

– Вот именно – дитя. Не правда ли? – твердил мистер Джарндис, и лицо его прояснялось все больше и больше.

– Конечно, правда, – отозвались мы.

– И подумать только, ведь это был верх глупости с вашей стороны... то есть с моей, – продолжал мистер Джарндис, – хоть одну минуту считать его взрослым. Да разве можно заставить *его* отвечать за свои поступки? Гарольд Скимпол и... какие-то замыслы, расчеты и понимание их последствий... надо же было вообразить такое! Ха-ха-ха!

Так приятно было видеть, как рассеялись тучи, омрачавшие его светлое лицо, видеть, как глубоко он радуется, и понимать, – а не понять было нельзя, – что источник этой радости доброе сердце, которому очень больно осуждать, подозревать или втайне обвинять кого бы то ни было; и так хорошо все это было, что слезы выступили на глазах у Ады, смеявшейся вместе с ним, и я сама тоже прослезилась.

– Ну и голова у меня на плечах – прямо рыба голова, – если мне нужно напоминать об этом! – продолжал мистер Джарндис. – Да вся эта история с начала и до конца показывает, что он ребенок. Только ребенок мог выбрать *вас* двоих и впутать в это дело! Только ребенок мог предположить, что у *вас* есть деньги! Задолжай он целую тысячу фунтов, произошло бы то же самое! – говорил мистер Джарндис, и лицо его пылало.

Мы все согласились с ним, наученные своим давешним опытом.

– Ну конечно, конечно! – говорил мистер Джарндис. – И все-таки, Рик, Эстер, и вы тоже, Ада, – ведь я не знаю, чего доброго, вашему маленькому кошельку тоже угрожает неопытность мистера Скимпола, – вы все должны обещать мне, что ничего такого больше не повторится! Никаких ссуд! Ни гроша!

Все мы торжественно обещали это, причем Ричард лукаво покосился на меня и хлопнул себя по карману, как бы напоминая, что кому-кому, а нам с ним теперь уж не грозит опасность нарушить свое слово.

– Что касается Скимпола, – сказал мистер Джарндис, – то поселите его в удобном кукольном домике, кормите его повкуснее да подарите ему несколько оловянных человечков, чтобы он мог брать у них деньги взаймы и залезать в долги, и этот ребенок будет вполне доволен своей жизнью. Сейчас он, наверное, уже спит сном младенца, так не пора ли и мне склонить свою более трезвую голову на свою более жесткую подушку. Спокойной ночи, дорогие, господь с вами!

Но не успели мы зажечь свои свечи, как он снова заглянул в комнату и сказал с улыбкой:

– Да! я ходил взглянуть на флюгер. Тревога-то оказалась ложной... насчет ветра. Дует с юга!

И он ушел, тихонько напевая что-то.

Поднявшись к себе, мы с Адой немножко поболтали, и обе сошлись на том, что все эти причуды с ветром – просто выдумка, которой мистер Джарндис прикрывается, когда не может скрыть своей горечи, но не хочет порицать того, в ком разочаровался, и вообще осуждать или обвинять кого-нибудь. Мы решили, что это очень показательно для его необычайного душевного благородства и что он совсем непохож на тех раздражительных ворчунов, которые обрушиваются на непогоду и ветер (особенно – злополучный ветер, избранный мистером Джарндисом для другой цели) и валят на них вину за свою желчность и хандру.

Нечего и говорить, что я всегда была благодарна мистеру Джарндису, но за один этот вечер я так его полюбила, что как будто уже начала его понимать; и помогли мне в этом благодарность и любовь, слившиеся в одно чувство. Пожалуй, трудно было ожидать, что я смогу примирить кажущиеся противоречия в характерах мистера Скимпола или миссис Джеллиби, – так мал был мой опыт, так плохо я знала жизнь. Впрочем, я и не пыталась их примирить, потому что, оставшись одна, принялась размышлять об Аде и Ричарде и о том касавшемся их признании, которое, казалось, сделал мне мистер Джарндис. К тому же моя фантазия, немного взбудораженная, должно быть, ветром, не могла не обратиться на меня, хоть и против моей воли. Она устремилась назад, к дому моей крестной, потом обратно и пролетела по всему моему жизненному пути, воскрешая неясные думы, трепетавшие некогда в глубине моего существа, – думы о том, известна ли мистеру Джарндису тайна моего рождения, и даже – уж не он ли мой отец... впрочем, эта праздная мечта теперь совсем исчезла.

Да, все это исчезло, напомнила я себе, отойдя от камина. Не мне копаться в прошлом; я должна действовать, сохраняя бодрость духа и признательность в сердце. Поэтому я сказала себе:

– Эстер, Эстер, Эстер! Помни о своем долге, дорогая! – И так потрянула корзиночкой с ключами, что они зазвенели, как колокольчики, окрыляя меня надеждой, и под их ободряющий звон я спокойно легла спать.

Глава VII

Дорожка призрака

Спит ли Эстер, проснулась ли, а в линкольнширской усадьбе все та же ненастная погода. День и ночь дождь беспрерывно моросит – кап-кап-кап – на каменные плиты широкой дорожки, которая пролегает по террасе и называется «Дорожкой призрака». Погода в Линкольншире так плоха, что, даже обладая очень живым воображением, невозможно представить себе, чтобы она когда-нибудь снова стала хорошей. Да и кому тут обладать избытком живого воображения, если сэр Лестер сейчас не живет в своем поместье (хотя, сказать правду, живи он здесь, воображения бы не прибавилось), но вместе с миледи пребывает в Париже, и темно-крылое одиночество нависло над Чесни-Уолдом.

Впрочем, кое-какие проблески фантазии, быть может, и свойственны в Чесни-Уолде представителям низшего животного мира. Быть может, кони в конюшне – длинной конюшне, расположенной в пустом, окруженном красной кирпичной оградой дворе, где на башенке висит большой колокол и находятся часы с огромным циферблатом, на который, словно справляясь о времени, то и дело посматривают голуби, что гнездятся поблизости и привыкли садиться на его стрелки, – быть может, кони иногда и рисуют себе мысленно картины погожих дней, и, может статься, они более искусные художники, чем их конюхи. Старик чалый, который столь прославился своим умением скакать без дорог – прямо по полям, – теперь косится большим глазом на забранное решеткой окно близ кормушки и, быть может, вспоминает, как в иную пору там, за стеной конюшни, поблескивала молодая зелень, а внутрь потоком лились сладостные запахи; быть может, даже воображает, что снова мчится вдаль с охотничьими собаками, в то время как конюх, который сейчас чистит соседнее стойло, ни о чем не думает – разве только о своих вилах и березовой метле. Серый, который стоит прямо против входа, нетерпеливо побрякивая недоуздом, и настораживает уши, уныло поворачивая голову к двери, когда она открывается и вошедший говорит: «Ну, Серый, стой смирно! Никому ты сегодня не нужен!» – Серый, быть может, не хуже человека знает, что он сейчас действительно не нужен никому. Шестерка лошадей, которая помещается в одном стойле, на первый взгляд кажется угрюмой и необщительной, но, быть может, она только и ждет, чтобы закрылись двери, а когда они закроются, будет проводить долгие дождливые часы в беседе, более оживленной, чем разговоры в людской или в харчевне «Герб Дедлоков»; быть может, даже будет коротать время, воспитывая (а то и развращая) пони, что стоит за решетчатой загородкой в углу. Так и дворовый пес, который дремлет в своей конуре, положив огромную голову на лапы, быть может, вспоминает о жарких, солнечных днях, когда тени конюшенных строений, то и дело меняясь, выводят его из терпения, пока наконец не загонят в узкую тень его собственной конуры, где он сидит на задних лапах и, тяжело дыша, отрывисто ворчит, стремясь грызть не только свои лапы и цепь, но и еще что-нибудь. А может быть, просыпаясь и мигая со сна, он настолько отчетливо вспоминает дом, полный гостей, каретный сарай, полный экипажей, конюшню, полную лошадей, службы, полные кучеров и конюхов, что начинает сомневаться, – постой, уж нет ли всего этого на самом деле? – и вылезает, чтобы проверить себя. Затем, нетерпеливо отряхнувшись, он, быть может, ворчит себе под нос: «Все дождь, и дождь, и дождь! Вечно дождь... а хозяев нет!» – снова залезает в конуру и укладывается, позевывая от неизбывной скуки.

Так и собаки на псарне, за парком, – те тоже иногда беспокоятся, и если ветер дует очень уж упорно, их жалобный вой слышен даже в доме – и наверху, и внизу, и в покоях миледи. Собаки эти в своем воображении, быть может, бегают по всей округе, хотя на самом деле они лежат неподвижно и только слушают стук дождевых капель. Так и кролики с предательскими хвостиками, снующие из норы в нору между корнями деревьев, быть может, оживляются вос-

поминаниями о тех днях, когда теплый ветер трепал им уши, или о той чудесной поре года, когда можно жевать сладкие молодые побеги. Индейка на птичнике, вечно расстроенная какой-то своей наследственной обидой (должно быть, тем, что индеек режут к Рождеству), вероятно, вспоминает о том летнем утре, когда она вышла на тропинку между срубленными деревьями, а там оказался амбар с ячменем, и думает – как это несправедливо, что то утро прошло. Недовольный гусь, который вперевалку проходит под старыми воротами, нагнув шею, хотя они высотой с дом, быть может, гогочет – только мы его не понимаем, – что отдает свое неустойчивое предпочтение такой погоде, когда эти ворота отбрасывают тень на землю.

Но как бы там ни было, фантазия не очень-то разыгрывается в Чесни-Уолде. Если случайно и прозвучит ее слабый голос, он потом долго отдается тихим эхом в гулком старом доме и обычно порождает сказки о привидениях и таинственные истории.

Дождь в Линкольншире лил так упорно, лил так долго, что миссис Раунсуэлл – старая домоправительница в Чесни-Уолде – уже не раз снимала очки и протираала их, желая убедиться, что она не обманывается и дождевые капли действительно текут не по их стеклам, а по оконным. Миссис Раунсуэлл могла бы не сомневаться в этом, если бы слышала, как громко шумит дождь; но она глуховата, в чем никто не может ее убедить. Почтенная старушка, красивая, представительная, безукоризненно опрятная, она держится так прямо и носит корсаж с таким прямым и длинным мысом спереди, что никто из ее знакомых не удивился бы, если бы после ее смерти оказалось, что корсетом ей служила широкая старомодная каминная решетка. Миссис Раунсуэлл почти не обращает внимания на погоду. Ведь дом, которым она «правит», стоит на месте во всякую погоду, а, по ее же собственным словам, «на что ей и смотреть, как не на дом?». Она сидит у себя в комнате (а комнатой ей служит боковой коридорчик в нижнем этаже с полукруглым окном и видом на гладкую четырехугольную площадку, украшенную гладко подстриженными деревьями с шарообразными кронами и гладко обтесанными каменными шарами, которые стоят на одинаковых расстояниях друг от друга, так что можно подумать, будто деревья затеяли игру в шары), – она сидит у себя, но ни на минуту не забывает обо всем доме. Она может открыть его, если нужно, и может тогда возиться и хлопотать в нем; но сейчас он заперт и величаво покоится во сне на широкой, окованной железом груди миссис Раунсуэлл.

Очень трудно представить себе Чесни-Уолд без миссис Раунсуэлл, хотя живет она в нем только пятьдесят лет. Спросите ее в этот дождливый день, как долго она здесь живет, и она ответит: «Будет пятьдесят лет и три с половиной месяца, если, бог даст, доживу до вторника». Мистер Раунсуэлл умер незадолго до того, как вышли из моды очаровательные парики с косами, и смиренно схоронил свою косичку (если только взял ее с собой) в углу кладбища, расположенного в парке, возле заплесневелой церковной паперти. Он родился в соседнем городке, и там же родилась его жена; а овдовела она в молодых летах. Карьера ее в доме Дедлоков началась со службы в кладовой еще при покойном отце сэра Лестера.

Ныне здравствующий баронет, старший в роде Дедлоков, – безупречный хозяин. Он считает, что вся его челядь совершенно лишена индивидуальных характеров, стремлений, взглядов, и убежден, что они ей и не нужны, так как сам он создан для того, чтобы возместить ей все это своей собственной персоной. Случись ему узнать, что дело обстоит как раз наоборот, он был бы просто ошеломлен и, вероятно, никогда бы не пришел в себя – разве только затем, чтобы глотнуть воздуха и умереть. Но тем не менее он ведет себя как безупречный хозяин, полагая, что к этому его обязывает высокое положение в обществе. Он очень ценит миссис Раунсуэлл. Говорит, что она достойна всяческого уважения и доверия. Неизменно пожимает ей руку и по приезде в Чесни-Уолд, и перед отъездом, и если б ему случилось занемочь тяжелой болезнью, или свалиться с лошади, или попасть под колеса, или вообще очутиться в положении, не подобающем Дедлоку, он сказал бы, будь он в силах говорить: «Уйдите прочь и позовите миссис Раунсуэлл!» – ибо он знает, что в критических случаях никто не сумеет так поддержать его достоинство, как она.

Миссис Раунсуэлл хлебнула горя на своем веку. У нее было два сына, и младший, как говорится, сбился с пути – завербовался в солдаты, да так и пропал без вести. До нынешнего дня руки миссис Раунсуэлл, обычно спокойно сложенные на мыске корсажа, поднимаются и судорожно трепещут, когда она рассказывает, какой он был славный мальчик, какой красивый мальчик, какой веселый, добрый и умный мальчик! Ее старший сын мог бы хорошо устроить свою жизнь в Чесни-Уолде и со временем получить здесь место управляющего, но он еще в школьные годы увлекался изготовлением паровых машин из кастрюль и обучал певчих птиц накачивать для себя воду с минимальной затратой сил, причем изобрел им в помощь такое хитроумное приспособление типа насоса, что жаждущей канарейке оставалось только «приналечь плечом на колесо» – в буквальном смысле слова, – и вода текла. Подобные наклонности причиняли большое беспокойство миссис Раунсуэлл. Обуреваемая материнской тревогой, она опасалась, как бы сын ее не пошел «по дорожке Уота Тайлера», ибо отлично знала, что сэр Лестер пророчит эту «дорожку» всем тем, кто одарен способностями к ремеслам, неразрывно связанным с дымом и высокими трубами. Но обреченный молодой мятежник (в общем – кроткий, хотя и очень упорный юноша), подрастая, не только не проявлял раскаяния, но в довершение всего соорудил модель механического ткацкого станка, и тогда матушке его волей-неволей пришлось пойти к баронету и, заливаясь слезами, доложить ему об отступничестве сына.

– Миссис Раунсуэлл, как вам известно, я никогда ни с кем не спорю ни на какие темы, – изрек тогда сэр Лестер. – Вам надо сбыть с рук своего сына; вам надо устроить его на какой-нибудь завод. Железные месторождения где-то там на севере, по-моему, самое подходящее место для подростка с подобными наклонностями.

И вот на север подросток отбыл, на севере вырос, и если сэр Лестер замечал его, когда тот приезжал в Чесни-Уолд навестить свою мать, или вспоминал о нем впоследствии, то, несомненно, видел в нем одного из тех нескольких тысяч темнолицых и угрюмых заговорщиков, которые привыкли шататься при свете факелов две-три ночи в неделю и всегда – с противозаконными намерениями.

Тем не менее сын миссис Раунсуэлл рос и развивался и по законам природы, и под воздействием воспитания; он устроил свою жизнь, женился и произвел на свет внука миссис Раунсуэлл, а тот, кончив ученье и вернувшись на родину из путешествия по дальним странам, куда его посылали, чтобы он пополнил свои знания и завершил подготовку к жизненному пути, – тот стоит теперь, в этот самый день, прислонившись к камину, в комнате миссис Раунсуэлл в Чесни-Уолде.

– Еще и еще раз скажу – я рада видеть тебя, Уот! И опять скажу, Уот, что рада тебя видеть! – говорит миссис Раунсуэлл. – Ты очень хороший мальчик. Ты похож на своего бедного дядю Джорджа. Ах! – И при этом воспоминании руки миссис Раунсуэлл, как всегда, начинают дрожать.

– Говорят, бабушка, я похож на отца.

– На него тоже, милый мой, но ты больше похож на бедного дядю Джорджа! А как твой дорогой отец? – Миссис Раунсуэлл снова складывает руки. – Он здоров?

– Живет хорошо, бабушка, – лучше некуда.

– Слава богу!

Миссис Раунсуэлл любит старшего сына, но осуждает его примерно так же, как осудила бы очень храброго солдата, перешедшего на сторону врага.

– Он вполне доволен своей жизнью? – спрашивает она.

– Вполне.

– Слава богу! Значит, он обучил тебя своему ремеслу и послал за границу и все такое? Ну что ж, ему лучше знать. Может, вокруг Чесни-Уолда творится много такого, чего я не понимаю. А ведь я уж немолода. И кто-кто, а я повидала немало людей из высшего общества!

– Бабушка, – говорит юноша, меняя разговор, – а кто эта хорошенькая девушка, которую я застал здесь у вас? Кажется, ее зовут Розой?

– Да, милый. Она дочь одной вдовы из нашей деревни. В теперешние времена так трудно обучать прислугу, что я взяла ее к себе с малых лет. Девушка толковая, и прок из нее будет. Уже неплохо научилась показывать дом посетителям. Она живет и столуется здесь, у меня.

– Может, она меня стесняется и потому ушла из комнаты?

– Должно быть, подумала, что нам надо поговорить о своих семейных делах. Она очень скромная. Что ж, это хорошее качество для молодой девушки. И редкое, – добавляет миссис Раунсуэлл, а мыс на ее корсаже выпячивается донельзя, – в прежние времена скромных девушек было больше.

Юноша наклоняет голову в знак уважения к взглядам столь опытной женщины. Миссис Раунсуэлл прислушивается.

– Кто-то приехал! – говорит она. Более острый слух ее молодого собеседника давно уже уловил стук колес. – Кому это взбрело в голову явиться в такую погоду, хотела бы я знать?

Немного погодя слышен стук в дверь.

– Войдите!

Входит темноглазая, темноволосая, застенчивая деревенская красавица, такая свежая, с таким румяным и нежным личиком, что дождевые капли, осыпавшие ее волосы, напоминают росу на только что сорванном цветке.

– Кто это приехал, Роза? – спрашивает миссис Раунсуэлл.

– Два молодых человека в двуколке, сударыня, и они хотят осмотреть дом... Ну да, так я им и сказала, позвольте вам доложить! – спешит она добавить в ответ на отрицательный жест домоправительницы. – Я вышла на крыльцо и сказала, что они приехали не в тот день и час, когда разрешается осматривать дом, но молодой человек, который был за кучера, снял шляпу, несмотря на дождь, и упросил меня передать вам эту карточку.

– Прочти, что там написано, милый Уот, – говорит домоправительница.

Роза так смущается, подавая карточку юноше, что молодые люди роняют ее и чуть не сталкиваются лбами, поднимая ее с полу. Роза смущается еще больше.

«Мистер Гаппи» – вот все, что написано на карточке.

– Гаппи! – повторяет миссис Раунсуэлл. – Мистер Гаппи! Что за чепуха; да я о нем и не слыхивала!

– С вашего позволения, он так мне и сказал! – объясняет Роза. – Но он говорит, что он и другой молодой джентльмен приехали на почтовых из Лондона вчера вечером по своим делам – на заседание судей; а оно было нынче утром где-то за десять миль отсюда, но они быстро покончили с делами и не знали, что с собою делать, да к тому же много чего наслушались про Чесни-Уолд, вот и приехали сюда в такую погоду осматривать дом. Они юристы. Он говорит, что хоть и не служит в конторе мистера Талкинхорна, но может, если потребуется, сослаться на него, потому что мистер Талкинхорн его знает.

Умолкнув, Роза спохватилась, что произнесла довольно длинную речь, и смущается еще больше.

Надо сказать, что мистер Талкинхорн – в некотором роде неотъемлемая принадлежность этого поместья; кроме того, он, как говорят, составлял завещание миссис Раунсуэлл. Старуха смягчается, разрешает, в виде особой милости, принять посетителей и отпускает Розу. Однако внук, внезапно возжаждав осмотреть дом, просит позволения присоединиться к посетителям. Бабушка, обрадованная его интересом к Чесни-Уолду, сопровождает его... хотя, надо отдать ему должное, он настоятельно просит ее не беспокоиться.

– Очень вам признателен, сударыня! – говорит в вестибюле мистер Гаппи, стаскивая с себя промокший суконный дождевик. – Мы, лондонские юристы, изволите видеть, не часто выезжаем за город, а уж если выедем, так стараемся извлечь из поездки все, что можно.

Старая домоправительница с чопорным изяществом показывает рукой на огромную лестницу. Мистер Гаппи и его спутник следуют за Розой, миссис Раунсуэлл и ее внук следуют за ними; молодой садовник шествует впереди и открывает ставни.

Как всегда бывает с людьми, которые осматривают дома, не успели мистер Гаппи и его спутник начать осмотр, как уже выбились из сил. Они задерживаются не там, где следует, разглядывают не то, что следует, не интересуются тем, чем следует, зевают во весь рот, когда открываются новые комнаты, впадают в глубокое уныние и явно изнемогают. Перейдя из одной комнаты в другую, миссис Раунсуэлл, прямая, как и сам этот дом, всякий раз присаживается в сторонке – в оконной нише или где-нибудь в уголке – и с величавым одобрением слушает объяснения Розы. А внук ее, тот слушает так внимательно, что Роза смущается все больше... и все больше хорошеет. Так они переходят из комнаты в комнату, то ненадолго воскрешая портреты Дедлоков, когда молодой садовник впускает в дом дневной свет, то погружая их в могильную тьму, когда садовник вновь преграждает ему путь. Удрученный мистер Гаппи и его безутешный спутник конца не видят этим Дедлокам, чья знатность, по-видимому, зиждется лишь на том, что они и за семьсот лет ровно ничем не сумели отличиться.

Продолговатая гостиная Чесни-Уолда и та не может оживить мистера Гаппи. Он так изнемог, что обмяк на ее пороге и насилу собрался с духом, чтобы войти. Но вдруг портрет над камином, написанный модным современным художником, поражает его, как чудо. Мистер Гаппи мгновенно приходит в себя. Он во все глаза смотрит на портрет с живейшим интересом; он как будто прикован к месту, заворочен.

– Ну и ну! – восклицает мистер Гаппи. – Кто это?

– Портрет над камином, – объясняет Роза, – написан с ныне здравствующей леди Дедлок. По общему мнению, художник добился разительного сходства, и все считают, что это его лучшее произведение.

– Черт меня побери, если я ее когда-нибудь видел! – говорит мистер Гаппи, в замешательстве глядя на своего спутника. – Однако я ее узнаю. С этого портрета была сделана гравюра, мисс?

– Нет, его никто не гравировал. У сэра Лестера не раз просили разрешения сделать гравюру, но он неизменно отказывал

– Вот как! – негромко говорит мистер Гаппи. – Провалиться мне, если я не знаю ее портрета как свои пять пальцев, хоть это и очень странно! Так, значит, это леди Дедлок?

– Направо портрет ныне здравствующего сэра Лестера Дедлока. Налево портрет его отца, покойного сэра Лестера.

Мистер Гаппи не обращает никакого внимания на обоих этих вельмож.

– Понять не могу, – говорит он, не отрывая глаз от портрета, – почему я так хорошо его знаю! Будь я проклят, – добавляет мистер Гаппи, оглядываясь вокруг, – если этот портрет не привиделся мне во сне!

Никто из присутствующих не проявляет особого интереса к снам мистера Гаппи, так что возможность эту не обсуждают. Сам мистер Гаппи по-прежнему стоит как вкопанный перед портретом, так глубоко погружившись в созерцание, что не двигается с места, пока молодой садовник не закрывает ставен; а тогда мистер Гаппи выходит из гостиной в состоянии оцепенения, которое служит хоть и своеобразной, но достаточной заменой интереса, и плетется по анфиладе комнат, растерянно выпучив глаза и словно повсюду ища леди Дедлок.

Но он больше нигде ее не видит. Он видит ее покои, куда всю компанию ведут напоследок, так как они очень красиво обставлены; он глядит в окна, как и миледи недавно глядела на дождь, смертельно ей надоевший. Но всему приходит конец – даже осмотру домов, ради которых люди тратят столько сил, добиваясь разрешения их осмотреть, и в которых скучают, едва начав их осматривать. Мистер Гаппи наконец кончил осмотр, а свежая деревенская красавица – свои объяснения, которые она неизменно завершает следующими словами:

– Терраса там, внизу, вызывает всеобщее восхищение. В связи с одним древним семейным преданием ее называли «Дорожкой призрака».

– Вот как? – говорит мистер Гаппи с жадным любопытством. – А что это за предание, мисс? Может, оно имеет нечто общее с каким-нибудь портретом?

– Расскажите нам его, пожалуйста, – полупшепотом просит Уот.

– Я его не знаю, сэр. – Роза совсем смутилась.

– Посетителям его не рассказывают; оно почти забыто, – говорит домоправительница, подойдя к ним. – Это просто семейная легенда, и только.

– Простите, сударыня, если я еще раз спрошу, не связано ли предание с каким-нибудь портретом, – настаивает мистер Гаппи, – потому что, верьте не верьте, но чем больше я думаю об этом портрете, тем лучше узнаю его, хоть и не знаю, откуда я его знаю!

Предание не связано ни с каким портретом – домоправительнице это известно наверное. Мистер Гаппи признателен ей за это сообщение, да и вообще очень ей признателен. Он уходит вместе с приятелем, спускается по другой лестнице в сопровождении молодого садовника, и вскоре все слышат, как посетители уезжают.

Смеркается. Миссис Раунсуэлл не сомневается в скромности своих юных слушателей – кому-кому, а им она может рассказать, отчего здешней террасе дали такое жуткое название. Она усаживается в большое кресло у быстро темнеющего окна и начинает:

– В смутное время короля Карла Первого, милые мои, – то бишь в смутное время бунтовщиков, которые устроили заговор против этого славного короля, – Чесни-Уолдом владел сэр Морбари Дедлок. Есть ли сведения, что и раньше в роду Дедлоков был какой-нибудь призрак, я сказать не могу. Но очень возможно, что был, я так думаю.

Миссис Раунсуэлл думает так потому, что, по ее глубокому убеждению, род, столь древний и знатный, имеет право на призрак. Она считает, что обладание призраком – это одна из привилегий высшего общества, аристократическое отличие, на которое простые люди претендовать не могут.

– Нечего и говорить, – продолжает миссис Раунсуэлл, – что сэр Морбари Дедлок стоял за августейшего мученика. А его супруга, в жилах которой не текла кровь этого знатного рода, судя по всему, одобряла неправо дело. Говорят, будто у нее были родственники среди недругов короля Карла, будто она поддерживала связь с ними и доставляла им нужные сведения. И вот, когда местные дворяне, преданные его величеству, съезжались сюда, леди Дедлок, как говорят, всякий раз стояла за дверью той комнаты, где они совещались, а те и не подозревали об этом... Слышишь, Уот, будто кто-то ходит по террасе?

Роза придвигается ближе к домоправительнице.

– Я слышу, как дождь стучит по каменным плитам, – отвечает юноша, – и еще слышу какие-то странные отголоски, вроде эха... Должно быть, это и есть эхо, – очень похоже на шаги хромого.

Домоправительница важно кивает головой и продолжает:

– Частью по причине этих разногласий, частью по другим причинам сэр Морбари не ладил с женой. Она была гордая леди. Они не подошли друг к другу ни по возрасту, ни по характеру, а детей у них не было – некому было мирить супругов. Когда же ее любимый брат, молодой джентльмен, погиб на гражданской войне (а убил его близкий родственник сэра Морбари), леди Дедлок так по нем горевала, что возненавидела всю мужнину родню. И вот, бывало, соберутся Дедлоки выступить из Чесни-Уолда, чтобы сражаться за короля, а она потихоньку спустится в конюшню поздней ночью да и подрежет жилы на ногах их коням; а еще говорят, будто раз ее супруг заметил, как она крадется вниз по лестнице ночью, и пробрался за ней по пятам в денник, где стоял его любимый конь. Тут он схватил жену за руку, и то ли когда они боролись, то ли когда она упала, а может, это конь испугался и лягнул ее, но она повредила себе бедро и с тех пор стала сохнуть и тосковать.

Домоправительница понизила голос; теперь она говорила почти шепотом:

– Раньше она была хорошо сложена и осанка у нее была величавая. Однако теперь она не роптала на свое увечье; никому не говорила, что искалечена, что страдает, но день за днем все пыталась ходить по террасе, опираясь на палку и держась за каменную ограду, и все ходила, и ходила, и ходила взад и вперед, и по солнцепеку, и в тени, и с каждым днем ходить ей было все труднее. Но вот как-то раз под вечер ее супруг (а она с той ночи не сказала ему ни единого слова) – ее супруг стоял у большого окна на южной стороне и увидел, как она рухнула на каменные плиты. Он сбежал вниз, чтобы поднять ее, наклонился, а она оттолкнула его, глянула на него в упор холодными глазами и промолвила: «Я умру здесь – где ходила. И буду ходить тут и после смерти. Я буду ходить здесь, пока не сломится в унижении гордость вашего рода. А когда ему будет грозить беда или позор, да услышат Дедлоки мои шаги!»

Уот смотрит на Розу. В сгущающихся сумерках Роза опускает глаза, не то испуганная, не то смущенная.

– И в ту же минуту она скончалась. С тех-то пор, – продолжает миссис Раунсуэлл, – террасу и прозвали «Дорожкой призрака». Если шум шагов – просто эхо, так это такое эхо, которое слышно только в ночной темноте, и бывает, что его очень долго не слышно вовсе. Но время от времени оно слышится вновь, и это случается всякий раз, как Дедлокам грозит болезнь или смерть.

– Или позор, бабушка... – говорит Уот.

– Позор не может грозить Чесни-Уолду, – останавливает его домоправительница.

Внук просит извинения, бормоча: «Разумеется, разумеется!»

– Вот о чем говорит предание. Что это за звуки – неизвестно, но от них как-то тревожно на душе, – говорит миссис Раунсуэлл, вставая с кресла, – и, что особенно интересно, их нельзя не слышать. Миледи ничего не боится, но и она признает, что, когда они звучат, их нельзя не слышать. Их невозможно заглушить. Оглянись, Уот, сзади тебя стоят высокие французские часы (их нарочно поставили там), и когда их заведут, они тикают очень громко, а бой у них с музыкой. Ты умеешь обращаться с такими часами?

– Как не уметь, бабушка!

– Так заведи их.

Уот заводит часы и бой с музыкой тоже.

– Теперь подойди-ка сюда, – говорит домоправительница, – сюда, милый, поближе к изголовью миледи. Сейчас, пожалуй, еще недостаточно темно, но все-таки прислушайся! Слышишь шум шагов на террасе, несмотря на музыку и тиканье?

– Конечно, слышу!

– Вот и миледи говорит, что слышит.

Глава VIII

Как покрывают множество грехов

Как интересно мне было, встав до зари и принявшись за свой туалет, увидеть в окне, – в темных стеклах которого мои свечи отражались, словно огни двух маяков, – что мир там, за этими стеклами, еще окутан мглой уходящей ночи, а потом, с наступлением утра, наблюдать за его появлением на свет. По мере того как вид, открывавшийся из окна, постепенно становился все более отчетливым и передо мной вставали просторы, над которыми ветер блуждал во мраке, как в памяти моей блуждали мысли о моем прошлом, я с удовольствием обнаруживала незнакомые предметы, окружавшие меня во сне. Сначала их едва можно было различить в тумане, и утренние звезды еще мерцали над ними. Когда же бледный сумрак рассеялся, картина стала развертываться и заполняться так быстро и каждый мой взгляд открывал в ней так много нового, что я могла бы рассматривать ее целый час. Мало-помалу совсем рассвело, и свечи стали казаться мне чем-то лишним, ненужным, а все темные углы в моей комнате стали светлыми, и яркое солнце озарило приветливые поля и луга, над которыми древняя церковь аббатства с массивной колокольной возвышалась, отбрасывая на землю полосу тени, менее густой, чем этого можно было ожидать от такого мрачного с виду здания. Но грубоватая внешность бывает обманчива (кто-кто, а я это, к счастью, уже знала), и нередко за нею скрываются нежность и ласка.

В доме все было в таком порядке, а все его обитатели так внимательно относились ко мне, что обе мои связки ключей ничуть меня не тяготили, но это все-таки очень трудно – запоминать содержимое каждого ящика и шкафа во всех кладовых и чуланах, отмечать на грифельной доске количество банок с вареньем, маринадами и соленьями, бутылок, хрусталя, фарфора и множества всяких других вещей, особенно если ты молода и глупа и к тому же одержима методичностью старой деви; поэтому не успела я оглянуться, как услышала звон колокола, – просто не верилось, что уже подошло время завтракать. Однако я немедленно побежала готовить чай, ибо мне уже поручили распоряжаться чаепитием; но все в доме, должно быть, заспались, – внизу никого еще не было, – и я решила заглянуть в сад, чтобы познакомиться и с ним. Сад привел меня в полный восторг: к дому тянулась красивая широкая аллея, по которой мы приехали (и где, кстати сказать, до того разворошили колесами гравий, что я попросила садовника пригладить его катком), а позади дома был разбит цветник, и, перейдя туда, я увидела, что за окном появилась моя милая подружка и, распахнув его, так улыбнулась мне, как будто ей хотелось послать мне воздушный поцелуй. За цветником начинался огород, за ним была лужайка, дальше маленький укромный выгон со стогами сена и, наконец, прелестный дворик небольшой фермы. А дом, уютный, удобный, приветливый, с тремя шпилями на крыше, с окнами разной формы – где очень маленькими, а где очень большими, но всюду очень красивыми, со шпалерами для роз и жимолости на южном фасаде, – этот дом был «достойн кузена Джона», как сказала Ада, которая вышла мне навстречу под руку с хозяином и безбоязненно проговорила эти слова, но не понесла наказания – «кузен Джон» только ущипнул ее нежную щечку.

За завтраком мистер Скимпол разглагольствовал не менее занимательно, чем вчера вечером. К столу подали мед, и это побудило мистера Скимпола завести разговор о пчелах. Он ничего не имеет против меда, говорил он (и я в этом не сомневалась, – мед он кушал с явным удовольствием), но протестует против самонадеянных притязаний пчел. Он не постигает, почему трудолюбивая пчела должна служить ему примером; он думает, что пчеле нравится делать мед, иначе она бы его не делала – ведь никто ее об этом не просит. Пчеле не следует ставить себе в заслугу свои пристрастия. Если бы каждый кондитер носился по миру, жужжа и стучаясь обо все, что попадает на дороге, и самовлюбленно призывал всех и каж-

дого заметить, что он летит на работу и ему нельзя мешать, мир стал бы совершенно несносным местом. И потом, разве не смешно, что, как только вы обзавелись своим домком, вас из него выкуривают серой? Вы были бы невысокого мнения, скажем, о каком-нибудь манчестерском фабриканте, если бы он прятал хлопок только ради этого. Мистер Скимпол должен сказать, что считает трутня выразителем более приятной и мудрой идеи. Трутень говорит просто: «Простите, но я, право же, не в силах заниматься делом. Я живу в мире, где есть на что посмотреть, а времени на это мало, и вот я позволяю себе наблюдать за тем, что делается вокруг меня, и прошу, чтобы меня содержал тот, у кого нет никакого желания наблюдать за тем, что делается вокруг него». Он, мистер Скимпол, полагает, что такова философия трутня, и находит ее очень хорошей философией, конечно, лишь при том условии, если трутень готов жить в ладу с пчелой, а насколько ему, мистеру Скимполу, известно, этот покладистый малый действительно готов жить с нею в ладу – только бы самонадеянное насекомое не противилось и поменьше кичилось своим медом! Он продолжал развивать эти фантастические теории с величайшей легкостью и в самых разнообразных вариантах и очень смешил всех нас, но сегодня он, по-видимому, говорил серьезно, насколько вообще мог быть серьезным. Все слушали его, а я ушла заниматься новыми для меня хозяйственными делами. Это отняло у меня некоторое время, а когда я на обратном пути проходила по коридору, захватив свою корзиночку с ключами, мистер Джарндис окликнул меня и попросил пройти с ним в небольшую комнату, которая примыкала к его спальне и казалась не то маленькой библиотекой, набитой книгами и бумагами, не то маленьким музеем сапог, башмаков и шляпных коробок.

– Присаживайтесь, дорогая, – сказал мистер Джарндис. – Эта комната, к вашему сведению, называется Брюзжалней. Когда я не в духе, я удаляюсь сюда и брюзжу.

– Значит, вы бываете здесь очень редко, сэр, – сказала я.

– Э, вы меня не знаете! – возразил он. – Всякий раз, как меня обманет или разочарует... ветер, да еще если он восточный, я укрываюсь здесь. Брюзжалня – моя самая любимая комната во всем доме, – тут я сижу чаще всего. Вы еще не знаете всех моих причуд. Дорогая моя, почему вы так дрожите?

Я не могла удержаться. Старалась изо всех сил, но – сидеть наедине с ним, таким добрым, смотреть в его ласковые глаза, испытывать такое счастье, такую гордость оказанной тебе честью, чувствовать, что сердце твое так полно, и не...

Я поцеловала ему руку. Не помню, что именно я сказала, да и сказала ли что-нибудь вообще. Смущенный, он отошел к окну, а я готова была подумать, что он сейчас выпрыгнет вон; но вот он обернулся, и я успокоилась, увидев в его глазах то, что он хотел скрыть, отойдя от меня. Он ласково погладил меня по голове, и я села.

– Полно, полно! – промолвил он. – Все прошло. Уф! Не делайте глупостей.

– Этого больше не повторится, сэр, – отозвалась я, – но вначале трудно...

– Пустяки! – перебил он меня. – Легко, совсем легко. Да и о чем говорить? Я слышу, что одна хорошая девочка осиротела, осталась без покровителя, и я решаю стать ее покровителем. Она вырастает и с избытком оправдывает мое доверие, а я остаюсь ее опекуном и другом. Что в этом особенного? Ну, вот! Теперь мы свели старые счета, и «вновь предо мною милое лицо доверие и верность обещает».

Тут я сказала себе: «Слушай, Эстер, ты меня удивляешь, дорогая моя! Не этого я от тебя ожидала!» – и это так хорошо на меня подействовало, что я сложила руки на своей корзиночке и вполне овладела собой. Мистер Джарндис одобрительно посмотрел на меня и стал говорить со мной совершенно откровенно, – словно я давным-давно привыкла беседовать с ним каждое утро. Да мне казалось, что так оно и было.

– Вы, Эстер, конечно, ничего не понимаете в нашей канцлерской тяжбе? – сказал он.

И я, конечно, покачала головой.

– Не знаю, есть ли на свете такой человек, который в ней хоть что-нибудь понимает, – продолжал он. – Судейские ухитрились так ее запутать, превратить ее в такую чертовщину, что если вначале она имела какой-то смысл, то теперь его давно уже нет. Спор в этой тяжбе идет об одном завещании и праве распоряжаться наследством, оставленным по этому завещанию... точнее, так было когда-то. Но теперь спор идет только о судебных пошлинах. Мы, тяжущиеся, то и дело появляемся и удаляемся, присягаем и запрашиваем, представляем свои документы и оспариваем чужие, аргументируем, прикладываем печати, вносим предложения, ссылаемся на разные обстоятельства, докладываем, крутимся вокруг лорд-канцлера и всех его приспешников и, на основании закона, допляшемся до того, что и мы сами и все у нас пойдет прахом... из-за судебных пошлин. В них-то и весь вопрос. Все прочее каким-то непонятным образом улетучилось.

– Но вначале, сэр, спор шел о завещании? – попыталась я вернуть его к теме разговора, потому что он уже начал ерошить себе волосы.

– Ну да, конечно, о завещании, – ответил он. – Некий Джарндис нажил огромное богатство и однажды в недобрый час оставил огромное путаное завещание. Возник вопрос – как распорядиться завещанным имуществом, и вот на разрешение этого вопроса растрачивается все наследство; наследников так измучили, что, если бы стать наследником было все равно что стать величайшим преступником, эти мучения послужили бы для них достаточной карой; а само завещание свелось к мертвой букве. С самого начала этой злополучной тяжбы все обстоятельства дела, о которых уже осведомлены все тяжущиеся, кроме одного, докладываются для ознакомления тому единственному, который о них еще не осведомлен; с самого начала этой злополучной тяжбы каждый тяжущийся вновь и вновь получает копии всех документов, которыми она обрастает (или не получает, как обычно и наблюдается, потому что никому эти копии не нужны, но тем не менее платит за них), а это целые возы бумаги; все вновь и вновь возвращается каждый тяжущийся к исходной точке в обстановке такой дьявольской свистопляски судебных издержек, пошлин, бессмыслицы и лихоимства, какая никому и не снилась, даже в самых диких видениях шабаша ведьм. Суд справедливости запрашивает Суд общего права; Суд общего права, вместо ответа, запрашивает Суд справедливости; Суд общего права находит, что он не вправе поступить так; Суд справедливости находит, что по справедливости он не может поступить этак; причем ни тот, ни другой не решаются даже сознаться, что они бессильны что-нибудь сделать без того, чтобы этот поверенный не давал советов и этот адвокат не выступал от имени А, а тот поверенный не давал советов и тот адвокат не выступал от имени Б, и так далее вплоть до конца всей азбуки, как в детских стишках про «Яблочный пирог». И так вот все это и тянется из года в год, из поколения в поколение, то и дело начинаясь сызнова и никогда не кончаясь. И мы, тяжущиеся, никоим образом не можем избавиться от тяжбы, ибо нас сделали «сторонами в судебном деле», и мы вынуждены оставаться «сторонами», хотим мы или не хотим. Впрочем, лучше об этом не думать. Когда мой двоюродный дед, несчастный Том Джарндис, стал об этом думать, это было началом его конца!

– Тот самый мистер Джарндис, сэр, о котором я слышала?

Он хмуро кивнул.

– Я его наследник, Эстер, и это был его дом. Когда я здесь поселился, он и в самом деле был холодным. Хозяин оставил в нем следы своих несчастий.

– Но как этот дом изменился теперь! – сказала я.

– В старину он назывался «Шпили». Том Джарндис дал ему теперешнее название и жил здесь взаперти – день и ночь корпел над кипами проклятых бумаг, приобщенных к тяжбе, тщетно надеясь распутать ее и привести к концу. Между тем дом обветшал, ветер, свистя, дул сквозь трещины в стенах, дождь лил сквозь дырявую кровлю, разросшиеся сорняки мешали подойти к полусгнившей двери. Когда я привез сюда домой останки покойного, мне почудилось, будто дом тоже пустил себе пулю в лоб – так он был запущен и разрушен.

Последние слова он произнес с дрожью в голосе, обращаясь словно не ко мне, а к себе самому, и прошелся раза два-три взад и вперед по комнате, потом взглянул на меня, повеселел и, подойдя ко мне, снова уселся, засунув руки в карманы.

– Вот видите, дорогая, – я же говорил вам, что эта комната – моя Брюзжальня. Так на чем я остановился?

Я напомнила ему о тех улучшениях, которые он здесь сделал, – ведь они совершенно преобразили Холодный дом.

– Да, верно, я говорил о Холодном доме. В Лондоне у нас есть недвижимое имущество, очень похожее теперь на Холодный дом, каким он был в те времена. Когда я говорю, «наше имущество», я подразумеваю имущество, принадлежащее Тяжбе, но мне следовало бы сказать, что оно принадлежит Судебным пошлинам, так как Судебные пошлины – это единственная в мире сила, способная извлечь из него хоть какую-нибудь пользу, а людям оно только оскорбляет зрение и ранит сердце. Это улица гибнущих слепых домов, глаза которых выбиты камнями, – улица, где окна – без единого стекла, без единой оконной рамы, а голые ободранные ставни срываются с петель и падают, разлетаясь на части; где железные перила изъедены пятнами ржавчины, а дымовые трубы провалились внутрь; где зеленая плесень покрыла камни каждого порога (а каждый порог может стать Порогом смерти), – улица, где рушатся даже подпорки, которые поддерживают эти развалины. Холодный дом не судился в Канцлерском суде, зато хозяин его судился, и дом был отмечен той же печатью... Вот какие они, эти оттиски Большой печати; а ведь они испещряют всю Англию, дорогая моя; их узнают даже дети!

– Как он теперь изменился, этот дом! – сказала я опять.

– Да, – подтвердил мистер Джарндис гораздо более спокойным тоном, – и это очень умно, что вы обращаете мой взор на светлую сторону картины... (Это я-то умная!) Я никогда обо всем этом не говорю и даже не думаю, – разве только здесь, в Брюзжальне. Если вы считаете нужным рассказать про это Рику и Аде, – продолжал он, и взгляд его стал серьезным, – расскажите. На ваше усмотрение, Эстер.

– Надеюсь, сэр... – начала я.

– Называйте меня лучше опекуном, дорогая.

У меня снова захватило дыхание, но я сейчас же призвала себя к порядку: «Эстер, что с тобой? Опять!» А ведь он сказал эти слова таким тоном, словно они были не проявлением заботливой нежности, но простым капризом. Вместо предостережения самой себе я чуть-чуть тряхнула ключами и, еще более решительно сложив руки на корзиночке, спокойно взглянула на него.

– Надеюсь, опекун, – сказала я, – вы лишь немного будете оставлять на мое усмотрение. Хочу думать, что вы во мне не обманетесь. Чего доброго, вы разочаруетесь, когда убедитесь, что я не очень-то умна – а ведь это истинная правда, и вы сами об этом догадались бы, если б у меня не хватило честности признаться.

Но он как будто ничуть не был разочарован – напротив. Широко улыбаясь, он сказал, что прекрасно меня знает и для него я достаточно умна.

– Будем надеяться, что так, – сказала я, – но я в этом глубоко сомневаюсь.

– Вы достаточно умны, дорогая, – проговорил он шутливо, – чтобы сделаться нашей доброй маленькой Хозяюшкой – той старушкой, о которой поется в «Песенке младенца» (не Ским-пола, конечно, а просто младенца):

Куда ты, старушка, летишь в высоту?
«Всю паутину я с неба смету!»

Вы займетесь нашим домашним хозяйством, Эстер, и так тщательно очистите наше небо от паутины, что нам скоро придется покинуть Брюзжальню и гвоздями забить дверь в нее.

С этого дня меня стали называть то Старушкой, то Хлопотуньей, то Паутинкой, а не то – именами разных персонажей из детских сказок и песен – миссис Шиптон, матушка Хабберд, госпожа Дарден, – и вообще надавали мне столько прозвищ, что мое настоящее имя совсем затерялось среди них.

– Однако давайте вернемся к теме нашей болтовни, – сказал мистер Джарндис. – Возьмем хоть Рика – прекрасный многообещающий юноша. Скажите, на какой путь его направить?

О господи! Да что это ему в голову пришло спрашивать моего совета в таком деле!

– Так вот, Эстер, – продолжал мистер Джарндис, непринужденно засунув руки в карманы и вытянув ноги. – Ему надо подготовиться к какой-нибудь профессии, и он должен сам ее выбрать. Конечно, тут, наверное, не обойтись без целой кучи «парикатуры», но это нужно сделать.

– Целой кучи чего, опекун?

– Парикатуры, – объяснил он. – Это для нее самое меткое название. Ведь Рик состоит под опекой Канцлерского суда, дорогая моя. Кендж и Карбой пожелают высказать свое мнение; мистер Такой-то – какой-нибудь нелепый могильщик, роющий могилы для правосудия в задней комнатке где-нибудь в конце переулочка Куолити-Корт, что выходит на Канцлерскую улицу, пожелает высказать свое мнение; адвокат пожелает высказать свое мнение; канцлер пожелает высказать свое мнение; его приспешники пожелают высказать свое мнение; всех их вкуче придется по этому случаю хорошенько подкормить; вся эта история повлечет за собой бесконечные церемонии и словоизвержение, никого не удовлетворит, будет стоить уйму денег, и все это в целом я называю парикатурой. Не знаю, как случилось, что человечество занемогло этой самой парикатурой, и за чьи грехи наши молодые люди попали в подобную яму, но это так!

Он снова принялся ерошить себе волосы, твердя, что на него действует ветер. Но мне было приятно, что ко мне он относится благожелательно – ведь когда он ерошил волосы, или шагал взад и вперед, или делал то и другое одновременно, стоило ему посмотреть на меня, как он успокаивался, светлел и, снова усевшись поудобнее, засовывал руки в карманы и вытягивал ноги.

– Не лучше ли прежде всего спросить самого мистера Ричарда, к чему именно его влечет? – сказала я.

– Правильно, – отозвался он. – Я и сам так думаю! А знаете что – попробуйте-ка со свойственным вам тактом и непритязательностью почаще говорить об этом с ним и с Адой, и посмотрим, на чем вы все сойдетесь. При вашем посредстве мы, наверное, достигнем цели, Хозяюшка.

Я не на шутку испугалась мысли о том, какое большое значение начинаю приобретать и как много мне доверено. Я вовсе этого не хотела; я просто собиралась сказать, что с Ричардом следует поговорить ему самому. Но сейчас я, конечно, не стала спорить и сказала только, что постараюсь, хоть и боюсь (я не могла не повторить этого), как бы он не вообразил меня гораздо более проницательной, чем я есть. На это опекун мой только рассмеялся самым ласковым смехом.

– Пойдемте! – сказал он, поднявшись и отодвинув кресло. – Хватит с нас Брюзжальни на сегодня! Еще одно последнее слово. Эстер, дорогая моя, не нужно ли вам спросить меня о чем-нибудь?

Он смотрел на меня так внимательно, что я, в свою очередь, внимательно посмотрела ему в глаза и почувствовала, что поняла его.

– О себе, сэр? – спросила я.

– Да.

– Опекун, – начала я, отважившись протянуть ему руку (которая внезапно похолодела больше, чем следует), – мне ни о чем не нужно вас спрашивать! Если бы мне следовало узнать или необходимо было узнать о чем-нибудь, вы бы сами мне это сказали – и просить бы вас

не пришлось. Я всецело на вас полагаюсь, я доверяю вам вполне, и, будь это иначе, у меня поистине было бы черствое сердце. Мне не о чем спрашивать вас, совершенно не о чем.

Он взял меня под руку, и мы пошли искать Аду. С этого часа я чувствовала себя с ним совсем свободно, совсем непринужденно, ничего больше не стремилась узнать и была вполне счастлива.

Первое время мы вели в Холодном доме довольно беспокойную жизнь, так как нам пришлось познакомиться с теми нашими многочисленными соседями, которые знали мистера Джарндиса. А как нам с Адой казалось, его знали все, кто устраивал какие-нибудь дела на чужие деньги. Принявшись разбирать его письма и отвечать за него на некоторые из них, что мы иногда делали по утрам в Брюзжалне, мы с удивлением поняли, что почти все его корреспонденты видят цель своей жизни в том, чтобы объединяться в комитеты для добывания и расходования денег. И тут леди действовали не менее, а пожалуй, даже еще более рьяно, чем джентльмены. Они с величайшей страстностью не вступали, но прямо-таки врывались в комитеты и с необычайным рвением собирали деньги по подписке. Нам казалось, что некоторые из них всю свою жизнь только и делают, что рассылают подписные карточки по всем адресам, напечатанным в Почтовом адрес-календаре, – карточки на шиллинг, карточки на полкроны, карточки на полсоверена, карточки на пенни. Эти дамы требовали всего на свете. Они требовали одежды, они требовали поношенного белья, они требовали денег, они требовали угля, они требовали супа, они требовали поддержки, они требовали автографов, они требовали фланели, они требовали всего, что имел мистер Джарндис... и чего он не имел. Их стремления были так же разнообразны, как их просьбы. Они стремились строить новые здания, они стремились выкупать закладные на старые здания, они стремились разместить в живописном здании (гравюра будущего западного фасада прилагалась) Общину сестер Марии, созданную по образцу средневековых братств; они стремились преподнести адрес миссис Джеллиби; они стремились заказать портрет своего секретаря и подарить его секретарской теще, чья глубокая преданность зятю пользовалась широкой известностью; они явно стремились добыть все на свете, начиная с пятисот тысяч брошюр и кончая ежегодной рентой, начиная с мраморного памятника и кончая серебряным чайником. Они присваивали себе множество титулов. Среди них были и Женщины Англии, и Дочери Британии, и Сестры всех главнейших добродетелей, каждой в отдельности, и Жены Америки, и Дамы всевозможных наименований. Они то и дело волновались по поводу разных избирательных кампаний и выборов. Нам, бедным глупышкам, казалось – впрочем, это явствовало из их собственных отчетов, – что эти дамы вечно подсчитывают голоса целыми десятками тысяч, но кандидаты их никогда не получают большинства. Прямо в голове мутилось при одной мысли о том, какую лихорадочную жизнь они, должно быть, ведут.

Среди дам, особенно энергично предающихся этой хищной благотворительности (если можно так выразиться), оказалась некая миссис Пардигл, которая, судя по количеству ее писем к мистеру Джарндису, была одержима почти столь же мощным влечением к переписке, как сама миссис Джеллиби. Мы заметили, что едва разговор заходил о миссис Пардигл, ветер обязательно менял свое направление, мешая говорить мистеру Джарндису, который неизменно умолкал, сказав, что люди, занимающиеся благотворительностью, делятся на два разряда: одни ничего не делают, но поднимают большой шум, а другие делают большое дело, но без всякого шума. Подозревая, что миссис Пардигл принадлежит к первым, мы заинтересовались ею и обрадовались, когда она как-то раз приехала к нам вместе со своими пятерыми сынками.

Эта дама грозной наружности, в очках на огромном носу и с громовым голосом, видимо, требовала большого простора. Так оно и оказалось – она опрокинула своими накрахмаленными юбками несколько стульев, хотя они стояли не так уж близко от нее. Мы с Адой были одни дома и приняли ее не без робости – нам почудилось, будто она ворвалась к нам, как врывается

выюга, и если у шедших за нею маленьких Пардиглов лица казались застывшими до синевы, то в этом была виновата их матушка.

– Разрешите, молодые леди, представить вам моих пятерых сыновей, – затараторила миссис Пардигл после первых приветствий. – Возможно, вы видели их имена (и, пожалуй, не раз) на печатных подписных листах, присланных нашему уважаемому другу мистеру Джарндису. Эгберт, мой старший сын (двенадцати лет), – это тот самый мальчик, который послал свои карманные деньги в сумме пяти шиллингов и трех пенсов индейцам Токехупо. Освальд, второй сын (десяти с половиной лет), – тот ребенок, который пожертвовал два шиллинга и девять пенсов на Памятник Великим Точильщикам нации. Фрэнсис, мой третий сын (девяти лет), дал шиллинг и шесть с половиной пенсов, а Феликс, четвертый сын (семи лет), – восемь пенсов на Перезрелых вдов; Альфред же, самый младший (пяти лет), добровольно записался в «Союз ликующих малюток» и дал зарок никогда в жизни не употреблять табака.

В жизни мы не видывали таких несчастных детей. Они были не просто изможденные и сморщенные – так что казались маленькими старичками, – но недовольство их доходило до яростного озлобления. Услышав про индейцев Токехупо, Эгберт впился в меня такими дикими и хмурыми глазами, что я легко могла бы принять его за одного из самых свирепых представителей этого племени. Надо сказать, что все пятеро детей злобно мрачнели, как только миссис Пардигл упоминала о их жертвованиях, но Эгберт был самым ожесточенным. Впрочем, слова мои не относятся к маленькому члену «Союза ликующих малюток», – этот все время выглядел одинаково тупым и несчастным.

– Насколько я знаю, – промолвила миссис Пардигл, – вы нанесли визит миссис Джеллиби?

Мы ответили, что переночевали у нее.

– Миссис Джеллиби, – продолжала наша гостья, не переставая говорить таким навязчиво выразительным, громким, резким голосом, что мне почудилось, будто голос ее тоже в очках (кстати сказать, очки отнюдь не красили миссис Пардигл, и особенно потому, что глаза у нее, по выражению Ады, «лезли на лоб», то есть были сильно навывкате), – миссис Джеллиби – благотельница общества и достойна того, чтобы ей протянули руку помощи. Мои мальчики внесли свою лепту на африканский проект: Эгберт – один шиллинг и шесть пенсов, то есть все свои карманные деньги за девять недель целиком; Освальд – один шиллинг и полтора пенса, тоже все свои карманные деньги полностью; остальные – в соответствии с их скромными доходами. Однако не все в миссис Джеллиби мне нравится. Мне не нравится, как она воспитывает своих отпрысков. В обществе это заметили. Известно, что ее отпрыски не принимают участия в той деятельности, которой она себя посвятила. Возможно, она права, возможно, не права, но права она или не права, я не так воспитываю *своих* отпрысков. Я всюду беру их с собой.

Я была убеждена (да и Ада также), что, услышав это, злонравный старший мальчик чуть было не издал пронзительного вопля. Мальчик удержался – только зевнул, – хотя первым его побуждением было завопить.

– Они ходят со мной к заутрене (в нашей церкви служат очень недурно) в половине седьмого утра, круглый год, включая, конечно, и самые холодные зимние месяцы, – трещала миссис Пардигл, – и целый день состоят при мне, в то время как я выполняю свои ежедневные обязанности. Я – леди-попечительница школ, я – леди-посетительница бедных, я – леди-чтица назидательных книг, я – леди-распределительница пособий; я – член местного Комитета бельевых пожертвований и член многих общенациональных комитетов; одна лишь моя работа по подготовке избирательных кампаний просто не поддается учету – вероятно, никто так много не работает в этой области. И меня всюду сопровождают мои отпрыски, приобретая тем самым то знание бедноты, ту способность к благотворительности вообще, словом, ту склонность к такого рода деятельности, которая в будущем поможет им приносить пользу ближним и достигнуть довольства собой. Мои отпрыски нелегкомысленны: под моим руководством они тратят все свои карманные деньги на подписки и перебивали на стольких собраниях, прослушали столько

лекций, речей и прений, сколько обычно выпадает на долю лишь очень немногим взрослым людям. Альфред (пяти лет), – как я уже говорила, он по собственному почину вступил в «Союз ликующих малюток», – Альфред был одним из тех очень немногих малышей, которые, придя на митинг, устроенный по этому случаю, не впали в забытие после пламенной двухчасовой речи председателя.

Альфред сверкнул на нас глазами так свирепо, что мы поняли – он никогда не сможет и не захочет забыть пытки, которой его подвергли в тот вечер.

– Вы, вероятно, заметили, мисс Саммерсон, – продолжала миссис Пардигл, – что на некоторых подписных листах, которые, как я уже говорила, присланы нашему уважаемому другу мистеру Джарндису, после имен моих отпрысков стоит имя О.-А. Пардигла, члена Королевского общества, подписавшегося на один фунт. Это – их отец. Мы обычно действуем одним и тем же порядком. Сначала я вношу свою лепту, потом мои отпрыски делают пожертвования в соответствии со своим возрастом и своими скромными доходами, и, наконец, мистер Пардигл замыкает шествие. Мистер Пардигл счастлив вносить свои скромные дары под моим руководством, и, таким образом, все это не только доставляет удовольствие нам, но, смеем думать, подает хороший пример другим.

Предположим, что мистеру Пардиглу довелось бы обедать с мистером Желлиби, и предположим, что после обеда мистер Желлиби излил бы свою душу мистеру Пардиглу; спрашивается: а не пожелал бы мистер Пардигл в обмен на это сделать мистеру Желлиби какое-нибудь конфиденциальное признание? Я смутилась, поймав себя на таких мыслях, но они почему-то пришли мне в голову.

– Здесь у вас очень недурная местность! – заметила миссис Пардигл.

Мы были рады переменить разговор и, подойдя к окну, обратили ее внимание на красоты открывшегося перед нами вида, но я заметила, что миссис Пардигл таращит на них свои очки с каким-то странным равнодушием.

– Вы знакомы с мистером Гашером? – спросила наша гостья.

Нам пришлось ответить, что мы не имели удовольствия познакомиться с ним.

– Тем хуже для вас, верьте мне! – безапелляционно изрекла миссис Пардигл. – Какой это пылкий, страстный оратор... сколько в нем огня! Случись ему стоять в фургоне, вот хоть на этой лужайке – ведь она по своему местоположению самой природой приспособлена для митинга, – он мог бы целыми часами ораторствовать на любую тему! А теперь, молодые леди, – продолжала миссис Пардигл, возвращаясь к своему креслу и, словно невидимой силой, опрокидывая на довольно большом от себя расстоянии круглый столик с моей рабочей корзинкой, – а теперь вы, надеюсь, меня раскусили?

Вопрос был столь ошеломляющий, что Ада взглянула на меня в полном замешательстве. А о том, как была нечиста моя совесть после всего, что я передумала о нашей гостье, говорил цвет моих щек.

– Я хочу сказать, – объяснила миссис Пардигл, – что вы раскусили, какая черта в моем характере самая выпуклая. Как мне известно, она такая выпуклая, что ее можно заметить сразу же. Я знаю, – меня нетрудно видеть насквозь. Ну что ж! Не хочу скрывать – я женщина деловая; я обожаю трудную работу; я наслаждаюсь трудной работой. Волнения приносят мне пользу. Я так привыкла к трудной работе, так втянулась в нее, что не знаю усталости.

Мы пролепетали, что это достойно удивления и восхищения или что-то в этом духе. Вряд ли мы сами хорошенько понимали, чего это в самом деле достойно, а если сказали так, то просто из вежливости.

– Я не понимаю, что значит утомиться; попробуйте утомить меня, это вам не удастся! – продолжала миссис Пардигл. – Усилия, которые я трачу (хотя для меня это не усилия), количество дел, которые я делаю (хотя для меня они ничто), порой изумляют меня самое. Мои

отпрыски и мистер Пардигл иной раз только посмотрят на меня, как уже выбиваются из сил, тогда как я поистине бодр, словно жаворонок!

Казалось бы, трудно было выглядеть более угрюмым, чем выглядел старший мальчик, однако сейчас его лицо еще больше потемнело. Я видела, как он сжал правый кулак и украдкой пырнул им в тулью своей шляпы, которую держал под мышкой.

– Это для меня большое преимущество, когда я обхожу своих бедных, – говорила миссис Пардигл. – Если я встречаю человека, который не желает меня выслушать, я заявляю напрямик: «Я не знаю, что такое усталость, милейший, я никогда не утомляюсь и намерена говорить, пока не кончу». Действует великолепно! Мисс Саммерсон, надеюсь, вы согласитесь сопровождать меня во время обходов сегодня же, а мисс Клейр – в ближайшем будущем?

Вначале я пыталась отказаться под тем предлогом, что у меня сегодня срочные дела и я не могу их бросить. Но отказ мой не возымел никакого действия, поэтому я сказала, что не уверена в своей компетентности, неопытна в искусстве приспособливаться к людям, которые живут в совсем других условиях, чем я, и обходиться с ними надлежащим образом; сказала, что не владею тем тонким знанием человеческого сердца, которое существенно необходимо для такой работы; что мне самой нужно многому научиться, прежде чем учить других, и я не могу полагаться только на свои добрые намерения. Итак, лучше мне по мере сил помогать окружающим меня людям, стараясь, чтобы этот круг постепенно и естественно расширялся. Все это я говорила очень неуверенно, так как миссис Пардигл была гораздо старше меня, обладала большим опытом, да и вела себя уж очень воинственно.

– Вы не правы, мисс Саммерсон, – возразила она, – но, может быть, вы просто не любите трудной работы или связанных с нею волнений, а это совсем другое дело. Если хотите видеть, как я работаю, извольте: я сейчас намерена – вместе со своими отпрысками – зайти тут поблизости к одному рабочему кирпичнику (пренеприятному субъекту) и охотно возьму вас с собою. И мисс Клейр тоже, если она окажет мне эту любезность.

Ада переглянулась со мной, и мы согласились, так как все равно собирались пойти погулять. Мы пошли надеть шляпы и, быстро вернувшись, увидели, что «отпрыски» томятся в углу, а их родительница носится по комнате, опрокидывая чуть ли не все легкие предметы. Миссис Пардигл завладела Адой, а я пошла сзади с отпрысками.

Ада говорила мне впоследствии, что всю дорогу до дома кирпичника миссис Пардигл говорила все тем же громовым голосом (доносившимся, впрочем, и до меня), разглагольствуя о том, какое волнующее соревнование было у нее с другой дамой два-три года назад, когда предстояло выбрать кандидатов на какую-то пенсию и каждая дама выставила своего. Общим пришлось то и дело обращаться к печати, давать обещания, кого-то уполномочивать, за кого-то голосовать, и эта суতোлка, видимо, чрезвычайно оживила всех заинтересованных лиц, кроме самих кандидатов, которые так и не получили пенсии.

Мне очень приятно, когда дети со мной откровенны, и, к счастью, мне в этом отношении обычно везет, но на этот раз я попала в чрезвычайно щекотливое положение. Как только мы вышли из дому, Эгберт, с ухватками маленького разбойника, выпросил у меня шиллинг на том основании, что у него «сперли» карманные деньги. Когда же я заметила, что употреблять такое слово в высшей степени неприлично, особенно по отношению к матери (ибо он сердито добавил: «Она сперла!»), он ущипнул меня и сказал:

– Вот еще! Подумаешь! А вы-то сами! Попробуй у вас что-нибудь спереть – *вам* это тоже будет не по нутру! Чего она притворяется, что дает мне деньги, если потом отнимает? Зачем говорить, что это *мои* карманные деньги, раз мне не позволяют их тратить?

Эти волнующие вопросы привели в такое возбуждение и его, и Освальда, и Фрэнсиса, что они все трое разом ущипнули меня, да так умело – с вывертом, что я чуть не вскрикнула. В тот же миг Феликс наступил мне на ногу. А «Ликующий малютка», обреченный обходиться не только без табака, но и без пирожных, ибо маленький его доход отбирали целиком, так

надулся от обиды и злости, когда мы проходили мимо кондитерской, что весь побагровел, и я даже испугалась. Ни разу во время прогулок с детьми не испытывала я столько телесных и душевных мук, сколько причинили мне эти неестественно сдержанные дети, оказав мне честь быть естественными со мною.

Я обрадовалась, когда мы дошли до дома кирпичника, хотя это была убогая лачуга, стоявшая у кирпичного завода среди других таких же лачуг с жалкими палисадниками, которых ничто не украшало, кроме грязных луж, и свинными закутами под самыми окнами, стекла которых были разбиты. Кое-где были выставлены старые тазы, и дождевая вода лилась в них с крыш или стекала в окруженные глиняной насыпью ямки, где застаивалась, образуя прудики, похожие на огромные торты из грязи. Перед окнами и дверьми стояли или слонялись мужчины и женщины, которые почти не обращали на нас внимания и только пересмеивались, когда мы проходили мимо, отпуская на наш счет различные замечания вроде того, что лучше бы, мол, господам заниматься своим делом, чем беспокоиться да марать башмаки, суя нос в чужие дела.

Миссис Пардигл, шествуя впереди с чрезвычайно решительным видом и без умолку разглагольствуя о неряшливости простонародья (хотя даже самые чистоплотные из нас вряд ли могли бы соблюдать чистоту в подобной трущобе), провела нас в стоявший на краю поселка домишко, и мы, войдя в каморку, – единственную на первом этаже, – чуть не заполнили в ней все свободное пространство. Кроме нас, в этой сырой отвратительной конуре было несколько человек: женщина с синяком под глазом нянчила у камина тяжело дышавшего грудного ребенка; изможденный мужчина, весь измазанный глиной и грязью, курил трубку, растянувшись на земляном полу; крепкий парень надевал ошейник на собаку; бойкая девушка стирала что-то в очень грязной воде. Когда мы вошли, все они подняли на нас глаза, а женщина повернулась лицом к огню, вероятно стыдясь своего синяка и стараясь, чтобы мы его не заметили; никто с нами не поздоровался.

– Ну-с, друзья мои! – так начала миссис Пардигл, но тон у нее был, по-моему, отнюдь не дружественный, а какой-то слишком уж деловой и педантичный. – Как вы все поживаете? Вот я и опять здесь. Я уже говорила, что меня вам не утомить, будьте спокойны. Я люблю трудную работу и как сказала, так и сделаю.

– Ну что, вы уже все тут собрались или еще кто-нибудь явится? – буркнул человек, растянувшийся на полу, и, подперев голову рукой, уставился на нас.

– Нет, милейший, – ответила миссис Пардигл, усаживаясь на один табурет и опрокидывая другой. – Мы все тут.

– А мне показалось, будто вас маловато набралось, – заметил он, не вынимая трубки из рта.

Парень и девушка расхохотались. Двое приятелей парня, заглянувшие посмотреть на нас, стояли в дверях, засунув руки в карманы, и тоже громко хохотали.

– Вам меня не утомить, добрые люди, – обратилась к ним миссис Пардигл. – Я наслаждаюсь трудной работой, и чем больше вы ее затрудняете, тем она мне больше нравится.

– Так облегчим ей работу! – гневно проговорил человек, лежавший на полу. – С этой работой я хочу покончить раз и навсегда. Хватит таскаться ко мне без зова. Хватит травить меня, как зверя. Сейчас вы, уж конечно, приметесь разнюхивать да выпытывать – знаю я вас! Так нет же! Не удастся. Я сам вместо вас буду вопросы задавать. Моя дочь стирает? Да, *стирает*. Поглядите на воду. Понюхайте ее! Вот эту самую воду мы пьем. Нравится она вам или, может, по-вашему, лучше вместо нее пить джин? В доме у меня грязно? Да, грязно, и немудрено, что грязно, и немудрено, что тут захворать недолго; и у нас было пятеро грязных и хворых ребят, и все они померли еще грудными, да оно и лучше для них и для нас тоже. Читал я книжицу, что вы оставили? Нет, я не читал книжицы, что вы оставили. Здесь у нас никто читать не умеет, а хоть бы кто и умел, так мне она все равно ни к чему. Это книжонка для малых ребят, а я не ребенок. Вы бы еще куклу оставили; что же, вы мне куклу нянчить прика-

жете? Как я себя вел? Вот как: три дня я пил, а были бы деньги, так и на четвертый выпил бы. А не собираюсь ли я пойти в церковь? Нет, в церковь я не собираюсь. Да хоть бы и собрался, так меня там никто не дожидается; приходский надзиратель мне не компания, – больно уж он важная шишка. А почему у моей бабы синяк под глазом? Ну что ж, это я ей синяк наставил, а если она скажет, что не я, – так соврет!

Перед тем как произнести все это, он вынул трубку изо рта, а договорив, повернулся на другой бок и закурил снова.

Миссис Пардигл, глядя на него сквозь очки с напускной невозмутимостью, рассчитанной, как мне казалось, на то, чтоб обострить его неприязнь, вынула назидательную книжку с таким видом, словно это был жезл полицейского, и «арестовала» все семейство. Я хочу сказать, что, принуждая бедняков слушать религиозное поучение, она вела себя так, словно была неумолимым блюстителем нравственности, тащившим их в полицейский участок.

Аде и мне было очень неприятно. Мы обе чувствовали себя какими-то незваными гостями, которым здесь не место, и обе думали, что миссис Пардигл не следовало бы так бездушно навязывать себя людям. Отпрыски ее хмуро глазели по сторонам; семья кирпичника обращала на нас внимание только тогда, когда парень заставлял свою собаку лаять, что он проделывал всякий раз, как миссис Пардигл произносила фразу с особым пафосом. Нам обоим было тяжело видеть, что между нами и этими людьми воздвигнут железный барьер, разрушить который наша новая знакомая не могла. Кто и как мог бы сломать этот барьер, мы не знали, но нам было ясно, что ей это не по силам. Все то, что она читала и говорила, на наш взгляд, никуда не годилось для таких слушателей, даже если бы она вела себя безупречно скромно и тактично. А книжку, о которой говорил мужчина, лежавший на полу, мы просмотрели впоследствии, и мистер Джарндис, помнится, тогда усомнился, чтобы сам Робинзон Крузо смог ее одолеть, даже если бы на его необитаемом острове не было других книг.

Понятно, что у нас прямо гора с плеч свалилась, когда миссис Пардигл умолкла. Мужчина, лежавший на полу, тогда снова обернулся к ней и проговорил угрюмо:

– Ну? Кончили наконец?

– На сегодня кончила, милейший. Но я никогда не утомляюсь. И я опять приду к вам, когда настанет ваш черед, – ответила миссис Пардигл с подчеркнутой веселостью.

– Выкатывайтесь, да поживее, – отрезал он, ругнувшись, и, скрестив руки, закрыл глаза, – а когда уйдете, можете делать что угодно!

Миссис Пардигл встала, и ее пышные юбки подняли в этой тесной каморке целый вихрь, от которого чуть не пострадала трубка хозяина. Взяв за руки двоих своих отпрысков и приказав остальным идти следом, она выразила надежду, что кирпичник и все его домочадцы исправятся к тому времени, когда она в следующий раз придет сюда, а потом двинулись к другому домику. Надеюсь, я не погрешу против справедливости, если отмечу, что, уходя, она, как всегда, рисовалась, хотя это отнюдь не подобает тем, кто занимается оптовой благотворительностью и филантропией на широкую ногу.

Она думала, что мы последуем за ней, но, как только заполненное ею пространство освободилось, мы подошли к женщине, сидевшей у камина, и спросили, не болен ли ее маленький.

Женщина только молча взглянула на ребенка, лежавшего у нее на коленях. Мы уже раньше заметили, что, глядя на него, она закрывает рукой свой синяк, как бы затем, чтобы отгородить бедного малютку от всяких напоминаний о грубости, насилии и побоях.

Ада, чье нежное сердце было растрогано его жалким видом, нагнулась было, чтобы погладить его по щеке. Но я уже поняла, что случилось, и потянула ее назад. Ребенок был мертв.

– Ах, Эстер! – воскликнула Ада, опустившись перед ним на колени. – Посмотри! Ах, милая Эстер, какая крошка! Замученный, тихий, прелестный крошка! Как мне его жалко! Как жаль его мать. До чего же все это грустно! Бедный маленький!

Вся в слезах, она с таким состраданием, с такой нежностью склонилась к матери и взяла ее за руку, что смягчилось бы любое материнское сердце. Женщина удивленно посмотрела на нее и вдруг разрыдалась.

Я сняла легкую ношу с ее колен, как можно лучше убрала маленького покойника, уложила его на полку и покрыла своим носовым платком. Мы старались успокоить мать, повторяя ей шепотом те слова, которые наш Спаситель сказал о детях. Она не отзывалась, только плакала, плакала горячими слезами.

Обернувшись, я увидела, что парень увел из комнаты собаку и стоит за дверью, глядя на нас сухими глазами, но не говоря ни слова. Девушка тоже молчала, сидя в углу и опустив глаза. Мужчина поднялся с пола. Он не выпустил трубки изо рта и ничего не сказал. Но лицо у него было все такое же настороженное.

Я посмотрела на них, и тут в комнату вбежала некрасивая, очень бедно одетая женщина и, подойдя к матери, воскликнула:

– Дженни! Дженни!

Мать поднялась и упала в раскрытые объятия женщины.

У этой тоже и на лице и на руках были видны следы побоев. Она была совершенно лишена обаяния – если забыть про ее обаятельную отзывчивость, – но, когда она утешала мать и плакала сама, ей не нужна была красота. Я говорю – утешала, хотя она только твердила: «Дженни! Дженни!» Но главное было в тоне, каким она произносила эти слова.

Очень трогательно было видеть этих двух женщин, простых, оборванных, забитых, но таких дружных; видеть, чем они могли быть друг для друга; видеть, как они сочувствовали одна другой, как сердце каждой из них смягчалось ради другой во время тяжелых жизненных испытаний. Мне кажется, что лучшие стороны этих людей почти совсем скрыты от нас. Что значит бедняк для бедняка – мало кому понятно, кроме них самих и бога.

Мы сочли за лучшее уйти, чтобы не докучать им. Вышли мы тихонько, и этого не заметил никто, кроме хозяина. Он стоял, прислонившись к стене у двери, и, сообразив, что мешает нам пройти, вышел первый. Ему, видимо, не хотелось признать, что сделал он это ради нас, но мы все поняли и поблагодарили его. Он не отозвался ни словом.

Когда мы возвращались, Ада всю дорогу так плакала, а Ричард, которого мы застали дома, так огорчился, увидев ее слезы (хоть и не преминул сказать мне, когда она вышла из комнаты: как она красива и в слезах!), что мы решили снова сходить к кирпичнику вечером, захватив с собой кое-какие вещи. Мистеру Джарндису мы рассказали обо всем этом очень коротко, тем не менее ветер мгновенно переменился.

Вечером Ричард пошел проводить нас туда, где мы были утром. По дороге нам пришлось пройти мимо шумного кабака, у дверей которого толпились мужчины. Среди них был отец ребенка, принимавший ревностное участие в чьей-то ссоре. Немного погодя мы встретили в такой же компании парня с собакой. Его сестра стояла на углу улицы, смеясь и болтая в кругу других девушек, но когда мы поравнялись с нею, она как будто застыдилась и отвернулась.

Завидев домишко кирпичника, мы расстались со своим провожатым и дальше пошли одни. Подойдя к двери, мы увидели на пороге женщину, которая утром внесла в этот дом такое успокоение, а сейчас стояла, тревожно высматривая кого-то.

– Это вы, молодые леди? – прошептала она. – А я вот все поглядываю, не идет ли мой хозяин. Прямо сердце замирает от страха. Узнай он только, что я ушла из дому, – изобьет до полусмерти.

– Вы говорите о вашем муже? – спросила я.

– Да, мисс, о своем хозяине. Дженни спит, совсем из сил выбилась. Ведь она, бедная, семь суток, ни днем ни ночью, не спускала ребенка с колен, разве только если я, бывало, прибегу сюда да подержу его минутку-другую.

Она уступила нам дорогу, тихонько вошла и положила принесенные нами вещи близ убогой кровати, на которой спала мать. Никто не потрудился вымыть комнату; впрочем, вся лачуга была такая ветхая, что в ней, очевидно, и нельзя было навести чистоту и порядок, но восковое тельце, от которого веяло глубокой торжественностью смерти, переложили на другое место, обмыли и аккуратно завернули в белые полотняные лоскутки, потом снова покрыли моим носовым платком; и те же грубые потрескавшиеся руки, которые все это сделали, положили на него пучок душистых трав, прикасаясь к нему так осторожно, так нежно!

– Награди вас бог! – сказали мы женщине. – Вы добрая.

– Я, молодые леди? – удивилась она. – Тсс! Дженни, Дженни!

Мать застонала во сне и шевельнулась. Звук знакомого голоса как будто успокоил ее. Она опять уснула.

Могла ли я знать, когда, приподняв свой носовой платок, смотрела на лежащее под ним тельце сквозь локоны Ады, рассыпавшиеся, как только она склонилась над младенцем, – мне тогда почудилось, будто вокруг него засиял ореол, – могла ли я знать, на чьей беспокойной груди будет со временем лежать тот самый платок, который сейчас прикрывает эту застывшую, спокойную грудь! Я только думала, что, быть может, ангел-хранитель младенца вспомнит когда-нибудь о той сострадательной женщине, которая снова покрыла маленького покойника моим платком, – вспомнит о ней теперь, когда мы уйдем, а она останется стоять на пороге, то всматриваясь в даль, то к чему-то прислушиваясь в страхе, то по-прежнему ласково повторяя: «Дженни, Дженни!»

Глава IX

Признаки и приметы

Не знаю, почему так получается, что я вечно пишу о себе. Я постоянно хочу писать о других людях, стараясь как можно меньше вспоминать о себе, и всякий раз, как вижу, что снова появляюсь в этой повести, очень досадую и говорю: «Ах ты, надоедливая девчонка, как ты смела опять появиться?» Но все без толку. Каждый, кто прочитает написанное мною, надеюсь, поймет, что если на этих страницах очень много говорится обо мне – то лишь потому, что я, право же, играю какую-то роль в своем повествовании и меня нельзя выкинуть совсем.

Милая моя подруга и я, мы вместе читали, работали, занимались музыкой, и все наше время было так заполнено, что зимние дни летели как яркрыкрытые птицы. Обычно уже во второй половине дня, а вечером – всегда, к нам присоединялся Ричард. Трудно было найти другого такого непосредливого юношу, однако сидеть в нашем обществе ему, несомненно, очень нравилось.

Ему очень, очень, очень нравилась Ада. Это я знаю наверное, и лучше сказать это сразу. Мне тогда еще не приходилось видеть влюбленных, но тайну Ады и Ричарда я разгадала очень быстро. Конечно, я не могла сказать им об этом или намекнуть, что о чем-то догадываюсь. Напротив, я была так сдержанна, притворялась такой непонятливой, что иной раз, сидя за работой, подумывала, уж не становлюсь ли я настоящей притворщицей?

Но ничего не поделаешь. Все, что мне оставалось, – это сидеть тихо, и я была тише мышки. Они тоже были тише мышек, – я хочу этим сказать, что они еще не говорили о своем чувстве, но наивность, с какой они тем больше льнули ко мне, чем крепче привязывались друг к другу, была так очаровательна, что мне стало очень трудно скрывать, до чего меня интересуют их отношения.

– Наша милая маленькая Старушка – такая замечательная старушка, – говорил Ричард, ласково посмеиваясь и чуть-чуть краснея, когда выходил рано утром в сад мне навстречу, – что я просто не могу без нее обойтись. Опять начинается суматошный день – сначала буду возиться с книгами и приборами, потом, словно разбойник, скакать и в гору и под гору по всей округе, – и мне очень полезно начать этот день с неторопливой прогулки в обществе нашего уютного друга, так что вот я опять пришел!

– Ты знаешь, милая Хлопотунья, – говорила Ада, склонив голову на мое плечо, когда мы вечером сидели вместе у камина и пламя отражалось в ее задумчивых глазах, – когда мы с тобой приходим сюда наверх, в свои комнаты, мне не хочется разговаривать – только бы немножко посидеть, подумать, глядя на твое милое лицо, послушать шум ветра, вспомнить о бедных моряках на море...

Надо сказать, что Ричард, по-видимому, собирался сделаться моряком. Теперь мы очень часто говорили на эту тему, считая, что следует удовлетворить жившее в нем с детства влечение к морю. Мистер Джарндис написал по этому поводу одному своему знатному родственнику, некоему сэру Лестеру Дедлоку, и попросил его помочь Ричарду стать на ноги; однако сэр Лестер вежливо ответил, что «был бы счастлив содействовать молодому джентльмену в его начинаниях, если бы мог, но ничего сделать не может», и добавил, что «миледи передает поклон молодому джентльмену (с которым, помнится, состоит в дальнем родстве) и убеждена, что он всегда будет выполнять свой долг, какую бы деятельность ни избрал».

– Итак, по-моему, все ясно, – придется самому пробивать себе дорогу, – сказал мне Ричард. – Ну что ж, ничего! Многим людям приходилось пробиваться самим, и они пробились. Хотелось бы только начать с командования быстроходным пиратским кораблем, чтобы увезти с

собой канцлера и держать его на голодном пайке, пока он не вынесет решения по нашей тяжбе. И пусть тогда не мешкает, не то от него только кости да кожа останутся!

Жизнерадостность, оптимизм и почти неиссякаемая веселость сочетались в характере Ричарда с какой-то беспечностью, которая меня изумляла, и особенно потому, что он странным образом принимал ее за благоразумие. Это очень своеобразно проявлялось во всех его денежных делах, и, пожалуй, мне лучше всего удастся объяснить это на примере, несколько отклонившись в сторону и напомнив о деньгах, которые мы одолжили мистеру Скимполу.

Мистер Джарндис узнал, сколько нам тогда пришлось выложить, не то от самого мистера Скимпола, не то от «Ковинсова» и, вернув мне деньги, сказал, чтобы я взяла себе свою долю, а остальное передала Ричарду. Но если бы количество мелких необдуманных трат, которые Ричард оправдывал возвращением своих десяти фунтов, сложить с количеством его бесед со мною на тему о том, что он якобы «сберег» или «скопил» эти деньги, – получилась бы крупная сумма.

– Почему бы и нет, благоразумная наша Хозяюшка? – сказал он мне, когда, недолго думая, решил подарить пять фунтов кирпичнику. – Я же заработал десять фунтов чистых на деле «Ковинсова».

– Как так? – удивилась я.

– Ну да, ведь в тот день я очень охотно расстался со своими десятью фунтами и не надеялся получить их обратно. Вы не можете этого отрицать?

– Нет, – согласилась я.

– Отлично! А потом я получил десять фунтов...

– То есть свои же десять фунтов, – напомнила я.

– Не в этом дело! – возразил Ричард. – Я теперь имею на десять фунтов больше, чем рассчитывал иметь, и, значит, могу позволить себе истратить их без особенных колебаний.

Когда же его убедили не отдавать этих пяти фунтов, доказав, что они не принесут пользы, он опять записал эту сумму себе в актив и решил ее израсходовать.

– Давайте-ка подсчитаем! – говорил он. – Я сэкономил пять фунтов на истории с кирпичником, поэтому, если я прокачусь до Лондона и обратно на почтовых и потрачу на это четыре фунта, то сберегу один фунт. А сберечь один фунт – неплохая штука, позвольте вам заметить; пенни сберег – пенни нажил!

Ричард был по натуре искренний и великодушный юноша, каких мало – в этом я уверена. Пылкий и храбрый, он при всем своем беспокойном характере был так мягок, что я за несколько недель сблизилась с ним словно с братом. Мягкость была свойственна ему от природы и широко проявлялась бы и без влияния Ады, а под этим влиянием он стал самым обаятельным из друзей – всегда отзывчивый, всегда такой веселый, жизнерадостный и легкий. Я то сидела, то гуляла, то разговаривала с ним и Адой и подмечала, как они день ото дня все сильнее влюбляются друг в друга, не говоря об этом ни слова и каждый про себя застенчиво думая, что его любовь – величайшая тайна, о которой, быть может, еще не подозревает другой, – и, конечно, я была очарована не меньше, чем они сами, и не меньше, чем они, пленена их чудесной мечтой.

Так вот мы и жили; но как-то раз утром во время завтрака мистер Джарндис получил письмо и, бросив взгляд на фамилию отправителя, воскликнул: «От Бойторна? Так-так!» – потом распечатал письмо и начал читать его с видимым удовольствием, а когда дошел примерно до половины, прервал на секунду чтение и объявил, что Бойторн «собирается к нам» погостить. «Интересно, кто такой этот Бойторн?» – думали мы. И, конечно, все мы думали также – я во всяком случае, – а не помешает ли он тому, что у нас назревает?

– С Лоуренсом Бойторном я учился в школе, – сказал мистер Джарндис, хлопнув письмом по столу, – это было сорок пять лет назад; нет – больше. В те времена он был самым пылким мальчишкой на свете, теперь нет более пылкого мужчины. В те времена он был самым

шумливым мальчишкой на свете, теперь нет более шумливого мужчины. В те времена он был самым добродушным и здоровым мальчишкой на свете, теперь нет более добродушного и здорового мужчины. Очень большой человек.

– То есть рослый, сэр? – спросил Ричард.

– Да, Рик, и рослый, – ответил мистер Джарндис, – он лет на десять старше меня, дюйма на два выше; голова закинута назад, как у старого воина, руки сильные, как у кузнеца, только белые, грудь колесом, а легкие!.. других таких легких во всем мире не сыщешь. Говорит ли он, хохочет ли, храпит ли – в доме балки дрожат.

Мистер Джарндис, по-видимому, любовался обликом своего друга Бойторна, и мы заметили доброе предзнаменование – исчезли все признаки того, что ветер может перемениться.

– Но, Рик... и Ада, а также вы, маленькая Паутинка (ведь все вы интересуетесь нашим новым гостем), – продолжал он, – когда я назвал его большим человеком, я думал о его душе, его горячем сердце, страстности, свежести восприятия. Речь у него так же выразительна, как голос. Он вечно впадает в крайности... говорит только в превосходной степени. В своих обличениях он сама беспощадность. Послушать его – подумаешь, это какой-то людоед, да, кажется, он и слывет людоедом в некоторых кругах. Впрочем, довольно! Я больше ничего не скажу о нем. Не удивляйтесь, если заметите, что ко мне он относится покровительственно, – он не забывает, что в школьные годы я был тихоней и наша дружба началась с того, что он как-то раз перед завтраком выбил два зуба (по его словам, целых шесть) у моего главного угнетателя. Бойторн и его камердинер приедут сегодня во второй половине дня, дорогая моя, – добавил мистер Джарндис, обращаясь ко мне.

Я позаботилась о том, чтобы все было готово к приему мистера Бойторна, и мы с любопытством стали ожидать его. Однако день проходил, а гость наш не появлялся. Подошло время обеда, но мистер Бойторн все еще не прибыл. Обед отложили на час, и мы сидели у камина, сумерничая при свете пламени, как вдруг входная дверь с грохотом распахнулась, и из передней донеслись следующие слова, произнесенные с величайшим пафосом и громовым голосом:

– Нас обманули, Джарндис, – обманул какой-то отпетый мерзавец: сказал, что нам нужно свернуть направо, тогда как надо было свернуть налево. Свет не видывал такого отъявленного негодяя! Ясно, что и отец его был самым бессовестным из злодеев, если у него такой сын. Я бы его пристрелил, – и без малейших угрызений совести!

– Он сделал это нарочно? – спросил мистер Джарндис.

– Ничуть не сомневаюсь, что мошенник всю свою жизнь только и делает, что сбивает проезжих с пути! – загремел тот в ответ. – Когда он советовал мне свернуть направо, я, клянусь душой, подумал, что это самый паршивый пес, какого я когда-либо встречал. Да и я тоже хорош – стоял лицом к лицу с подобным прохвостом и не выбил ему мозгов!

– Ты хочешь сказать – зубов! – вставил мистер Джарндис.

– Ха-ха-ха! – захохотал мистер Лоуренс Бойторн, да так раскатисто, что стекла задрезжали. – Как? Ты еще помнишь? Ха-ха-ха!.. Тот малый тоже был беспутнейшим из бродяг! Могу поклясться, что он еще мальчишкой являл собой такое мрачное воплощение коварства, трусости и жестокости, что мог бы торчать пугалом на поле, усеянном подлецами. Случись мне завтра встретить на улице этого беспримерного мерзавца, я его сшибу, как трухлявое дерево!

– Не сомневаюсь, – откликнулся мистер Джарндис. – А теперь не хочешь ли пройти наверх?

– Могу поклясться, Джарндис, – проговорил гость, очевидно взглянув на часы, – будь ты женат, я повернул бы обратно у садовых ворот и удрал бы на отдаленнейшую вершину Гималайских гор, лишь бы не являться сюда в такой поздний час.

– Ну, зачем же так далеко! – сказал мистер Джарндис.

– Клянусь жизнью и честью, – на Гималаи! – вскричал гость. – Я ни в коем случае не позволил бы себе столь дерзкой вольности – заставить хозяйку дома ждать меня так долго. Я скорей уничтожил бы сам себя... гораздо скорей!

Не прерывая разговора, они стали подниматься по лестнице, и вскоре мы услышали из комнаты, отведенной мистеру Бойторну, громогласное «ха-ха-ха!», потом снова «ха-ха-ха!» – и вот даже самое отдаленное эхо стало вторить этим звукам и захохотало так же весело, как он или как мы, когда до нас донесся его хохот.

Еще не видя гостя, мы почувствовали, что он всем нам придется по душе, – столько искренности было в его хохоте, в его могучем, здоровом голосе, в той выразительности и отчетливости, с какими он произносил каждое слово, и даже в самом неистовстве, с каким он обо всем говорил в превосходной степени, что, впрочем, подобно холостой стрельбе из орудий, не задевало никого. Но мы и не подозревали, что он так нам понравится, как понравился, когда мистер Джарндис представил его нам. Это был не только очень красивый пожилой джентльмен – прямой и крепкий, каким нам его уже описали, с большой головой и седой гривой, с привлекательно-спокойным выражением лица (когда он молчал), с телом, которое, пожалуй, могло бы располнеть, если бы не постоянная горячность, не дававшая ему покоя, с подбородком, который, возможно, превратился бы в двойной подбородок, если бы не страстный пафос, с которым мистер Бойторн всегда говорил, – словом, он был не только очень красивый пожилой джентльмен, но истинный джентльмен с рыцарски-вежливыми манерами, а лицо его освещала такая ласковая и нежная улыбка, до того ясно было, что скрывать ему нечего и он показывает себя таким, какой он есть на самом деле, то есть человеком, который не способен (по выражению Ричарда) ни на что ограниченное и лишь потому стреляет холостыми зарядами из огромных пушек, что не носит с собой никакого мелкокалиберного оружия, – так ясно все это было, что за обедом я с удовольствием смотрела на него, все равно, разговаривал ли он, улыбаясь, с Адой и со мною, или в ответ на слова мистера Джарндиса залпом выпаливал что-нибудь «в превосходной степени», или, вздернув голову, словно борзая, раздражался громогласным «ха-ха-ха!».

– Ты, конечно, привез свою птичку? – спросил мистер Джарндис.

– Клянусь небом, это самая замечательная птичка в Европе! – ответил тот. – Удивительнейшее создание! Эту птичку я не отдал бы и за десять тысяч гиней. В своем завещании я выделил средства на ее содержание, на случай, если она переживет меня. Прямо чудо какое-то, – так она разумна и привязчива. А ее отец был одной из самых необычайных птиц, когда-либо живших на свете!

Предметом его похвал была очень маленькая канарейка, совсем ручная, – когда камердинер мистера Бойторна принес ее на указательном пальце, она, тихонько облетев комнату, уселась на голову хозяину. Я слушала неукротимые и страстные высказывания мистера Бойторна, смотрела на малюсенькую, слабенькую пташку, спокойно сидевшую у него на голове, и думала, что такой контраст очень показателен для его характера.

– Могу поклясться, Джарндис, – говорил он, очень осторожно подавая канарейке крошку хлеба, – будь я на твоём месте, я бы завтра же утром схватил за горло всех судейских Канцлерского суда и тряс их до тех пор, пока деньги не выкатились бы у них из карманов, а кости не загремели в коже. Не мытьем так катаньем, а уж я бы вытряс из них решение по делу! Поручи это мне, и я займусь этим для тебя с величайшим удовольствием!

(Все это время маленькая канарейка клевала крошки у него с рук.)

– Спасибо, Лоуренс, – отозвался мистер Джарндис со смехом, – но тяжба теперь зашла в такой тупик, что ее не продвинешь, даже если законным образом перетряхнешь всех судей и всех адвокатов.

– Да, не было еще на земле такого дьявольского котла, как этот Канцлерский суд! – загремел мистер Бойторн. – Ничем его не исправить, – разве только подложить под него мину с десятью тысячами центнеров пороха да во время какого-нибудь важного заседания взорвать

его вместе со всеми протоколами, процессуальными кодексами и прецедентами, со всеми причастными к нему чиновниками, высшими и низшими, сверху донизу, начиная с отпрыска его, главного казначея, и кончая родителем его, дьяволом, так чтобы все они вместе рассыпались в прах!

Нельзя было не рассмеяться, когда он с такой энергией и серьезностью предлагал принять столь суровые меры для реформы суда. И мы рассмеялись, а он откинул голову назад, расправил широкую грудь, и мне снова почудилось, будто все кругом загудело, вторя его хохоту. Но это не произвело никакого впечатления на птичку, уверенную в своей безопасности, – она прыгала по столу, склоняя подвижную головку то на один бок, то на другой и вскидывая живые, блестящие глазки на хозяина, как будто он тоже был всего только птичкой.

– А в каком положении твоя тяжба с соседом о спорной тропинке? – спросил мистер Джарндис. – Ведь и ты не свободен от судебных хлопот.

– Этот субъект подал жалобу на меня за то, что я незаконно вступил на его землю, а я подал жалобу на него за то, что он незаконно вступил на мою землю, – ответил мистер Бойторн. – Клянусь небом, это надменнейший из смертных. Трудно поверить, что его зовут сэром Лестером. Лучше б ему называться сэром Люцифером.

– Лестно для нашего дальнего родственника! – со смехом сказал мой опекун, обращаясь к Аде и Ричарду.

– Я бы попросил извинения, – заметил наш гость, – если бы не понял по выражению прекрасного лица мисс Клейр и улыбке мистера Карстона, что это лишнее, так как они держат своего дальнего родственника на дальнем расстоянии.

– Или – он нас, – вставил Ричард.

– Могу поклясться, что этот субъект, подобно отцу своему и деду, самый упрямый, надменный, тупой, меднолобый дурень на свете, и он лишь по какой-то необъяснимой ошибке природы явился на свет живым существом, а не палкой с набалдашником! – воскликнул мистер Бойторн, внезапно раздражаясь новым залпом. – Да и все его сородичи – самодовольнейшие и совершеннейшие болваны!.. Но все равно – ему не загородить моей тропинки, будь он даже пятьюдесятью баронетами, слитыми воедино, и живи он в целой сотне Чесни-Уолдов, вложенных один в другой, как полые шары из слоновой кости работы китайских резчиков. Этот субъект пишет мне через своего уполномоченного, или секретаря, или не знаю там кого: «Сэр Лестер Дедлок, баронет, кланяется мистеру Лоуренсу Бойторну и обращает его внимание на то, что право прохода по тропинке у бывшего церковного дома, ныне перешедшего в собственность мистера Лоуренса Бойторна, принадлежит сэру Лестеру Дедлоку, ибо тропинка является частью чесни-уолдского парка, а посему сэр Лестер Дедлок находит нужным загородить такую». Я отвечаю этому субъекту: «Мистер Лоуренс Бойторн кланяется сэру Лестеру Дедлоку, баронету, и, обращая его внимание на то, что он, Бойторн, полностью отрицает все утверждения сэра Лестера Дедлока по поводу любого предмета, добавляет касательно заграждения тропинки, что был бы рад увидеть человека, который отважится ее загородить». Этот субъект подсылает какого-то отъявленного одноглазого негодяя поставить на тропинке калитку. Я поливаю этого отвратительного подлеца из пожарной кишки, пока он едва не выпускает духа. За ночь этот субъект сооружает ворота. Утром я их срубаю на дрова и сжигаю. Он приказывает своим наемникам перелезть через ограду и шляться по моим владениям. Я ловлю их в безвредные капканы, стреляю в них лущеным горохом, целясь в ноги, поливаю их из пожарной кишки – словом, стремлюсь освободить человечество от непереносимого бремени в лице этих отпетых головорезов. Он подает жалобу на меня за вторжение в его владения, я подаю жалобу на него за вторжение в мои владения. Он подает жалобу, обвиняя меня в нападении и оскорблении действием; я защищаюсь, но продолжаю оскорблять и нападать. Ха-ха-ха!

Слыша, с какой невероятной энергией он все это говорил, можно было подумать, что нет на свете более сердитого человека. Но стоило только увидеть, как он в то же самое время

смотрит на птичку, усевшуюся теперь на его большом пальце, и тихонько гладит указательным пальцем ее перышки, и сразу становилось ясно, что нет на свете человека более кроткого. А прислушиваясь к его смеху и глядя на его добродушное лицо, казалось, что нет у него никаких забот, что ни с кем он не ссорится, ни к кому не испытывает неприязни и вся его жизнь – сплошное удовольствие.

– Нет-нет, – продолжал он, – никакому Дедлоку не удастся загородить мою тропинку. Хотя я охотно признаю, – тут он на минуту смягчился, – что леди Дедлок – достойнейшая леди на свете, и я готов воздать ей всю ту дань уважения, на какую способен простой джентльмен, а не баронет, получивший в наследство всю тупость своего семисотлетнего рода. Человека, который, двадцати лет поступив в полк, через неделю вызвал на дуэль своего начальника – самого властного и самонадеянного хлыща, когда-либо вдыхавшего воздух грудью, туго стянутой мундиром, – вызвал и был за то разжалован, такого человека не запугают никакие сэры Люциферы *Дед-локи*, ни *деды* их, ни внуки, ни *локоны* их, ни лысины. Ха-ха-ха!

– И такой человек не допустит, чтобы запугали его младшего товарища? – промолвил мой опекун.

– Безусловно нет! – подтвердил мистер Бойторн, покровительственно хлопая его по плечу, и мы все почувствовали, что хоть он и смеется, но говорит совершенно серьезно. – Он всегда будет стоять на стороне «тихони». Можешь положиться на него, Джарндис! Но, кстати, раз уж мы завели разговор об этом незаконном вторжении, – прошу прощения у мисс Клейр и мисс Саммерсон за то, что так долго говорил на столь скучную тему, – нет ли для меня письма от ваших поверенных Кенджа и Карбоя?

– Как будто нет, Эстер? – осведомился мистер Джарндис.

– Ничего нет, опекун.

– Благодарю вас, – сказал мистер Бойторн. – Незачем было и спрашивать; если бы письмо пришло, мне его передала бы мисс Саммерсон – ведь я уже успел заметить, как она заботится обо всех ее окружающих. (Все они всегда хвалили меня: просто захвалить хотели!) Я спросил потому, что приехал к вам прямо из Линкольншира, не заезжая в Лондон, и подумал, не переслали ли моих писем сюда. Очевидно, они придут завтра утром.

В течение вечера, проведенного очень приятно, я не раз наблюдала, как мистер Бойторн, усевшись неподалеку от рояля и слушая музыку, – которую страстно любил, о чем ему не надо было говорить нам, потому что это было и так видно по его лицу, – посматривал на Ричарда и Аду с интересом и удовольствием, которые придавали необычайно привлекательное выражение его красивым чертам, так что я, подметив все это, даже спросила опекуна, когда мы сели играть в трик-трак, не был ли мистер Бойторн женат.

– Нет, – ответил он. – Нет.

– Но он был помолвлен? – сказала я.

– Как вы об этом догадались? – с улыбкой спросил опекун.

– Видите ли, опекун, – начала я, слегка краснея оттого, что осмелилась высказать свои мысли, – в его обращении, несмотря ни на что, проглядывает такая нежность души, и он так вежлив и ласков с нами, что...

Мистер Джарндис взглянул в ту сторону, где сидел его друг, точь-в-точь такой, каким я его сейчас описывала.

Я замолчала.

– Вы правы, Хлопотунья, – подтвердил он. – Он чуть не женился однажды. Это было давным-давно. И больше он подобных попыток не делал.

– Его невеста умерла?

– Нет... но она умерла для него. Это повлияло на всю его дальнейшую жизнь. А вам не кажется, что у него и теперь голова и сердце полны всякой романтики?

– Я, пожалуй, могла бы так подумать, опекун. Да и немудрено, раз вы сами сказали мне это.

– С тех пор он уже никогда не был таким, каким обещал быть, – проговорил мистер Джарндис. – А теперь, в старости, у него никого нет, если не считать камердинера да маленькой желтенькой подружки... Ваш ход, дорогая моя!

Я поняла по тону опекуна, что мне не удастся продолжить разговор на эту тему без того, чтобы не вызвать перемены ветра. Поэтому я воздержалась от дальнейших вопросов. Я была заинтересована, но не сгорала от любопытства. Ночью, разбуженная громким храпом мистера Бойторна, я стала думать о его юношеской любви и старалась – что очень трудно – вообразить себе стариков снова молодыми и одаренными обаянием молодости. Но я заснула раньше, чем мне это удалось, и видела во сне свое детство в доме крестной. Не знаю, интересно это или нет, но мне почти каждый день снилось мое детство.

Утром от господ Кенджа и Карбоя пришло письмо, в котором говорилось, что в полдень к мистеру Бойторну приедет их клерк. Был как раз тот день недели, в который я платила по счетам и подводила итоги в своих расходных книгах, а очередные хозяйственные дела старалась закончить побыстрее, поэтому я осталась дома, тогда как мистер Джарндис, Ада и Ричард, воспользовавшись прекрасной погодой, уехали кататься. Мистер Бойторн решил сначала увидеться с клерком от Кенджа и Карбоя, а потом пойти пешком навстречу друзьям.

Ну, так вот, я была занята по горло – просматривала торговые книги наших поставщиков, складывала столбцы цифр, платила по счетам, писала расписки и, признаться, совсем захлопоталась, когда доложили, что приехал мистер Гаппи и ожидает в гостиной. Я и раньше подумывала, что клерк, которого обещали прислать, возможно, окажется тем самым молодым человеком, который встретил меня у почтовой конторы, и была рада увидеть его, так как он имел какое-то отношение к моей теперешней счастливой жизни.

Но я с трудом узнала его – так аляповато он был разряжен. Он предстал предо мной в новом с иголки костюме из глянцевиной ткани, в сверкающем цилиндре, сиреневых лайковых перчатках, пестром шейном платке, с громадным оранжерейным цветком в петлице и толстым золотым кольцом на мизинце; и вдобавок от него на всю столовую разлило ароматом индийской помады и прочей парфюмерии. Он так пристально посмотрел на меня, когда я попросила его присесть и подождать, пока не вернется горничная, которая пошла доложить о нем, что мной овладело смущение, и за все время, пока он сидел в углу, то кладя ногу на ногу, то ставя ее опять на пол, а я спрашивала, хорошо ли он доехал и выражала надежду, что мистер Кендж здоров, я ни разу на него не взглянула, но подметила, что он смотрит на меня все так же испытующе и странно.

Но вот его пригласили подняться вверх в комнату мистера Бойторна, а я сказала, что мистер Джарндис просит его закусить и, когда он вернется, ему подадут завтрак. Взявшись за ручку двери, мистер Гаппи проговорил немного смущенным тоном:

– Буду ли я иметь честь снова увидеть вас тут, мисс?

Я ответила, что, вероятно, никуда не уйду отсюда, и он удалился, отвесив мне поклон и еще раз взглянув на меня.

Подумав, что он просто неотесанный и застенчивый малый, – ведь он явно чувствовал себя очень неловко, – я решила подождать, пока он не сядет за стол; а убедившись, что ему подали все, что полагается, уйду. Завтрак принесли быстро, но он долго стоял нетронутым на столе. Беседа у мистера Гаппи с мистером Бойторном вышла длинной и... бурной, судя по тому, что до меня доносился громовый голос нашего гостя, хотя комната его была довольно далеко от столовой, и время от времени звук этого голоса нарастал, как рев штормового ветра: очевидно, на клерка сыпался град обличений.

Наконец мистер Гаппи вернулся, и теперь вид у него был еще более растерянный, чем до совещания.

– Ну и ну, мисс! – проговорил он вполголоса. – Это настоящий варвар!

– Кушайте, пожалуйста, сэр, – сказала я.

Мистер Гаппи сел за стол, все так же странно всматриваясь в меня (я это чувствовала, хотя сама не смотрела на него), и суетливо принялся точить большой нож для разрезанья жаркого о длинную вилку. Точил он так долго, что я наконец сочла себя обязанной поднять глаза, чтобы рассеять чары, под влиянием которых он, видимо, трудился, будучи не в силах перестать.

Мистер Гаппи мгновенно перевел взгляд на блюдо с жарким и принялся резать мясо.

– А вы сами, мисс, что желаете скушать? Позвольте угостить вас чем-нибудь?

– Нет, благодарю вас, – ответила я.

– Неужто вы не позволите мне положить вам хоть кусочек? – спросил мистер Гаппи, торопливо проглотив большую рюмку вина.

– Благодарю вас, я ничего не хочу, – отказалась я. – Я осталась здесь, только желая убедиться, что вам подали все, что вам нужно. Может быть, приказать принести еще чего-нибудь?

– Нет, очень вам признателен, мисс. У меня есть все необходимое для того, чтобы чувствовать себя удовлетворенным... по крайней мере я... то есть неудовлетворенным... нет... удовлетворенным я никогда не бываю.

Он выпил еще две рюмки вина, одну за другой.

Я подумала, что мне лучше уйти.

– Прошу прощения, мисс, – проговорил мистер Гаппи и встал, увидев, что я поднялась. – Может, вы будете так добры уделить мне минутку для беседы по личному делу?

Не зная, что на это ответить, я снова села.

– «Все, что за этим последует, да не послужит во вред», не правда ли, мисс? – проговорил мистер Гаппи, волнуясь и придвигая стул к моему столу.

– Я вас не понимаю, – ответила я в недоумении.

– Так говорят у нас, юристов, – это юридическая формула, мисс. Это значит, что вы не воспользуетесь моими словами, дабы повредить мне у Кенджа и Карбоя или где-нибудь еще. Если наша беседа не приведет ни к чему, я останусь при своем, и ни моей службе, ни моим планам на будущее это не повредит. Словом, буду говорить совершенно конфиденциально.

– Не могу представить себе, сэр, – отозвалась я, – о чем вы можете говорить со мною столь конфиденциально, ведь вы видите меня всего только во второй раз в жизни; но я, конечно, никоим образом не хочу вам вредить.

– Благодарю вас, мисс. Не сомневаюсь... уверен вполне. – Все это время мистер Гаппи то вытирал лоб носовым платком, то с силой тер левую ладонь о правую. – Если вы позволите мне опрокинуть еще бокальчик вина, мисс, это, пожалуй, поможет мне говорить, а то у меня, знаете, то и дело горло перехватывает, что, конечно, неприятно обеим сторонам.

Он выпил рюмку и вернулся на прежнее место. Я воспользовалась случаем и пересела подальше, – так чтобы отгородиться от него своим столом.

– Позвольте мне предложить вам бокальчик, мисс? – сказал мистер Гаппи, видимо приободрившись.

– Нет, – ответила я.

– Ну, полбокальчика? – настаивал мистер Гаппи. – Четверть? Нет! В таком случае приступим. В настоящее время, мисс Саммерсон, Кендж и Карбой платят мне два фунта в неделю. Когда я впервые имел счастье увидеть вас, я получал один фунт пятнадцать шиллингов, и жалованье мне довольно долго не повышали. Потом дали прибавку в пять шиллингов и обещают новую прибавку в пять шиллингов не позже чем через год, считая с нынешнего дня. У моей мамы есть небольшой доход в виде маленькой пожизненной ренты, на которую она и живет, хотя и скромно, но ни от кого не завися, на улице Олд-стрит-роуд. Кто-кто, а уж она прямо создана для того, чтобы стать свекровью. Не сует носа в чужие дела, не сварлива, да и вообще характер у нее легкий. Конечно, у нее есть свои слабости – у кого их нет? – но я ни разу

не видел, чтоб она заложила за галстук в присутствии посторонних лиц, – при посторонних она и в рот не возьмет ни вина, ни спиртного, ни пива – можете быть спокойны. Сам я квартирую на площади Пентон-Плейс, в Пентонвилле. Местность низменная, но воздуху много – за домом пустырь; считается одной из самых здоровых окраин. Мисс Саммерсон! Самое меньшее, что я могу сказать, это: я вас обожаю. Может, вы будете столь добры разрешить мне (если можно так выразиться) подать декларацию... то есть сделать предложение?

Мистер Гаппи опустился на колени. Стол отгораживал меня от него, и потому я не очень испугалась. Я сказала:

– Что за нелепая поза? Немедленно встаньте, сэр, а не то мне придется нарушить обещание и позвонить!

– Выслушайте меня, мисс! – воскликнул мистер Гаппи, складывая руки в мольбе.

– Я не выслушаю ни слова больше, сэр, – ответила я, – если вы сию же минуту не встанете с ковра и не сядете за стол; а вы это сделаете, если у вас есть хоть капля разума.

Он жалостно посмотрел на меня, но все-таки медленно встал с колен и сел за стол.

– Какая насмешка, мисс! – начал он, положив руку на сердце, и, склонившись к подносу, меланхолически покачал головой. – Какая это насмешка – сидеть за столом в такой момент. Душу воротит от еды в такой момент, мисс.

– Прошу вас прекратить этот разговор, – сказала я, – вы попросили меня вас выслушать, а теперь я прошу вас прекратить разговор.

– Прекращу, мисс, – отозвался мистер Гаппи. – Как я люблю и почитаю, так и повинуюсь. О, если б мог я дать обет Тебе пред алтарем!

– Это совершенно невозможно, – сказала я, – об этом не может быть и речи.

– Я понимаю, – начал мистер Гаппи, перегнувшись через поднос и снова впиваясь в меня пристальным взглядом, который я, странным образом, почувствовала, хоть и смотрела в другую сторону, – я понимаю, что в глазах света мое предложение, по всей вероятности, выйдет неавантажным. Но, мисс Саммерсон! ангел!.. Нет, не надо звонить... Я прошел суровую школу жизни и чем-чем только не занимался! Правда, я молод, но мне уже приходилось вести всякие расследования и возбуждать судебные дела, и я много чего повидал в жизни. Удостоите меня вашей ручки, и чего только я не придумаю, чтобы защитить ваши интересы и составить ваше счастье! Чего только я не разведую насчет вас! Правда, я пока ничего не знаю, но чего только я не смогу узнать, если буду пользоваться вашим доверием и вы пустите меня по следу!

Я сказала, что, стремясь защитить мои интересы, или, точнее, то, что он считает моими интересами, он так же обрекает себя на неудачу, как и стремясь завоевать мою благосклонность, а теперь он должен наконец понять, что я покорнейше прошу его удалиться.

– Жестокая мисс, выслушайте еще одно лишь слово! – сказал мистер Гаппи. – Полагаю, вы заметили, как поражен я был вашими прелестями в тот день, когда ждал вас у «Погребка белого коня». Полагаю, вы заметили, что я не мог удержаться от того, чтобы не отдать должного этим прелестям, когда откидывал подножку кареты. То была лишь ничтожная дань Тебе, но дань искренняя. С той поры образ Твой запечатлен в моей груди. Не раз я целыми вечерами ходил взад и вперед по улице, против дома Джеллиби, для того лишь, чтобы смотреть на кирпичные стены, за которыми некогда пребывала Ты. Сегодня мне было абсолютно не нужно являться сюда, и если я все же явился под предлогом деловых переговоров, то этот предлог придумал я один ради Тебя одной. Если я говорю об интересах, то лишь для того, чтобы зарекомендовать себя и свою почтительную скорбь. Любовь была и есть превыше всего.

– Мне было бы больно обидеть вас, мистер Гаппи, – сказала я, вставая и берясь за шнурок от звонка, – как, впрочем, и любого другого правдивого человека; и я не могу отнестись пренебрежительно ни к какому искреннему чувству, как бы неприятно оно ни проявлялось. Если вы действительно хотели убедить меня в вашем добром мнении обо мне, пусть несвоевременно и неуместно, я все же нахожу, что мне следует вас поблагодарить. Мне нечем гор-

диться; и я не гордая. Надеюсь, – добавила я, не зная хорошенько, что говорю, – вы сейчас же удалитесь, забудете о том, что вели себя совершенно неразумно, и займетесь делами господ Кенджа и Карбоя.

– Полминуты, мисс! – воскликнул мистер Гаппи, останавливая меня, когда я потянулась к звонку. – Значит, все это не послужит мне во вред?

– Я никому ничего не скажу, – ответила я, – если только вы сами не подадите мне к этому повода.

– Четверть минуты, мисс! На случай, если вы передумаете – когда угодно, хотя бы в далеком будущем, неважно, ведь мои чувства все равно никогда не изменятся, – если вы иначе отнесетесь к моим словам, особенно насчет того, чего бы я не сделал для вас... запомните адрес: мистер Уильям Гаппи, площадь Пентон-Плейс, дом восемьдесят семь, а в случае моего переезда или кончины (от погибших надежд и тому подобное) пишите в адрес миссис Гаппи, Олд-стрит-роуд, дом триста два.

Я позвонила, вошла горничная, а мистер Гаппи положил на стол свою визитную карточку и удалился с горестным поклоном. Когда он уходил, я подняла глаза и снова увидела, как он, уже на пороге, оглянулся и посмотрел на меня.

Я просидела в столовой еще час или больше, подводя итоги записям в книгах и счетам, и много успела сделать. Потом привела в порядок свой письменный стол и разложила все по местам, и была так спокойна и бодра, что мне даже казалось, будто я окончательно выбросила из головы этот неожиданный эпизод. Но, поднявшись в свою комнату, я, к собственному удивлению, рассмеялась, потом, к еще большему удивлению, расплакалась. Словом, я немного поволновалась, как будто в моей душе задела какую-то чувствительную струнку, связанную с моим прошлым, – задела так грубо, как этого еще не случалось ни разу с тех пор, как я зарыла в саду свою милую старую куклу.

Глава X

Переписчик судебных бумаг

На восточной стороне Канцлерской улицы, точнее – в переулке Кукс-Корт, выходящем на Карситор-стрит, торговец канцелярскими принадлежностями, мистер Снегсби, поставщик блюстителей закона, ведет свое дозволенное законом дело. Под сумрачной сенью Кукс-Корта, почти всегда погруженного в сумрак, мистер Снегсби торгует всякого рода бланками, потребными для судопроизводства, листами и свитками пергамента; бумагой – писчей, почтовой, вексельной, оберточной, белой, полубелой и промокательной; марками; канцелярскими гусиными перьями, стальными перьями, чернилами, резинками, копировальным угольным порошком, булавками, карандашами; сургучом и облатками; красной тесьмой и зелеными закладками; записными книжками, календарями, тетрадями для дневников и списками юристов; бечевками, линейками, чернильницами – стеклянными и свинцовыми; перочинными ножами, ножницами, шнуровальными иглами и другими мелкими металлическими изделиями, потребными для канцелярий, – словом, товарами столь разнообразными, что их не перечислить, и торгует он ими с тех пор, как отбыл срок ученичества и сделался компаньоном Пеффера. По этому случаю в Кукс-Корте произошла своего рода революция – новая вывеска, намалеванная свежей краской и гласившая: «Пеффер и Снегсби», заменила старую, с надписью «Пеффер» (только), освященную временем, но уже неразборчивую. Потому неразборчивую, что копоть – этот «плющ Лондона» – цепко обвилась вокруг вывески с фамилией Пеффера и прильнула к его жилищу, которое, словно дерево, сплошь обросло этим «привязчивым паразитом».

Самого Пеффера теперь в Кукс-Корте не видно. Да и нечего искать его здесь, ибо вот уже четверть столетия, как он покоится на кладбище Сент-Эндрью, близ Холборна, под грохот подвод и наемных карет, раздающийся весь день и половину ночи и подобный реву громадного дракона. Если в те часы, когда дракон спит, мертвец и вылезает проветриться, если он и гуляет по Кукс-Корту, пока его не заставит вернуться на кладбище кукареканье жизнерадостного петуха, который почему-то, – интересно знать, почему? – неизменно предчувствует рассвет, хотя обитает в погребке маленькой молочной на Карситор-стрит, а значит, не может иметь почти никакого представления о дневном свете, – если Пеффер и навещает когда-нибудь скудно освещенный Кукс-Корт, – чего ни один владелец писчебумажной лавки не может категорически отрицать, – то он приходит незримо, никому не мешая, и никто об этом не знает.

Когда Пеффер еще не отжил своего срока, а Снегсби семь долгих лет «отбывал срок ученичества», у Пеффера, в той же писчебумажной лавке, жила его племянница – низенькая, хитрая племянница, перетянутая, пожалуй, слишком туго, и с острым носом, напоминающим о резком холоде осеннего вечера, который тем холоднее, чем он ближе к концу. Жители Кукс-Корта поговаривают, будто маменька этой племянницы, побуждаемая слишком ревностной заботливостью о том, чтобы фигура ее дочки достигла совершенства, с детских лет шнуровала ее сама каждое утро, упершись своей материнской ногой в ножку кровати для большей устойчивости; а еще говорят, будто она заставляла дочь принимать целыми пинтами уксус и лимонный сок, каковые кислоты, по общему мнению, «ударили» в нос и характер пациентки.

Но какой бы из многих языков молвы ни породил эти вздорные слухи, они либо не дошли до ушей юного Снегсби, либо он пропустил их мимо ушей, а возмужав, посватался к обольстительному предмету этих слухов, получил согласие и заключил два союза сразу – и брачный, и коммерческий. Итак, мистер Снегсби и племянница покойного Пеффера совместно проживают теперь в Кукс-Корте, переулке, выходящем на Карситор-стрит, и племянница по-прежнему дорожит своей фигурой, да и как не дорожить? – ведь эта фигура, правда, быть может, и

не всем по вкусу, но, бесспорно, должна считаться драгоценной, хотя бы потому, что она так миниатюрна.

Мистер и миссис Снегсби, как муж и жена, считаются «единой плотью и кровью», а по мнению их соседей, и «единым голосом». Этот голос, впрочем звучащий из уст одной лишь миссис Снегсби, частенько слышен в Кукс-Корте. Мистера Снегсби же почти совсем не слышно, ибо чуть не все, что он хочет сказать, говорит за него своим сладостным голосом миссис Снегсби. Это смирный, лысый, робкий человек с блестящей плешью и крошечным пучком черных волос, торчащим на затылке. Он склонен к уступчивости и к полноте. Поглядите на него, когда он стоит на своем пороге в Кукс-Корте, одетый в серый рабочий сюртук с черными коленкоровыми нарукавниками, и созерцает облака или когда он стоит в своей полутемной лавке с тяжелой плоской линейкой в руках и разрезает пергамент ножницами или ножом в обществе двух своих «мальчиков» – подмастерьев, – поглядите на него только, сразу скажете, что это исключительно скромный, непритязательный человек. В такие часы из-под пола, на котором он стоит, словно из могилы визгливого призрака, мятущегося в гробу, нередко раздаются крики и вопли, выпускаемые тем самым голосом, о котором говорилось выше, и когда звуки эти становятся необычно пронзительными, мистер Снегсби говорит своим подмастерьям:

– Должно быть, это моя крошечка распекает Гусю!

Уменьшительное имя, упоминаемое в подобных случаях мистером Снегсби, не раз возбуждало остроумие кукушниковцев, отмечавших, что имя это больше подошло бы к самой миссис Снегсби, которая столь криклива, что ее закономерно и очень метко можно было бы прозвать «гусыней». Однако это имя принадлежит и, если не считать жалованья – пятьдесят шиллингов в год – да крошечного сундучка с тряпками, является единственной собственностью некоей тощей молодой девицы из работного дома (как полагают, ее окрестили Августой), которая еще подростком была взята на воспитание, а точнее – напрокат или в аренду, одним добродушным благодетелем, обитающим в Тутинге, и, значит, несомненно, росла и развивалась в самых благоприятных условиях, но тем не менее «подвержена припадкам», а почему – этого приходский совет никак не может понять.

Гусе года двадцать три – двадцать четыре, но выглядит она на добрых десять лет старше, жалованье получает ничтожное – из-за своего необъяснимого недуга – и так боится вновь попасть в лапы своего бывшего покровителя, что работает без передышки, кроме как в те часы, когда лежит, уткнувшись головой в бадью, в помойное ведро, в котел, в блюдо, приготовленное к обеду, – словом, в то, что было поблизости, когда ее «схватило». Ею довольны родители и опекуны подмастерьев мистера Снегсби, ибо нечего бояться, что она внушит нежные чувства юным сердцам; ею довольна миссис Снегсби, которая всегда имеет возможность уличить ее в какой-нибудь оплошности; ею доволен мистер Снегсби, убежденный, что держит ее у себя только из милости. В глазах же Гуси жилище торговца канцелярскими принадлежностями – это храм изобилия и блеска. Маленькую гостиную наверху, с которой, если можно так выразиться, никогда не снимают папилюток и передника, иначе говоря – чехлов, Гуся почитает самой роскошной комнатой во всем христианском мире. Вид, открывающийся из окон этой гостиной – с одной стороны на Кукс-Корт (и даже на кусочек Карситор-стрит), а с другой – на задний двор судебного исполнителя Ковинса, – кажется Гусе не имеющим себе равных по красоте. Висящие в этой гостиной написанные – и очень густо написанные – масляной краской портреты мистера Снегсби, взирающего на миссис Снегсби, и миссис Снегсби, взирающей на мистера Снегсби, в ее глазах – все равно что шедевры Рафаэля или Тициана. Итак, Гуся все-таки получает кое-какую награду за многие свои лишения.

Мистер Снегсби предоставил миссис Снегсби ведать всеми теми их делами, которые не имеют отношения к тайнствам его торгового предприятия. Она расходует деньги по своему усмотрению, бранится со сборщиками налогов, назначает время и место воскресных молений,

контролирует развлечения мистера Снегсби и не желает признавать себя ответственной за провизию, которую выбирает к обеду; поэтому ей завидуют жены во всем околотке, – то есть по обеим сторонам Канцлерской улицы на всем ее протяжении и даже за ее пределами, на Холборне, – и жены эти во время всех домашних сражений обычно просят своих мужей заметить, как отличается их (жен) положение от положения миссис Снегсби, а также их (мужей) поведение от поведения мистера Снегсби. Молва, которая, словно летучая мышь, вечно носится над Кукс-Кортом, шмыгая из окна в окно, утверждает, будто миссис Снегсби ревнива и въедливо-любопытна, а мистера Снегсби она изводит так, что ему иной раз приходится бежать вон из дому, и обладай он хотя бы мышиною храбростью, он бы этого не потерпел. Говорят даже, будто жены, которые ставят его в пример своим своевольным мужьям, сами в глубине души смотрят на него свысока, а больше всех его презирает некая госпожа, чей господин и повелитель не без основания заподозрен в том, что он иной раз «учит» свою супругу, причем орудием этого «учения» ему служит собственный зонт. Но все эти смутные слухи, быть может, возникли потому, что мистер Снегсби в своем роде человек скорее созерцательного и поэтического склада, – летней порой он не прочь прогуляться по Степл-Инну и отметить, что воробы и листва «выглядят совсем как в деревне»; а по воскресным дням он любит прохаживаться по Ролс-Ярду и (если он в хорошем расположении духа) разглагольствовать о том, что некогда были древние времена и чтоб ему провалиться, если под этой часовней не окажется парочки каменных гробов, стоит только копнуть поглубже. Далее, он тешит свое воображение мыслями о бесчисленных, уже усопших канцлерах, вице-канцлерах и государственных архивариусах и так остро ощущает прелесть сельской природы, рассказывая обоим подмастерьям о том, что некогда, как он слышал своими ушами, ручей «прозрачный, как «хрустальный», бежал посередине Холборна, а на Рогатке действительно была рогатка, и дорога оттуда пролегала прямо по лугам, – так остро ощущает прелесть сельской природы, что не испытывает никакого желания очутиться среди этой природы.

День подходит к концу, газ зажжен, но светит он не очень ярко, так как еще не совсем стемнело. Мистер Снегсби стоит у дверей своей лавки, взирая на облака, и видит поздно вылетевшую куда-то ворону, которая мчится на запад по кусочку неба, принадлежащему Кукс-Корту. Ворона пересекла Канцлерскую улицу и сад Линкольнс-Инна и теперь летит прямо на Линкольнс-Инн-Филдс – Линкольновы поля.

Здесь, в большом доме, некогда роскошном особняке, живет мистер Талкингхорн. Теперь особняк сдается внаем под юридические конторы, и в этих обшарпанных обломках его величия, как черви в орехах, засели юристы. Но просторные его лестницы, коридоры и вестибюли остались неизменными; сохранились и расписные потолки, в том числе потолок, на котором изображена некая «Аллегория» – воин в римском шлеме и небесно-голубой тоге, разлегшийся среди балюстрад, колонн, цветов, облаков и толстоногих младенцев и раздражающий зрителя до головной боли, что в той или иной степени, видимо, является целью всех Аллегорий. Здесь, среди своих многочисленных железных ящиков, на которых начертаны знатнейшие имена, всегда пребывает мистер Талкингхорн, если не считать тех дней, когда он гостит, помалкивая, но чувствуя себя как дома, в поместьях, где великие мира сего до смерти замучены скукой. Здесь он и нынче спокойно сидит за столом. Устрица старого закала, раковины которой никто не может открыть.

В сумерках этого вечера жилище его смахивает на него самого. И он, и оно обветшали, не гонятся за модой, не бросаются в глаза, – они могут позволить себе все это. Мистера Талкингхорна окружают тяжелые, старомодные, с широкими спинками, набитые волосом кресла красного дерева, сдвинуть которые нелегко; старинные столы с веретенообразными тонкими ножками, покрытые пыльными суконными скатертями; полученные в подарок гравированные портреты носителей громких титулов – и ныне здравствующих носителей, и их отцов. Толстый полинявший турецкий ковер устилает пол под столом, за которым сидит хозяин при свете двух

свечей в старомодных серебряных подсвечниках – свечей, слишком скудно освещающих эту большую комнату. Названия его книг на корешках скрыты переплетом; все, что можно запечатать, запечатано; нигде не видно ни одного ключа. На виду лишь две-три бумаги. На столе под рукой у мистера Талкинхорна лежит какая-то рукопись, но он на нее не смотрит. Вооружившись круглой крышкой от чернильницы и двумя кусочками сургуча, он молча и неторопливо старается решить какую-то еще не решенную задачу. Он кладет прямо перед собой то крышку от чернильницы, то кусочек красного сургуча, то кусочек черного. Нет, не то! Мистер Талкинхорн вынужден все смешать и начать сызнова.

Здесь, под расписным потолком с Аллегорией – изображенным в ракурсе римлянином, который пристально смотрит вниз и, кажется, вот-вот ринется на того, кто вторгся в его владения, тогда как тот не обращает на него никакого внимания, – здесь обитает мистер Талкинхорн и помещается его контора. У него нет служащих, если не считать человека средних лет во фраке с немного продранными локтями, который сидит на высоком деревянном диване в передней и лишь редко бывает слишком обременен работой. Мистер Талкинхорн не такой юрист, как все. Клерков ему не нужно. Он – великий хранитель чужих исповедей, с которыми надо обращаться бережно. Его клиенты нуждаются только *в нем самом*, и он сам делает для них все. Документы, которые ему нужно составить, составляются в Тэмпле специальными юристами по его тайным указаниям; точные копии, которые ему нужно снять, снимают в писчебумажной лавке, как бы дорого это ни обходилось. Человек средних лет, сидящий на деревянном диване, осведомлен о делах знати не больше, чем любой уличный метельщик на Холборне.

Кусочек красного сургуча, кусочек черного, крышка от чернильницы, крышка от другой чернильницы, маленькая песочница. Так! Это – в середину, это – направо, это – налево. Надо обязательно решить задачу, теперь или никогда... Теперь! Мистер Талкинхорн поднимается, поправляет очки, надевает цилиндр, кладет рукопись в карман, выходит из комнаты, говорит человеку средних лет во фраке с продранными локтями: «Я скоро вернусь» Он лишь очень редко говорит ему что-нибудь более определенное.

Мистер Талкинхорн направляется в ту сторону, откуда прилетела ворона, – не столь прямым путем, как она, но почти, – к переулку Кукс-Корту выходящему на Карситор-стрит. Идет он в лавку с вывеской: «Снегсби. Торговля канцелярскими принадлежностями; переписка крупным почерком и копировка документов; переписка всевозможных судебных бумаг...», и прочее, и прочее, и прочее.

Сейчас что-то около пяти или шести часов вечера, и в Кукс-Корте веет тонким благоуханием горячего чая. Веет им и у дверей мистера Снегсби. День тут начинается и кончается рано – обедают в половине второго, ужинают в половине десятого. Когда мистер Снегсби давеча выглянул на улицу и увидел запоздавшую ворону, он уже собирался спуститься в свое «подземелье», чтобы попить чайку.

– Хозяин дома?

Гуся сторожит лавку, так как подмастерья пьют чай вместе с мистером и миссис Снегсби; поэтому обе дочери портного – специалиста по судейским мантиям, – которые сейчас расчесывают свои локоны перед двумя зеркалами, за двумя окнами, во втором этаже дома напротив, никак не могут отвлечь обоих подмастерьев от работы, на что они обе лелеют надежду, но всего-навсего возбуждают ненужное им восхищение Гуси, чьи волосы не растут, никогда не росли и, по общему убеждению, никогда не будут расти.

– Хозяин дома? – спрашивает мистер Талкинхорн.

Хозяин дома, и Гуся сейчас сходит за ним. Гуся исчезает, радуясь случаю выбраться из лавки, ибо лавка эта вызывает в ее душе смешанное чувство страха и благоговения, представляясь ей каким-то складом устрашающих орудий жестокой пытки, которой суд подвергает тяжущихся, – местом, куда лучше не входить после того, как потушен газ.

Приходит мистер Снегсби, засаленный, распаренный, пахнувший «китайской травкой» и что-то жующий. Старается поскорей проглотить кусочек хлеба с маслом. Говорит:

– Вот так неожиданность, сэр! Да это мистер Талкингхорн!

– Хочу сказать вам несколько слов, Снегсби.

– Пожалуйста, сэр! Но, господа, сэр, почему вы не послали за мной вашего служителя? Извольте, сэр, пройти в заднюю комнату.

Снегсби моментально оживился.

Тесная комнатуха, вся пропахшая салом пергамента, служит и складом товаров, и конторой, и мастерской, где переписывают бумаги. Обежав ее взглядом, мистер Талкингхорн садится на табурет у конторки.

– Я насчет тяжбы «Джарндисы против Джарндисов», Снегсби.

– Да, сэр?

Мистер Снегсби зажигает газ и, скромно предвкушая барыш, кашляет в руку. Надо сказать, что мистер Снегсби, по робости характера, не любит много говорить и, чтобы избежать лишних слов, научился придавать самые разнообразные выражения своему кашлю.

– У вас на днях снимали для меня копии с некоторых свидетельских показаний по этому делу?

– Да, сэр, снимали.

– Одна из этих копий, – говорит мистер Талкингхорн (устрица старого закала, так крепко стиснувшая створки своей раковины, что никто не может ее открыть!) и небрежно ощупывает не тот карман, в какой сунул рукопись, – одна из этих копий переписана своеобразным почерком, и он мне понравился. Я шел мимо вас, подумал, что она при мне, и вот зашел спросить... но, оказывается, я не взял ее с собою. Все равно, когда-нибудь потом... А, вот она!.. Скажите, кто это переписывал?

– Кто переписывал, сэр? – повторяет мистер Снегсби, взяв рукопись и разгладив ее на пюпитре; потом берет ее левой рукой и сразу отделяет друг от друга все листы одним поворотом кисти, как умеют делать торговцы канцелярскими принадлежностями. – Мы отдали эту работу на сторону, сэр. Как раз тогда нам пришлось отдать много переписки на сторону. Я сию минуту скажу вам, кто переписывал это, сэр, – вот только посмотрю в торговой книге.

Мистер Снегсби берет книгу из несгораемого шкафа, снова старается проглотить кусок хлеба с маслом, который, должно быть, застрял у него в горле, и, косясь на копию свидетельских показаний, водит правым указательным пальцем по странице сверху вниз.

– Джуби... Пекер... Джарндис... Джарндис! Нашел, сэр, – говорит мистер Снегсби. – Ну конечно! Как это я запамятовал! Эту работу, сэр, сдали одному переписчику, который живет по соседству с нами, по ту сторону Канцлерской улицы.

Мистер Талкингхорн уже увидел запись в книге, – нашел ее раньше, чем мистер Снегсби, и успел прочесть за то время, пока указательный палец полз вниз по странице.

– Как его фамилия? Немо? – спрашивает юрист.

– Немо, сэр. Вот что у меня записано. Сорок два полулиста. Отданы в переписку в среду, в восемь часов вечера; получены в четверг, в половине десятого утра.

– Немо! – повторяет мистер Талкингхорн. – «Немо» по-латыни значит «никто».

– А по-английски это, вероятно, значит «некто», сэр, – вежливо объясняет мистер Снегсби, почтительно покашливая. – Это просто фамилия. Вот видите, сэр! Сорок два полулиста. Сдано: среда, восемь вечера; получено: четверг, половина десятого утра.

Уголкем глаза мистер Снегсби увидел голову миссис Снегсби, заглянувшей в дверь лавки, чтобы узнать, почему он сбежал во время чаепития. И мистер Снегсби кашляет в сторону миссис Снегсби, как бы желая ей объяснить: «Заказчик, душенька!»

– В половине десятого, сэр, – повторяет мистер Снегсби. – Наши переписчики, те, что занимаются сдельной работой, довольно-таки странные люди, и возможно, что это не настоя-

щая его фамилия; но так он себя называет. Теперь я припоминаю, сэр, что так он подписывается на рукописных объявлениях, которые расклеил в Рул-офисе, в Суде королевской скамьи, в камерах судей и прочих местах. Вам знакомы такого рода объявления, сэр: «Ищу работы...»?

Мистер Талкингхорн смотрит в окошко на задний двор судебного исполнителя Ковинса и на его освещенные окна. Столовая у Ковинса расположена в задней части дома, и тени нескольких джентльменов, попавших в переплет, переплетаясь, маячат на занавесках. Мистер Снегсби пользуется случаем чуть-чуть повернуть голову, взглянуть на свою «крошечку» через плечо и, еле шевеля губами, объяснить ей в свое оправдание, что это – «Тал-кинг-хорн... богатый... вли-я-тель-ный!»

– А раньше вы давали работу этому человеку? – спрашивает мистер Талкингхорн.

– Ну конечно, сэр. В том числе и ваши заказы.

– Как вы сказали, где он живет? Я задумался о более важных вопросах и прослушал.

– По ту сторону Канцлерской улицы, сэр. Говоря точнее, – мистер Снегсби снова делает плотательное движение, словно никак не может одолеть кусочек хлеба с маслом, – он снимает комнату у одного старьевщика.

– Можете вы немного проводить меня и показать этот дом?

– С величайшим удовольствием, сэр!

Мистер Снегсби снимает нарукавники и серый сюртук, надевает черный сюртук, снимает с вешалки свой цилиндр.

– А! Вот и моя женушка, – говорит он громко. – Будь добра, дорогая, прикажи мальчику присмотреть за лавкой, покуда я провожу на ту сторону мистера Талкингхорна. Позвольте представить вам миссис Снегсби, сэр... Я вернусь сию минуту, душенька!

Миссис Снегсби кланяется юристу, удаляется за прилавок, следит за спутниками из-за оконной занавески, крадется в заднюю комнатку, просматривает записи в книге, которая осталась открытой. Ее любопытство явно возбуждено.

– Дом, как вы сами увидите, сэр, очень уж неказистый, – говорит мистер Снегсби, почтительно уступив узкий мощный тротуар юристу и шагая по мостовой, – да и человек этот, то есть переписчик, тоже очень неказистый. Впрочем, все они какие-то дикие, сэр. Этот хорош хоть тем, что может совсем не спать. Прикажете, и он будет писать без передышки.

Теперь уже совсем стемнело, и газовые фонари горят ярко. Натываясь на клерков, спешащих отправить по почте дневную корреспонденцию, на адвокатов и поверенных, возвращающихся домой обедать, на истцов, ответчиков, всякого рода жалобщиков и толпу простых людей, чей путь вековая судебная мудрость перегородила миллионом препятствий и, мешая им выполнять их самые несложные будничные дела, заставляет этих людей вязнуть в трясине судов «общего права» и «справедливости» и в той родственной ей таинственной уличной грязи, которая создается неизвестно из чего и которой мы обрастаем неизвестно когда и как, – а мы вообще знаем о ней только то, что, когда ее накопится слишком много, мы считаем нужным ее отгрести, – натываясь на всех этих встречных, поверенный и владелец писчебумажной лавки подходят к лавке старьевщика – складу бросовых, никому не нужных товаров, – расположенной у стены Линкольнс-Инна и принадлежащей, как объясняет вывеска всем тем, кого это может интересовать, некоему Круку.

– Вот где он живет, сэр, – говорит торговец канцелярскими принадлежностями.

– Значит, вот где он живет? – равнодушно повторяет юрист. – Благодарю вас, до свиданья.

– Разве вы не хотите войти, сэр?

– Нет, спасибо, не хочу; я пройду прямо домой, на Линкольновы поля. Спокойной ночи. Благодарю вас!

Мистер Снегсби приподнимает цилиндр и возвращается к своей «крошечке» и своему чаю.

Но мистер Талкингхорн не идет домой на Линкольновы поля. Он проходит немного вперед, поворачивает назад, возвращается к лавке мистера Крук и входит в нее. В лавке темно; на подоконниках стоят две-три нагоревших свечи; старик хозяин с кошкой на коленях сидит в глубине комнаты у огня. Старик поднимается и, взяв нагоревшую свечу, идет навстречу гостю.

– Скажите, ваш жилец дома?

– Жилец или жилища, сэр? – переспрашивает мистер Крук.

– Жилец. Тот, что занимается перепиской.

Мистер Крук уже хорошо рассмотрел гостя. Он знает юриста в лицо. Имеет смутное представление о его аристократических связях.

– Вы хотите его видеть, сэр?

– Да.

– Я сам вижу его редко, – говорит мистер Крук, ухмыляясь. – Может, вызвать его сюда, вниз? Только вряд ли он придет, сэр!

– Тогда я поднимусь к нему, – говорит мистер Талкингхорн.

– Третий этаж, сэр. Возьмите свечу. Сюда, наверх!

Мистер Крук, стоя с кошкой на нижней ступеньке лестницы, смотрит вслед мистеру Талкингхорну.

– Ха! – бурчит он, когда мистер Талкингхорн уже почти исчез из виду.

Юрист смотрит вниз, перегнувшись через перила. Кошка, злобно разинув пасть, шипит на него.

– Брысь, Леди Джейн! Веди себя прилично при гостях, миледи! А вы знаете, что говорят о моем жильце? – шепчет Крук, поднимаясь на одну-две ступеньки.

– Что же о нем говорят?

– Говорят, будто он продал душу дьяволу; но мы-то с вами знаем, что это чушь – ведь тот ничего не покупает. И все-таки вот что я вам скажу: жилец мой такой мрачный, такой угрюмый человек, что он, чего доброго, мог бы пойти на подобную сделку. Не раздражайте его, сэр. Вот мой совет!

Кивнув головой, мистер Талкингхорн продолжает свой путь. Он подходит к темной двери на третьем этаже. Стучит, не получает ответа, открывает дверь и, открывая ее, нечаянно гасит свечу.

Впрочем, воздух в каморке такой спертый, что свеча могла бы и сама здесь погаснуть. Каморка тесная, почти черная от копоти, сажи и грязи. На ржавом остове каминной решетки, помятой в середине, – как будто сама Бедность вцепилась в нее когтями, – тускло рдеет красное пламя догорающего кокса. В углу у камина стоит дощатый сосновый стол со сломанным пюпитром – пустыня, испещренная пятнами от чернильного дождя. В другом углу потертый, старый чемодан лежит на одном из двух стульев, заменяя комод или гардероб; и, как он ни мал, большего, очевидно, не требуется – ведь и у этого стенки ввалились, как щеки голодающего. На полу ничего нет, если не считать старой полусгнившей циновки у камина, до того истоптанной, что веревка, из которой она сплетена, вся разлезлась. На окне нет занавесок, и ночную тьму прикрывают только облупившиеся ставни; они закрыты, и чудится, будто через две прорезанных в них узких дыры в комнату заглядывает голод, подобно фее, предвещающей смерть человеку на койке.

Да, против камина стоит низкая койка, на которой в беспорядке валяются грязное лоскутное одеяло, тощий тюфяк из полосатого тика и грубая холстинная простыня, и поверенный, нерешительно остановившийся в дверях, видит на этой койке человека. Человек лежит в рубашке и штанах; ноги у него босые. Лицо его кажется желтым при мертвенно-тусклом свете свечи, которая совсем оплыла, так что вокруг загнувшегося (но все еще тлеющего) фитиля выросло что-то вроде белой башенки. Волосы у человека растрепаны и спутались с бакенбар-

дами и бородой, борода тоже растрепанная и такая же запущенная, как и все вокруг. Каморка такая промозглая и затхлая, и воздух в ней такой промозглый и затхлый, что нелегко разобрать, какие запахи здесь больше всего терзают обоняние; но в тошнотворном спертom воздухе, насыщенном застоявшимся табачным дымом, юрист различает терпкий, приторный запах опиума.

– Эй, приятель! – окликает он человека и стучит железным подсвечником в створку двери.

Ему кажется, что он разбудил своего приятеля. Тот лежит, слегка повернувшись к стене, но глаза у него широко открыты.

– Эй, приятель! – снова окликает его юрист. – Эй, вы, проснитесь!

Он колотит по двери, а свеча, так долго оплывавшая, гаснет, оставляя его во тьме, и только узкие глаза ставен пристально смотрят на койку.

Глава XI

Возлюбленный брат наш

Поверенный стоит в темной комнате, не зная, как поступить, но вот кто-то прикасается к его морщинистой руке, и он, вздрогнув, спрашивает:

– Кто тут?

– Это я, – отвечает старик хозяин, дыша ему в ухо. – Ну что, не добились?

– Нет.

– А где же ваша свечка?

– Погасла. Вот она.

Крук, взяв у него из рук погасшую свечу, подходит к камину и, нагнувшись, старается зажечь ее о красные угольки, еще тлеющие в золе. Но они почти догорели, и фитиль не загорается. Окликнув жильца, но не получив ответа, он бормочет, что сейчас принесет зажженную свечу из лавки, и уходит. Мистер Талкингхорн, движимый какими-то новыми соображениями, решил не оставаться в комнате, пока не вернется хозяин, и выходит на площадку.

Вскоре желанный свет озаряет стены, – это Крук медленно поднимается по лестнице вместе со своей зеленоглазой кошкой, которая идет за ним следом.

– Он всегда так спит? – спрашивает юрист вполголоса.

– Ха! Не знаю, – отвечает Крук, качая головой и поднимая брови. – Я почти ничего о нем не знаю, – очень уж он нелюдимый.

Перешептываясь, они вместе входят в комнату. При свете свечи огромные глаза ставен тускнеют и как будто закрываются. Но не закрываются глаза человека на койке.

– Боже мой! – восклицает мистер Талкингхорн. – Да он умер!

Крук, приподнявший было тяжелую руку лежащего, мгновенно роняет ее, и она, упав, свешивается с койки.

С минуту они молча смотрят друг на друга.

– Пошлите за доктором! Позовите мисс Флайт, сэр, – она живет выше! Смотрите – у постели яд! Позовите же Флайт, будьте добры! – просит Крук, раскинув тощие руки и наклонившись над телом, словно летучая мышь с распростертыми крыльями.

Мистер Талкингхорн, выбежав на площадку лестницы, кричит:

– Мисс Флайт! Флайт! Скорей сюда, как вас там? Флайт!

Крук следит за ним глазами и, в то время как юрист зовет мисс Флайт, пользуется возможностью подкрасться к старому чемодану и потом прокрасться на прежнее место.

– Скорее, Флайт, скорее! Сбегайте за доктором! Бегите же! – торопит мистер Крук полумную старушку, свою жилицу, а та, мгновенно появившись и столь же мгновенно исчезнув, вскоре возвращается в сопровождении раздраженного медика, которому она помешала обедать, – мужчины с заметно потемневшей от нюхательного табака верхней губой и заметным шотландским акцентом.

– Эге! Вот так история! – говорит медик, быстро осмотрев тело и подняв глаза. – Да он мертв, как фараонова мумия!

Мистер Талкингхорн (стоя возле старого чемодана) спрашивает, когда именно этот человек скончался.

– Когда, сэр? – говорит медик. – Пожалуй, уже часа три тому назад.

– И мне так кажется, – подтверждает смуглый молодой человек, который только что пришел и стоит по ту сторону койки.

– А вы тоже доктор, сэр? – спрашивает первый медик.

Смуглый молодой человек отвечает утвердительно.

– Ну, так я уйду, – говорит тот, – потому что мне тут делать нечего!

И, закончив этими словами свой краткий визит, он уходит доедать обед.

Смуглый молодой врач водит свечой перед лицом переписчика, потом тщательно осматривает того, кто оправдал выбор своего псевдонима, действительно сделавшись Никем.

– Я хорошо знал его в лицо, – говорит молодой врач. – Последние полтора года он покупал у меня опиум. Может быть, кто-нибудь из вас ему сродни? – спрашивает он, оглядывая всех троих.

– Он снимал у меня комнату, – угрюмо отвечает Крук, взяв свечу, которую протянул ему врач. – Как-то раз он сказал мне, что у него нет родных, так что самый близкий ему человек – это я.

– Он умер от слишком большой дозы опиума, – говорит врач, – в этом сомневаться не приходится. Комната вся пропахла опиумом. Да вот еще сколько осталось, – добавляет он, взяв из рук мистера Крука чайник, – человек десять отравить можно.

– А как по-вашему, он это – нарочно? – спрашивает Крук.

– Принял слишком большую дозу?

– Да!

Крук чуть не чмокнул губами, так он смакует все происходящее, сгорая от отвратительного любопытства.

– Не могу сказать. По-моему, это маловероятно – ведь он привык к таким дозам. Но наверное знать нельзя. Очевидно, он очень нуждался?

– Очевидно. В комнате у него... не особенно богато, – говорит Крук, окинув каморку острыми глазами; а глаза у него сейчас точь-в-точь такие, как у его кошки. – Впрочем, я к нему сюда не заходил с тех пор, как он ее снял, а сам он был очень уж нелюдимый – никогда не говорил о себе.

– Он задолжал вам за квартиру?

– За шесть недель.

– Ну, этого долга он не заплатит, – говорит молодой человек, закончив осмотр. – Он и вправду мертв, как фараонова мумия, да оно, пожалуй, и лучше – смотрите, какой у него вид, как он жил... вот уж можно сказать – отмучился! А ведь в молодости он, наверное, вращался в хорошем обществе, может быть, даже был красавцем. – Сидя на краю койки, врач говорит все это сочувственным тоном, обернувшись к покойнику и положив руку ему на грудь. – Помнится, я как-то раз подумал, что он хоть и грубоват, а манеры у него как у светского человека, который скатился на дно. Так оно и было? – спрашивает он, оглядывая присутствующих.

Крук отвечает:

– Почему я знаю? Вы бы еще спросили меня о тех дамах, чьи волосы хранятся у меня внизу в мешках. Он полтора года квартировал у меня и жил – или не жил – перепиской, вот и все, что я о нем знаю.

Во время этого разговора мистер Талкингхорн, заложив руки за спину, стоит возле старого чемодана, явно не разделяя ни одного из трех разных чувств, которые владеют людьми, стоящими у койки, – ни профессионального интереса к смерти вообще, который испытывает молодой врач, независимо от того, что он говорит о покойнике; ни острого любопытства старика; ни ужаса полоумной старушки. Невозмутимое лицо юриста так же невыразительно, как его поношенный костюм. Трудно даже сказать, думал ли он в течение всего этого времени. Ничего нельзя заметить в его чертах – ни терпения, ни нетерпения, ни внимания, ни рассеянности. Видна только его внешняя оболочка. Однако легче судить о свойствах хорошего музыкального инструмента по его футляру, чем о свойствах мистера Талкингхорна по его футляру.

Но вот он вмешивается в разговор, обращаясь к молодому врачу, как всегда, спокойным профессиональным тоном.

– Я зашел сюда, – начинает он, – как раз перед тем, как пришли вы, потому что хотел дать покойному, которого вижу впервые, работу по переписке. Я слышал о нем от своего поставщика – от Снегсби, что имеет лавку в Кукс-Корте. Поскольку никто здесь ничего не знает об умершем, следует послать за Снегсби. А, это вы? – обращается он к полоумной старушке, которую часто видел в суде и которая сама часто видела его в суде, а теперь, перепуганная до того, что потеряла дар речи, мимикой предлагает пойти за торговцем канцелярскими принадлежностями. – Сходите-ка вы за ним!

В ее отсутствие врач, прекратив бесплодное исследование, покрывает тело лоскутным одеялом. Он обменивается несколькими словами с мистером Круком. Мистер Талкинхорн не говорит ничего, но не отходит от старого чемодана.

Мистер Снегсби быстро прибегает, не успев даже снять серый сюртук и черные нарукавники.

– Боже мой, боже мой, – лепечет он, – надо же было до этого дойти, а? Подумать только!

– Вы можете дать хозяину дома какие-нибудь сведения об этом несчастном, Снегсби? – спрашивает мистер Талкинхорн. – Он, кажется, остался должен за квартиру. И его, разумеется, нужно похоронить.

– Но, сэр, – отзывается мистер Снегсби, покашливая в руку с извиняющимся видом. – Я, право, не знаю, что посоветовать... вот разве только послать за приходским надзирателем.

– Не в советах дело, – говорит мистер Талкинхорн. – Совет мог бы дать и я...

– Конечно, сэр, кому и советовать, как не вам, – вставляет мистер Снегсби, покашливая почтительно.

– Дело в том, что вы, может быть, знаете что-нибудь о его родных, или о том, откуда он прибыл, или вообще о чем-нибудь таком, что имеет к нему отношение.

– Уверяю вас, сэр, – отвечает мистер Снегсби, умоляюще кашлянув, – о том, откуда он прибыл, я знаю не больше, чем о том...

– Куда он отбыл, – подсказывает врач, приходя ему на помощь.

Молчание. Мистер Талкинхорн смотрит на торговца. Мистер Крук, разинув рот, ожидает, чтобы кто-нибудь заговорил опять.

– А насчет его родных, сэр, – говорит мистер Снегсби, – то скажи мне кто-нибудь: «Снегсби, вот двадцать тысяч фунтов лежат для вас наготове в Английском банке, назовите только хоть одного его родственника» – и я не мог бы назвать ни одного, сэр! Года полтора назад, помнится, как раз в то время, когда он снял комнату здесь, у старьевщика...

– В это самое время, – подтверждает Крук, кивнув головой.

– Года полтора назад, – продолжает мистер Снегсби, ободренный поддержкой, – он пришел к нам как-то раз утром, после первого завтрака, застал мою крошечку (это я так называю миссис Снегсби) в лавке, показал ей образец своего почерка и объяснил, что ищет работы по переписке и, говоря напрямик, – излюбленное выражение мистера Снегсби, которое он всегда произносит с какой-то убедительной искренностью, как бы извиняясь за свою прямоту, – говоря напрямик, признался, что очень нуждается. Моя женушка вообще недолюбливает незнакомцев, особенно, говоря напрямик, если им что-нибудь нужно. Но этот человек ее почему-то растрогал, – то ли потому, что он давно не брился, то ли потому, что волосы у него были растрепаны, или еще по каким-нибудь там дамским соображениям, – не знаю, судите сами, – но так или иначе, она взяла у него и образец почерка, и адрес. Моя женушка плохо запоминает фамилии, – продолжает мистер Снегсби, снисходительно кашлянув в руку, – он сказал, что его зовут Немо, а она не расслышала и подумала, что Нимродом. И вот с тех пор все, бывало, твердит мне за обедом и завтраком: «Снегсби, что ж это ты еще не нашел работы для Нимрода!» или: «Снегсби, почему ты не дал Нимроду переписывать эти тридцать восемь полулистов из дела Джарндисов?» – и тому подобное. Ну вот, так он и начал мало-помалу выполнять сдельную работу для нас, и это все, что я о нем знаю, кроме того, что работал он

быстро и не отказывался от ночной работы, так что если, бывало, сдашь ему, скажем, сорок пять полулистов в среду вечером, так он принесет их в четверг утром. И все это, – заключает мистер Снегсби, почтительно указывая цилиндром на койку, – мой уважаемый знакомый, несомненно, подтвердил бы, если бы мог.

– Надо бы вам посмотреть, – обращается мистер Талкинхорн к Круку, – не осталось ли после него каких-нибудь бумаг; может быть, вам удастся что-нибудь узнать из них. О его смерти произведут дознание, и вас будут допрашивать. Вы грамотный?

– Нет, неграмотный, – отвечает старик и вдруг усмехается.

– Снегсби, – говорит мистер Талкинхорн, – осмотрите комнату вместо него. А не то он может попасть в беду, нажить себе неприятность. Я подожду, раз уж я здесь, – только не мешкайте, – а потом засвидетельствую, если потребуется, что обыск был произведен правильно, законным образом. Посветите мистеру Снегсби, любезный, а он быстро узнает, нет ли здесь чего-нибудь такого, что могло бы вам помочь.

– Во-первых, тут имеется старый чемодан, сэр, – говорит Снегсби.

А, верно, чемодан! Мистер Талкинхорн как будто не замечал его раньше, хотя стоит совсем рядом, а в каморке почти ничего больше нет.

Старьевщик держит свечу, торговец производит обыск. Врач прислонился к углу камина, мисс Флайт, трепеща, выглядывает из-за двери. Закаленный опытом старый юрист старого закала в тускло-черных коротких штанах, завязанных лентами у колен, в просторном черном жилете, в черном фраке со слишком длинными рукавами, в шейном платке, слабо свернутом мягким жгутом и завязанном узлом того особенного фасона, который так хорошо знаком всей знати, стоит на том же самом месте и в той же самой позе.

В старом чемодане лежат какие-то лохмотья; пачка квитанций ссудной кассы – этих расписок в получении проездных пошлин у застав на пути к Нищете; смятая бумажка, пахнущая опиумом, с нацарапанными на ней краткими записями, начатыми недавно, очевидно с намерением вести их регулярно, но скоро заброшенными: в такой-то день принято столько-то гранов, в такой-то – на столько гранов больше; несколько запачканных вырезок из газет с отчетами о дознаниях коронера по делам о смертях, вызванных неизвестной причиной; больше ничего нет. Обыскивают посудный шкаф и ящик забрызганного чернилами стола. Нигде нет ни обрывка старого письма или вообще бумаги, на которой было бы написано хоть слово. Молодой врач осматривает платье, в которое одет переписчик. Перочинный нож и несколько полупенсов – вот все, что он находит. Таким образом, предложение мистера Снегсби оказалось единственным разумным предложением, и решено вызвать приходского надзирателя.

Маленькая полоумная жилица отправляется за надзирателем, а все остальные выходят из каморки.

– Нельзя же оставлять здесь кошку! – говорит врач. – Это не годится!

Мистер Крук гонит кошку перед собой, а она крадется вниз, виляя гибким хвостом и облизываясь.

– До свидания! – говорит мистер Талкинхорн и возвращается домой к Аллегии и своим размышлениям.

Тем временем новость успела облететь весь переулок. Обыватели собираются кучками, чтобы обсудить происшествие, и высылают авангард разведчиков (главным образом мальчишек) к окнам мистера Крука, которые подвергаются осаде. Полисмен уже поднялся в комнату умершего и снова спустился, а теперь стоит, как башня, у входа в лавку, лишь изредка удостаивая взглядом мальчишек, копошащихся у его подножия; но стоит ему на них взглянуть, как они пугаются и отступают в замешательстве. Миссис Перкинс, которая несколько недель не разговаривала с миссис Пайпер, – ибо между ними возникли недоразумения из-за того, что маленький Перкинс «дал затрещину» маленькому Пайперу, – миссис Перкинс пользуется этим знаменательным случаем, чтобы возобновить дружеские отношения с соседкой. Молодой слуга

из уголовного трактира, привилегированный любитель полицейского искусства, по должности своей обязанный знать жизнь и порой расправляться с пьяницами, обменивается конфиденциальными сообщениями с полисменом, напустив на себя неуязвимый вид молодца, которого не смеют коснуться полицейские дубинки и которого нельзя забрать в полицейский участок. Люди, высунувшись из окон, переговариваются через переулок, и простоволосые разведчицы прибегают с Канцлерской улицы узнать, что случилось. По-видимому, все охвачены одним чувством – слава тебе господи, что не мистер Крук первый приказал долго жить, – но чувство это не лишено доли вполне понятного сожаления о том, что случилось так, а не наоборот. В разгаре этих волнений появляется приходский надзиратель.

Обычно во всем околотке приходского надзирателя считают ни на что не нужным должностным лицом, но сейчас он пользуется некоторой популярностью хотя бы уж потому, что скоро увидит мертвое тело. Полисмен смотрит на него, как на болвана-штатского, – на пережиток варварской эпохи уличных сторожей, – но все-таки разрешает войти этому официальному лицу, с которым приходится считаться, пока правительство не упразднит его должности. Волнение нарастает по мере того, как из уст в уста все дальше передаются слухи о том, что приходский надзиратель прибыл и вошел в дом.

Вскоре надзиратель выходит, снова возбуждая волнение обывателей, которые в его отсутствие несколько успокоились. Он объявляет, что для завтрашнего дознания требуются свидетели, которые могут сообщить коронеру и присяжным какие-либо сведения о покойном. Ему немедленно называют многочисленных свидетелей, которые ровно ничего не могут сообщить. Еще больше его сбивают с толку, то и дело твердя, что сын миссис Грин сам был «переписчиком судебных бумаг и знал покойника как свои пять пальцев», но по расследовании выясняется, что упомянутый сын миссис Грин сейчас находится на борту корабля, три месяца назад отплывшего в Китай; впрочем, снести с ним можно по телеграфу, испросив на то разрешения у адмиралтейства. Приходский надзиратель обходит все местные лавки и квартиры, чтобы допросить жителей, а войдя в какой-нибудь дом, всякий раз первым делом закрывает за собой дверь и доводит публику до исступления своей скрытностью, медлительностью и глупостью. Кто-то видел, как полисмен улыбнулся трактирному слуге. Интерес публики, ослабев, начинает переходить в равнодушие. Визгливыми ребячьими голосами она обвиняет приходского надзирателя в том, что он якобы сварил в котле какого-то мальчугана, и хором горланит отрывки из сложной на эту тему народной песенки, в которой поется, будто упомянутый мальчуган пошел на суп для работного дома. В конце концов полисмен находит нужным защитить честь блюстителя благочиния и хватает одного певца, с тем чтобы отпустить его не раньше, чем разбегутся все остальные, и – с обязательством убраться прочь отсюда, прочь! да поживей! – обязательством, которое тот немедленно выполняет. Итак, волнение на время улеглось, а невозмутимый полисмен (для которого немножко больше опиума, немножко меньше не имеет ровно никакого значения) – невозмутимый полисмен в блестящем шлеме, немнущемся, жестком мундире, стянутом крепким ремненным поясом, к которому прикреплены наручники, с толстой дубинкой в руке и прочими необходимыми для полицейского принадлежностями под стать перечисленным, тяжелой походкой неторопливо шагает дальше, похлопывая в ладоши руками в белых перчатках и время от времени останавливаясь на перекрестке посмотреть, не случилось ли какое-нибудь происшествие, начиная с пропажи ребенка и кончая убийством.

Приходский надзиратель, человек, не блещущий умом, носится под покровом ночи по Канцлерской улице с повестками, в которых фамилии всех присяжных перевертаны, а не перевертаны только фамилия самого надзирателя, которую, впрочем, никто не может прочесть, да и не желает знать. После того как повестки вручены и свидетели получили приказ явиться, приходский надзиратель направляется к мистеру Круку, чтобы встретиться у него, как было условлено, с какими-то нищими, которые вскоре приходят, а потом ведет их наверх, где они преподносят большим «глазам» в ставнях новый предмет для созерцания, а именно, то послед-

нее из земных жилищ, в которое предстоит вселиться тому, кто называл себя «Никто»... как, впрочем, и каждому смертному, кто бы он ни был.

И всю эту ночь гроб стоит наготове рядом со старым чемоданом, а на койке лежит одинокий человек, чей жизненный путь, продолжавшийся сорок пять лет, так же невозможно проследить, как путь брошенного ребенка.

Наутро в переулке жизнь бьет ключом – «сухая ярмарка», как выражается миссис Перкинс, которая уже окончательно наладила свои отношения с миссис Пайпер и завела дружескую беседу с этой достойной особой. Коронер будет заседать в зале на втором этаже трактира «Солнечный герб», где два раза в неделю устраиваются «Гармонические собрания любителей пения» под председательством некоего джентльмена, знаменитого музыканта, против которого всегда сидит исполнитель комических песен, Маленький Суиллс, выражающий надежду (как гласит вывешенное в окне объявление), что все его друзья соберутся вновь, сплотятся вокруг него и поддержат его выдающийся талант. Все это утро «Солнечный герб» торгует бойко. Под влиянием всеобщего возбуждения даже детвора чувствует потребность подкрепиться, и пирожник, расположившийся по этому случаю на углу переулка, говорит, что его ромовые пончики раскупают нарасхват. Между тем приходский надзиратель снует между лавкой мистера Крука и трактиром «Солнечный герб» и показывает вверенный его попечению интересный предмет немногим избранным, умеющим держать язык за зубами, а те в благодарность подносят ему стаканчик-другой эля.

В назначенный час прибывает коронер, которого уже ожидают присяжные и которому салютуют кегли, что с грохотом валятся на пол в превосходном сухом кегельбане, пристроенном к «Солнечному гербу». Никто так часто не бывает в трактирах, как коронер. Такая уж у него работа, что запахи опилок, пива, табачного дыма для него неотделимы от смерти в самых ужасных ее облициях. Приходский надзиратель и трактирщик провожают коронера в зал Гармонических собраний, где он, сняв цилиндр, кладет его на рояль и садится в кресло с решетчатой спинкой в конце длинного стола, который составлен из нескольких небольших столов, сдвинутых вместе и украшенных бесконечно переплетающимися липкими кругами от пивных кружек и стаканов. Тут же расселись присяжные, сколько их смогло поместиться за столом. Остальные располагаются между плевательницами и винными бочками или прислоняются к роялю. Над головой у коронера висит небольшое железное кольцо, прикрепленное к висячей ручке звонка, и кажется, будто это – петля, уготованная для почтенного вершителя правосудия.

Сделайте перекличку присяжным и приведите их к присяге! В то время как происходит эта церемония, снова возникает волнение, потому что в зал вошел толстощекий коротыш со слезящимися глазами и пылающим носом, в рубашке с широким отложным воротником и, войдя, скромно стал у дверей, как простой зритель, хотя этот зал, видимо, для него привычное место. В публике шепчутся, что это Маленький Суиллс. Как полагают некоторые, очень возможно, что он выучится передразнивать коронера и на этой теме построит главный номер программы Гармонического собрания сегодня вечером.

– Итак, джентльмены... – начинает коронер.

– Тише вы! – кричит приходский надзиратель. Он обращается не к коронеру, хотя могло показаться, что именно к коронеру.

– Итак, джентльмены, – снова начинает коронер, – вы включены в список присяжных и вызваны сюда, чтобы произвести дознание о смерти одного человека. В вашем присутствии будет произведено расследование обстоятельств этой смерти, и вы вынесете свой приговор, приняв во внимание... – кегли! слушайте, надзиратель, кегли долой! – свидетельские показания, а не что-либо другое. Первое, что надлежит сделать, это осмотреть тело.

– Эй, вы, дайте дорогу! – кричит приходский надзиратель.

И вот все выступают нестройной процессией, чем-то напоминающей похоронную, и осматривают заднюю комнатку на третьем этаже дома мистера Крука, откуда некоторые из

присяжных торопятся уйти и выходят, побледнев. Приходский надзиратель очень заботится о двух джентльменах, чьи манжеты и запонки не в полном порядке (он даже поставил для этой пары специальный столик в зале Гармонических собраний, поближе к коронеру), и всячески старается, чтобы они увидели все, что можно видеть. Старается потому, что это газетные репортеры, которые пишут отчеты о подобных дознаниях за построчный гонорар, а он, приходский надзиратель, не свободен от общечеловеческих слабостей и надеется прочесть в газетах о том, что сказал и сделал «Муни, расторопный и сметливый приходский надзиратель этого квартала»; больше того, он жаждет, чтобы фамилия «Муни» так же часто и благожелательно упоминалась в прессе, как, судя по недавним примерам, упоминается фамилия палача.

Маленький Суиллс ждет возвращения коронера и присяжных. Ждет их и мистер Талкингхорн. Мистера Талкингхорна принимают с особенным почетом и сажают рядом с коронером, – между этим маститым вершителем правосудия, бильярдом и ящиком для угля. Дознание продолжается. Присяжные узнают о том, как умер объект их расследования, но больше ничего о нем не узнают.

– Джентльмены, – говорит коронер, – здесь присутствует весьма известный поверенный, который, как мне доложили, случайно оказался среди тех, кто обнаружил мертвое тело; но он может только повторить показания врача, домохозяина, жилицы и владельца писчебумажной лавки, уже выслушанные вами, следовательно, нет необходимости его беспокоить. Известно ли кому-нибудь из присутствующих еще что-либо?

Миссис Перкинс толкает вперед миссис Пайпер. Миссис Пайпер приводят к присяге.

– Анастасия Пайпер, джентльмены. Замужняя. Итак, миссис Пайпер, что вы можете сказать по этому поводу?

Ну что ж, миссис Пайпер может сказать многое – главным образом в скобках и без знаков препинания, – но сообщить она может немного. Миссис Пайпер живет в этом переулке (где муж ее работает столяром), и все соседи были уверены уже давно (можно считать с того дня, который был за два дня до крещения Александра Джеймса Пайпера, а крестили его, когда ему было полтора годика и четыре дня, потому что не надеялись, что он выживет, так страдал ребенок от зубок, джентльмены), соседи давно уже были уверены, что потерпевший, – так называет миссис Пайпер покойного, – по слухам, продал свою душу. Она думает, что слухи распространились потому, что вид у потерпевшего был какой-то чудной. Она постоянно встречала потерпевшего и находила, что вид у него свирепый и его нельзя подпускать к малышам, потому что некоторые малыши очень пугливы (а если в этом сомневаются, так она надеется, что можно допросить миссис Перкинс, которая здесь присутствует и может поручиться за миссис Пайпер, за ее мужа и за все ее семейство). Видела, как потерпевшего изводила и дразнила детвора (дети, они и есть дети – что с них возьмешь? – и нельзя же ожидать, особенно если они шаловливые, чтоб они вели себя какими-то Мафузилами, какими вы сами не были в детстве). По этой причине, а также из-за его мрачного вида, ей часто снилось, будто он вынул из кармана острую кирку и раскроил голову Джонни (хотя мальчуган прямо бесстрашный и не раз дразнил его, гоняясь за ним по пятам). Однако она ни разу не видела наяву, чтобы потерпевший вытаскивал кирку или какое другое оружие, – уж чего не было, того не было. Видела, как он спешил уйти подобра-поздорову, когда за ним бежали ребятишки и улюлюкали ему вслед, – надо думать, он не любил ребят, – и никогда не видела, чтоб он разговаривал с ребенком или взрослым (если не считать того мальчика, что подметает перекресток на Канцлерской улице, вон там напротив, за углом, а будь он здесь, он бы вам сказал, что люди видали, как он частенько разговаривал с потерпевшим).

Коронер спрашивает:

– Мальчик здесь?

Приходский надзиратель отвечает:

– Нет, сэр, его здесь нет.

Коронер говорит:

– Так ступайте и приведите его сюда.

В отсутствие «расторопного и сметливого» приходского надзирателя коронер беседует с мистером Талкинхорном.

А! вот и мальчик, джентльмены!

Вот он здесь, очень грязный, очень охрипший, очень оборванный. Ну, мальчик!.. Но нет, погодите. Осторожней. Мальчику надо задать несколько предварительных вопросов.

Зовут – Джо. Так и зовут, а больше никак. Что все имеют имя и фамилию, он не знает. Никогда и не слыхивал. Не знает, что «Джо» – уменьшительное от какого-то длинного имени. С него и короткого хватит. А чем оно плохо? Сказать по буквам, как оно пишется? Нет. Он по буквам сказать не может. Отца нет, матери нет, друзей нет. В школу не ходил. Местожительство? А что это такое? Вот метла, она и есть метла, а врать нехорошо, это он знает. Не помнит, кто ему говорил насчет метлы и вранья, но так оно и есть. Не может сказать в точности, что с ним сделают после смерти, если он сейчас соврет этим джентльменам, – должно быть, очень строго накажут, да и поделом... – так что он скажет правду.

– Ничего не выйдет, джентльмены! – говорит коронер, меланхолически покачивая головой.

– Вы полагаете, что не стоит слушать его показания, сэр? – спрашивает какой-то внимательный присяжный.

– Безусловно, – отвечает коронер. – Вы слышали, как выразился мальчик? «Не могу сказать в точности», а этак не годится, знаете ли. *Подобные* показания суду не нужны, джентльмены. Потрясающая испорченность. Уведите мальчика.

Мальчика уводят, производя этим огромное впечатление на слушателей, особенно на Маленького Суиллса, исполнителя комических песенок.

Далее. Имеются другие свидетели? Других свидетелей не имеется.

Итак, джентльмены! Перед нами неизвестный человек, который, как уже доказано, полтора года регулярно принимал опиум большими дозами и был найден умершим от того, что принял слишком много опиума. Если вы, по вашему мнению, располагаете доказательствами, которые могут привести вас к заключению, что он покончил с собой, вы придете к этому заключению. Если вы полагаете, что смерть произошла от несчастной случайности, вы вынесете соответственный приговор.

Приговор выносят соответственный. Смерть произошла от несчастной случайности. Сомнений нет. Джентльмены, вы свободны. До свидания.

Застегивая пальто, коронер вместе с мистером Талкинхорном частным образом выслушивает показания отвергнутого свидетеля, забывшегося в уголок.

Несчастный помнит только, что покойника (которого он только что видел и узнал по желтому лицу и черным волосам) иногда дразнили и гнали по улицам. Помнит, что как-то раз, студеным, зимним вечером, когда он, Джо, дрожал от холода у какого-то подъезда, неподалеку от своего перекрестка, человек оглянулся, повернул назад, расспросил его и, узнав, что у него нет на свете ни единого друга, сказал: «У меня тоже нет. Ни единого!» – и дал ему денег на ужин и ночлег. Помнит, что с тех пор человек часто с ним разговаривал и спрашивал, крепко ли он спит по ночам, и как переносит голод и холод, и не хочется ли ему умереть, и задавал всякие другие столь же странные вопросы. Помнит, что, когда у человека не было денег, он, проходя мимо, говорил: «Сегодня я такой же бедный, как ты, Джо»; когда же у него были деньги, он всегда был рад (в это Джо верит всем сердцем), – всегда был рад поделиться с ним.

– Очень уж он жалел меня, – говорит мальчик, вытирая глаза оборванным рукавом. – Поглядел я давеча, как он лежит вытянувшись – вот так, – и думаю: что бы ему услыхать, как я ему говорю про это. Очень уж он жалел меня, очень!

Джо спускается с лестницы, волоча ноги, а мистер Снегсби, поджидавший его, сует ему в руку полкроны.

– Если ты увидишь, что я перехожу твой перекресток со своей крошечкой – то есть с одной дамой, – говорит мистер Снегсби, прикладывая палец к носу, – смотри не вздумай сказать, что я дал тебе денег!

Некоторое время присяжные слоняются по «Солнечному гербу», болтая о том о сем. Наконец несколько человек совсем пропадают в табачном дыму, заполнившем зал «Солнечного герба», двое направляются в Хэмпстед, а четверо стовариваются пойти в театр по контрамаркам и закончить вечер устрицами. Маленького Суиллса усердно потчуют. На вопрос, что он думает о событиях дня, Маленький Суиллс отвечает (как всегда хлестко), что это «сногшибательный случай». Хозяин «Солнечного герба», заметив, как популярен сегодня Маленький Суиллс, горячо рекомендует его присяжным и публике, подчеркивая, что в характерных песенках он не имеет себе равных, а характерных костюмов у него целый воз.

Итак, «Солнечный герб» постепенно исчезает во мраке ночи, а потом снова возникает, вспыхивая яркими огнями газовых рожков. Наступает час Гармонического собрания, и знаменитый музыкант занимает председательское место, против него лицом (красным лицом) к лицу располагается Маленький Суиллс, а их друзья, собравшись вновь, сплотились вокруг них и поддерживают выдающийся талант. В разгаре вечера Маленький Суиллс объявляет:

– Джентльмены, с вашего позволения, я попытаюсь представить короткую сцену из действительной жизни, разыгравшуюся здесь сегодня.

Его награждают громкими аплодисментами и возгласами одобрения; он выходит Суиллсом, возвращается коронером (ничуть не похожим на оригинал); изображает в лицах Дознание, а рояль для приятного разнообразия аккомпанирует припеву:

«Он... – (то есть коронер) – ведь типпи-тол-ли-долл, он ведь типпи-тол-ло-долл, он ведь типпи-тол-ли-долл. Ди!»

Наконец дребезжащий рояль умолкает, и «Гармонические друзья» собираются вновь положить свои головы на подушки. Тогда покой нисходит на одинокое тело, уже вселенное в последнее из своих земных жилищ, и узкие глаза ставен смотрят на него в течение всех тихих часов ночи. Если бы в те дни, когда этот несчастный еще младенцем лежал, как в гнездышке, в объятиях своей матери, подняв глазки на ее любящее лицо, цепляясь за ее шею и неумело стараясь обвить ее мягкими ручонками, – если бы в те дни его мать могла видеть в пророческом видении, как он сейчас лежит здесь, она не поверила бы видению! О, если в более счастливые дни в душе его пылал огонь, теперь угасший, – огонь любви к той женщине, которая любила его, где же эта женщина теперь, когда останки его еще не зарыты в землю?

Ночь в доме мистера Снегсби в Кукс-Корте проходит отнюдь не спокойно – Гуся никому не дает спать, ибо, как выражается мистер Снегсби, говоря напрямик, – «не успеет она оправиться от одного припадка, как забьется в другом и так доходит чуть не до двадцати». А «схватило» ее потому, что она одарена нежным сердцем и еще чем-то очень впечатлительным, что, возможно, превратилось бы в воображение, если бы в ее жизни не было Тутинга и благодетеля. Чем бы это ни было, но за чаем оно было так жестоко потрясено отчетом мистера Снегсби о дознании, происходившем в его присутствии, что, когда сели ужинать, Гуся внезапно метнулась в кухню, выронив голландский сыр, который с быстротой «Летучего Голландца» попал туда же, опередив ее, и забилась в необычайно длительном припадке, а когда оправилась от него, забилась в другом припадке, потом в третьем, в четвертом... да так и промучилась всю ночь с короткими промежутками, которыми пользовалась, чтобы страстно упрашивать миссис Снегсби не увольнять ее, когда она «совсем очнется», и убеждать всех домочадцев уложить ее на каменный пол и отправиться спать. Поэтому, услышав наконец как в маленькой молочной на Карситор-стрит петух пришел в бескорыстный экстаз от того, что настал рассвет, мистер Снегсби, хоть он и терпеливейший из людей, глубоко вздыхает и говорит с облегчением:

– Я уж думал, что он околел, право!

Какой вопрос решает эта охваченная энтузиазмом птица, напрягаясь до такой степени, и почему ей нужно кричать так громко о том, что ее никак не касается (впрочем, люди на разных публичных торжествах кричат так же), это уж ее дело. Достаточно того, что наступает рассвет, наступает утро, наступает полдень.

Тогда «расторопный и сметливый» приходский надзиратель, как пишут о нем в утренних газетах, приходит со своей компанией нищих к мистеру Круку и уносит тело новопреставленного возлюбленного брата нашего на затиснутое в закоулок кладбище, зловонное и отвратительное, источник злокачественных недугов, заражающих тела возлюбленных братьев и сестер наших, еще не представившихся, в то время как возлюбленные братья и сестры наши, торчащие на черных лестницах власть имущих – о, если бы представились *они!* – так прекрасодушны и любезны. На скверный клочок земли, который турок отверг бы как ужасающую мерзость, при виде которого содрогнулся бы кафр, приносят нищие новопреставленного возлюбленного брата нашего, чтобы похоронить его по христианскому обряду.

Здесь, на кладбище, которое со всех сторон обступают дома и к железным воротам которого ведет узкий зловонный крытый проход, – на кладбище, где вся скверна жизни делает свое дело, соприкасаясь со смертью, а все яды смерти делают свое дело, соприкасаясь с жизнью, – зарывают на глубине одного-двух футов возлюбленного брата нашего; здесь сеют его в тлении, чтобы он поднялся в тлении – призраком возмездия у одра многих болящих, постыдным свидетельством будущим векам о том времени, когда цивилизация и варварство совместно вели на поводу наш хвастливый остров.

Внемли, ночь, внемли, тьма: тем лучше будет, чем скорей вы придете, чем дольше останетесь в таком месте, как это! Внемлите, редкие огни в окнах безобразных домов, а вы, творящие в них беззаконие, творите его, хотя бы отгородившись от этого грозного зрелища! Внемли, пламя газа, так угрюмо горящее над железными воротами, в отравленном воздухе, что покрыл их колдовской мазью, слизистой на ощупь! К каждому прохожему взывай: «Загляни сюда!»

Вместе с ночью приходит какое-то неуклюжее существо и крадется по дворовому проходу к железным воротам. Вцепившись в прутья решетки, заглядывает внутрь; две-три минуты стоит и смотрит.

Потом тихонько метет старой метлой ступеньку перед воротами и очищает весь проход под сводами. Метет очень усердно и тщательно, снова две-три минуты смотрит на кладбище, затем уходит.

Джо, это ты? Так-так! Хоть ты и отвергнутый свидетель, неспособный «сказать в точности», что сделают с тобой руки, более могущественные, чем человеческие, а все-таки ты не совсем погряз во мраке. В твое неясное сознание, очевидно, проникает нечто вроде отдаленного луча света, ибо ты бормочешь: «Очень уж он жалел меня, очень!»

Глава XII

Настороже

Дожди наконец-то перестали идти в Линкольншире, и Чесни-Уолд воспрянул духом. Миссис Раунсуэлл хлопочет, ожидая гостей, потому что сэр Лестер и миледи едут домой из Парижа. Великосветская хроника уже разнюхала это и утешает радостной вестью омраченную Англию. Она разнюхала также, что сэр Лестер и миледи намерены принимать избранный и блестящий круг *«сливок бомонда»* (великосветская хроника слаба в английском языке, но, подкрепившись французским, обретает титаническую силу) в своем древнем и гостеприимном родовом поместье в Линкольншире.

В знак уважения к избранному и блестящему кругу, а попутно и к самому Чесни-Уолду, обвалившийся мост в парке исправлен, а река вернулась в свои берега и, вновь перекрытая изящной аркой, выглядит очень эффектно, когда на нее смотришь из дома. Холодный, ясный, солнечный свет заглядывает в промерзшие до хрупкости леса и с удовлетворением видит, как резкий ветер разбрасывает листья и сушит мох. Целый день свет скользит по парку за бегущими тенями облаков, пытается их догнать и не может. Он проникает в окна и кладет на портреты предков яркие полосы и блики, которые вовсе не входили в замыслы художников. На портрет миледи, висящий над огромным камином, он бросает широкую яркую полосу, скошенную влево, как перевязь на гербе внебрачных детей, и полоса эта, изламываясь, ложится на стенку каминной ниши, словно стремясь рассечь ее надвое.

В столь же холодный солнечный день, в столь же ветреную погоду миледи и сэр Лестер в дорожной карете (камеристка миледи и любимый камердинер сэра Лестера – на запятках) трогаются в обратный путь на родину. Под громкий звон бубенчиков и шелканье бичей пара неоседланных коней и пара кентавров в лакированных шляпах и ботфортах, с развевающимися гривами и хвостами, рьяно рвутся вперед, вывозя грохочущую карету со двора отеля «Бристоль» на Вандомской площади, скачут между исполосованной светом и тенью колоннадой улицы Риволи и садом рокового дворца обезглавленных короля и королевы, мчатся по площади Согласия и Елисейским Полям и, проехав под Триумфальной аркой на площади Звезды, выезжают из Парижа.

Сказать правду, чем быстрее они мчатся, тем лучше, ибо даже в Париже миледи соскучилась до смерти. Концерты, балы, опера, театр, катанье – все это старо; да и ничто не ново для миледи под одряхлевшими небесами. Не далее как в прошлое воскресенье, когда беднота веселилась и внутри городских стен, – играя с детьми среди статуй и подстриженных деревьев Дворцового сада, гуляя группами человек в двадцать по Елисейским (что значит – «райским») Полям, которые казались в тот день еще более райскими благодаря каруселям и дрессированным собакам, или изредка заходила (в очень небольшом числе) в сумрачный собор Парижской Богоматери, чтобы прошептать краткую молитву у подножья колонны, озаренной трепещущим пламенем тонких восковых свечек в похожем на рашпер ржавом подсвечнике; когда беднота веселилась и за городскими стенами, окружая Париж кольцом танцевальных вечеринок, любовных приключений, выпивок, табачного дыма, поминовения усопших на кладбищах, бильярдных партий, карточных игр, состязаний в домино, шарлатанства и бесчисленных зловредных отбросов, одушевленных и неодушевленных, – не дальше как в прошлое воскресенье миледи, подавленная безысходной Скукой и томясь в лапах Гиганта Отчаяния, почти ненавидела свою собственную камеристку за то, что та была в хорошем настроении.

И миледи не терпится уехать из Парижа. Душевная тоска осталась у нее позади, но ждет ее и впереди, – ее злой гений опоясал тоской весь земной шар, и пояс этот нельзя расстегнуть; остается лишь одно, впрочем несовершенное, средство спастись – бежать из того места, где она

тосковала. Отбросить Париж назад, вдаль, и сменить его на бесконечные аллеи по-зимнему безлистных деревьев, пересеченные другими бесконечными аллеями! И напоследок взглянуть на него, уже отъехав на несколько миль, когда Триумфальная арка на площади Звезды будет казаться всего лишь белым пятнышком, сверкающим на солнце, а город – просто холмиком на равнине со вздымающимися над ним двумя темными прямоугольными башнями, со светом и тенью, наклонно слетающими к нему, как ангелы в сновидении Иакова!

Сэр Лестер, тот обычно доволен жизнью и потому скучает редко. Когда ему нечего делать, он может размышлять о своей знатности. А как это приятно, когда то, о чем размышляешь, неистошимо! Прочитав полученные письма, сэр Лестер откидывается на спинку сиденья в углу кареты и предается размышлениям, главным образом – о том, как велико его значение для общества.

– Сегодня утром вы, кажется, получили особенно много писем? – говорит миледи после долгого молчания.

Ей надоело читать – ведь за перегон в двадцать миль она успела прочесть чуть не целую страницу.

– Но в письмах нет ничего интересного... решительно ничего.

– Я, помнится, видела среди них письмо от мистера Талкинхорна – длинейшее послание, какие он всегда пишет.

– Вы видите все, – отзывается сэр Лестер в восхищении.

– Ах, он скучнейший человек на свете! – вздыхает миледи.

– Он просит, – очень прошу извинить меня, – он просит, – говорит сэр Лестер, отыскав письмо и развернув его, – передать вам... Когда я дошел до постскриптума, мы остановились сменить лошадей, и я позабыл про письмо. Прошу прощения. Он пишет... – Сэр Лестер так медлительно достает и прикладывает к глазам лорнет, что это слегка раздражает миледи. – Он пишет: «Относительно дела о праве прохода...» Простите, пожалуйста, это не о том. Он пишет... Да! Вот оно, нашел! Он пишет: «Прошу передать мой почтительный поклон миледи и надеюсь, что перемена места принесла ей пользу. Не будете ли Вы так любезны сказать ей (ибо это ей, вероятно, будет интересно), что, когда она вернется, я смогу сообщить ей кое-что о том человеке, который переписывал свидетельские показания, приобщенные к делу, которое разбирается в Канцлерском суде, и столь сильно возбудившие ее любопытство. Я его видел».

Миледи наклонилась вперед и смотрит в окно кареты.

– Вот что он просит передать, – говорит сэр Лестер.

– Я хочу немного пройтись пешком, – роняет миледи, не отрываясь от окна.

– Пешком? – переспрашивает сэр Лестер, не веря своим ушам.

– Я хочу немного пройтись пешком, – повторяет миледи так отчетливо, что сомневаться уже не приходится. – Остановите, пожалуйста, карету.

Карета останавливается; любимый камердинер соскакивает с запяток, открывает дверцу и откидывает подножку, повинувшись нетерпеливому жесту миледи. Миледи выходит так быстро и удаляется так быстро, что сэр Лестер, при всей своей щепетильной учтивости, не успевает помочь ей и отстает. Минуты через две он ее нагоняет. Очень красивая, она улыбается, берет его под руку, не спеша идет с ним вперед около четверти мили, говорит, что это ей до смерти наскучило, и снова садится на свое место в карете.

Целых три дня грохот и дребезжанье раздаются почти непрерывно под аккомпанемент более или менее громкого звона бубенчиков и шелканья бичей, а кентавры и неоседланные кони с большим или меньшим усердием продолжают рваться вперед. Сэр Лестер и миледи так изысканно вежливы друг с другом, что в отелях, где они останавливаются, это вызывает всеобщее восхищение.

– Милорд, правда, староват для миледи, – говорит мадам, хозяйка «Золотой обезьяны», – в отцы ей годится, – но с первого взгляда видно, что они любящие супруги.

Подмечено, что милорд обнажает свою убеленную сединами голову, когда помогает миледи выйти из кареты или усаживает ее в карету. Подмечено, что миледи благодарит милорда за почтительное внимание, наклоня прелестную головку и подавая супругу свою столь изящную ручку! Восхитительно!

Море не ценит великих людей – качает их, как и всякую мелкую рыбешку. Оно всегда жестоко обращается с сэром Лестером, чье лицо покрывается зеленоватыми пятнами, подобными плесени на сдобренном шалфеем сыре-чеддере, и в чьем аристократическом организме происходит гнетущая революция. Сэру Лестеру море представляется «оппозиционером» в Природе. Тем не менее сознание своей родовитости помогает баронету прийти в себя после остановки для отдыха, и он вместе с миледи едет дальше, в Чесни-Уолд, пролежав лишь одну ночь в Лондоне по дороге в Линкольншир.

В столь же холодный солнечный день, – который становится все более холодным, по мере того как склоняется к вечеру, – в столь же ветреную погоду, – которая становится все более ветреной, по мере того как отдельные тени безлистных деревьев в лесу все больше сливаются в сумраке, а Дорожка призрака, западный конец которой еще озарен пламенем небесного костра, готовится исчезнуть в ночном мраке, – они въезжают в парк. Грачи, покачиваясь в своих высоких жилищах на вязовой аллее, должно быть, решают вопрос – кто же это сидит в карете, проезжающей под деревьями; причем одни сходятся на том, что это сэр Лестер и миледи едут домой; другие спорят с недовольными, которые не желают этого признать; одно время все соглашались, что решение вопроса следует отложить; потом снова заводят яростные споры, подстрекаемые какой-то упрямой и заспанной птицей, которая всем противоречит и жаждет, чтобы за ней осталось последнее карканье. Так они качаются на ветках и каркают, а дорожная карета подкатывает к дому, где в нескольких окнах тепло светятся огни, хоть этих освещенных окон не так много, чтобы придать жилой вид громадному темнеющему фасаду. Впрочем, жилой вид он примет скоро, – когда в Чесни-Уолд съедется избранный и блестящий круг.

Миссис Раунсуэлл находится на своем посту и отвечает на освященное обычаем рукопожатие сэра Лестера глубоким реверансом.

– Как поживаете, миссис Раунсуэлл? Рад вас видеть.

– Имею честь приветствовать вас, сэр Лестер, и надеюсь, что вы в добром здравье!

– В отменнейшем здравье, миссис Раунсуэлл.

– Миледи выглядит прекрасно, донельзя очаровательно, – говорит миссис Раунсуэлл и снова приседает.

Миледи коротко дает понять, что она чувствует себя прекрасно, только донельзя утомлена.

Но поодаль, сзади домоправительницы, стоит Роза, и миледи, которая хоть и победила в себе многое в борьбе с собой, но еще не притупила своей острой наблюдательности, спрашивает:

– Кто эта девушка?

– Это моя молоденькая ученица, миледи... ее зовут Роза.

– Подойди поближе, Роза! – Леди Дедлок подзывает девушку знаком и, кажется, даже проявляет к ней некоторый интерес. – А ты знаешь, дитя мое, какая ты хорошенькая? – говорит она, дотрагиваясь до плеча девушки двумя пальцами.

Роза, очень смущенная, отвечает: «Нет, с вашего позволения, миледи!» – и то поднимает глаза, то опускает, не зная, куда их девать, но еще больше хорошеет.

– Сколько тебе лет?

– Девятнадцать, миледи.

– Девятнадцать, – повторяет миледи задумчиво. – Берегись, как бы тебя не избаловали комплиментами.

– Слушаю, миледи.

Миледи, потрепав ее по щеке с ямочкой своими изящными, затянутыми в перчатку пальчиками, направляется к дубовой лестнице, у которой дожидается сэр Лестер, чтобы порыцарски проводить супругу наверх. Древний Дедлок, написанный в натуральную величину на панно, такой же тучный, каким был при жизни, и такой же скучный, смотрит со стены, выпучив глаза, словно не знает, что и подумать; впрочем, он и во времена королевы Елизаветы, должно быть, неизменно пребывал в недоумении.

В этот вечер в комнате домоправительницы Роза только и делает, что расточает хвалы леди Дедлок. Она такая приветливая, такая изящная, такая красивая, такая элегантная, у нее такой нежный голос и такая мягкая ручка, что Роза до сих пор ощущает ее прикосновение! Миссис Раунсуэлл, не без личной гордости, соглашается с нею во всем, кроме одного, – что миледи приветлива. В этом миссис Раунсуэлл не вполне уверена. Она никогда ни единым словом не осудит ни одного из членов этого достойнейшего семейства, – боже сохрани! – и особенно миледи, которой восхищается весь свет; но если бы миледи была «немножко более свободной в обращении», не такой холодной и отчужденной, она, по мнению миссис Раунсуэлл, была бы более приветливой.

– Я почти готова пожалеть, – добавляет миссис Раунсуэлл (только «почти», ибо в такой благодати, как семейная жизнь Дедлоков, все обстоит как нельзя лучше, и думать, что это не так, граничит с богохульством), – я почти готова пожалеть, что у миледи нет детей. Вот, скажем, будь у миледи дочь, теперь уже взрослая молодая леди, миледи было бы о ком заботиться, а тогда, мне кажется, она обладала бы и тем единственным качеством, которого ей теперь не хватает.

– А вам не кажется, бабушка, что тогда она стала бы еще более гордой? – говорит Уот, который съездил домой, но быстро вернулся – вот какой он любящий внук!

– «Еще более» и «всего более» в приложении к какой-либо слабости миледи, дорогой мой, – с достоинством отвечает домоправительница, – это такие слова, которых я не должна ни произносить, ни слушать.

– Простите, бабушка. Но ведь миледи все-таки гордая; разве нет?

– Если она и гордая, то – не без основания. В роду Дедлоков все имеют основание гордиться.

– Ну, значит, им надо вычеркнуть из своих молитвенников текст о гордости и тщеславии, предназначенный для простонародья, – говорит Уот. – Простите, бабушка! Я просто шучу!

– Над сэром Лестером и леди Дедлок, дорогой мой, подшучивать не годится.

– Сэр Лестер и правда так серьезен, что с ним не до шуток, – соглашается Уот, – так что я смиренно прошу у него прощения. Надеюсь, бабушка, что, хотя сюда съезжаются и хозяева, и гости, мне можно, как и любому проезжему, побыть еще день-два на постоялом дворе «Герб Дедлоков»?

– Конечно, дитя мое.

– Очень рад, – говорит Уот. – Мне ведь ужасно хочется познакомиться с этой прекрасной местностью.

Тут он, должно быть случайно, бросает взгляд на Розу, а та опускает глаза и очень смущается. Однако, по старинной примете, у Розы сейчас должны были бы гореть не ее свежие, румяные щеки, но ушки, ибо в эту самую минуту камеристка миледи бранит ее на чем свет стоит.

Камеристка миледи, француженка тридцати двух лет, родом откуда-то с юга, из-под Авиньона или Марселя, большеглазая, смуглая, черноволосая женщина, была бы красивой, если бы не ее кошачий рот и неприятно напряженные черты лица, – от этого челюсти ее кажутся слишком хищными, а лоб слишком выпуклым. Плечи и локти у нее острые, и она так худа, что кажется истощенной; к тому же она привыкла, особенно когда сердится или раздражается, настороженно смотреть вокруг, скосив глаза и не поворачивая головы, от чего ей лучше было

бы отвыкнуть. Она одевается со вкусом, но, несмотря на это и на всякие побрякушки, которыми она себя украшает, недостатки ее так бросаются в глаза, что она напоминает волчицу, которая рыщет среди людей, очень чистоплотная, но плохо прирученная. Она не только умеет делать все, что ей надлежит делать по должности, но говорит по-английски почти как англичанка; поэтому ей не приходится подбирать слова, чтобы облить грязью Розу за то, что та привлекла внимание миледи, а сидя за обедом, она с такой нелепой жестокостью изливает свое негодование, что ее сосед, любимый камердинер сэра Лестера, чувствует некоторое облегчение, когда она, взяв ложку, на время прерывает свою декламацию.

Ха-ха-ха! Она, Ортанз, целых пять лет служит у миледи, и всегда ее держали на расстоянии, а эта кукла, эта марионетка, не успела она поступить сюда, как ее уже обласкала – прямо-таки обласкала – хозяйка! Ха-ха-ха! «А ты знаешь, дитя мое, какая ты хорошенькая?» – «Нет, миледи». (Тут она права!) «А сколько тебе лет, дитя мое? Берегись, как бы тебя не избаловали комплиментами, дитя мое!» Ну и потеха! Лучше не придумаешь!

Короче говоря, все это так восхитительно, что мадемуазель Ортанз не может этого забыть, и еще много дней, за обедом и ужином и даже в кругу своих соотечественниц и других особ, служащих в той же должности у приехавших гостей, она порой внезапно умолкает, чтобы вновь пережить полученное от «потехи» наслаждение, и оно проявляется в свойственной ей «любезной» манере еще сильнее напрягать черты лица, бросать вокруг косые взгляды и, поджимая тонкие губы, растягивать до ушей крепко сжатый рот – словом, выражать восхищение собственным остроумием при помощи мимики, которая нередко отражается в зеркалах миледи, когда миледи нет поблизости.

Для всех зеркал в доме теперь находится дело, и для многих из них – после длительного отдыха. Они отражают красивые лица, глупо ухмыляющиеся лица, молодые лица, лица, что насчитывают добрых шесть-семь десятков лет, но все еще не желают поддаваться старости, – словом, весь калейдоскоп лиц, появившихся в январе в Чесни-Уолде, чтобы погостить там одну-две недели, – лиц, на которых великосветская хроника, грозная охотница с острым нюхом, охотится с тех пор, как они, впервые поднятые с логовища, появились при Сент-Джеймском дворе, и вплоть до того часа, когда их затравят до смерти.

В линкольнширском поместье жизнь бьет ключом. Днем в лесах гремят выстрелы и звучат голоса; на дорогах в парке оживленное движение: скачут всадники, катят кареты; слуги и прихлебатели заполнили деревню и постоянный двор «Герб Дедлоков». Ночью издалека сквозь просветы между деревьями видны освещенные окна продолговатой гостиной, где над огромным камином висит портрет миледи, и эти окна – как цепь из драгоценных камней в черной оправе. По воскресеньям в холодной церковке становится почти тепло – столько в нее набирается молящихся аристократов, и запах, напоминающий о склепе Дедлоков, теряется в аромате тонких духов.

В этом избранном и блестящем кругу можно встретить немало людей образованных, неглупых, мужественных, честных, красивых и добродетельных. И все-таки, несмотря на все его громадные преимущества, есть в нем что-то порочное. Что же именно?

Дендизм? Но теперь уже нет в живых короля Георга Четвертого (и тем хуже!), так что некому поощрять моду на Дендизм; теперь уже нет накрахмаленных галстуков, которыми обматывали шею, как полотенца наворачивают на валики; теперь уже не носят фраков с короткой талией, накладных икр, мужских корсетов. Теперь уже нет карикатурных женоподобных модников, которые все это носили и, восседая в ложах оперного театра, падали в обморок от избытка восторга, после чего их приводили в чувство другие изящные создания, совавшие им под нос нюхательную соль во флаконах с длинным горлышком. Теперь не найдешь такого светского льва, который вынужден звать на помощь четырех человек, чтобы впихнуть его в лосины, который ходит смотреть на все публичные казни и горько упрекает себя за то, что однажды скушал горошину.

Но, быть может, избранный и блестящий круг все-таки заражен Дендизмом – и Дендизмом гораздо более опасным, проникшим вглубь и порождающим менее безобидные причуды, чем удушение себя галстуком-полотенцем или порча собственного пищеварения, против чего ни один разумный человек не станет особенно возражать?

Да, это так. И этого нельзя скрыть. В нынешнем январе в Чесни-Уолде гостят некоторые леди и джентльмены именно в этом новейшем вкусе, и они вносят Дендизм... даже в Религию. Томимые мечтательной и неудовлетворенной жаждой эмоций, они за легким изысканным разговором единодушно сошлись на том, что у Простонародья не хватает веры вообще, – то есть, скажем прямо, в те вещи, которые подверглись испытанию и оказались небезупречными, – как будто простолюдин почему-то обязательно должен извериться в фальшивом шиллинге, убедившись, что он фальшивый! И эти леди и джентльмены готовы повернуть вспять стрелки на Часах Времени и вычеркнуть несколько столетий из истории, лишь бы превратить Простой народ в нечто очень живописное и преданное аристократии.

Здесь гостят также леди и джентльмены в другом вкусе, – не столь новомодные, зато чрезвычайно элегантные и сговорившиеся наводить ровный глянец на весь мир и скрывать все его горькие истины. Им все должно казаться томным и миловидным. Они изобрели вечную неподвижность. Ничто не должно их радовать или огорчать. Никакие идеи не смеют возмутить их спокойствие. Даже Изящные Искусства, которые прислуживают им в пудренных париках и в их присутствии пятятся назад, как лорд-камергер в присутствии короля, обязаны одеваться по выкройкам модисток и портных прошлых поколений, тщательно избегать серьезных вопросов и ни в малейшей степени не поддаваться влиянию текущего века.

Здесь гостит и милорд Будл, который считается одним из самых видных членов своей партии, который изведаль, что такое государственная служба, и с величайшей важностью заявляет сэру Лестеру Дедлоку после обеда, что решительно не понимает, куда идет наш век. Дебаты уже не те, какими они были когда-то; Парламент уже не тот, каким он некогда был; даже Кабинет министров не тот, каким он был прежде. Милорд Будл, недоумевая, предвидит, что, если теперешнее Правительство свергнут, у Короны при формировании нового Министества будет ограниченный выбор, – только между лордом Кудлом и сэром Томасом Дудлом, конечно, лишь в том случае, если герцог Фудл откажется работать с Гудлом, а это вполне допустимо, – вспомните о их разрыве в результате известной истории с Худлом. Итак, если предложить Министерство внутренних дел и пост Председателя палаты общин Джудлу, Министерство финансов Зудлу, Министерство колоний Лудлу, а Министерство иностранных дел Мудлу, куда же тогда девать Нудла? Пост Председателя Тайного совета ему предложить нельзя – он обещан Пудлу. Сунуть его в Министерство вод и лесов нельзя – оно не очень нравится даже Квудлу. Что же из этого следует? Что страна потерпела крушение, погибла, рассыпалась в прах (а это ясно как день патристическому уму сэра Лестера Дедлока) из-за того, что никак не удается устроить Нудла!

С другой стороны, член Парламента достопочтенный Уильям Баффи доказывает кому-то через стол, что в крушении страны, – в котором никто не сомневается, спорят лишь о том, почему оно произошло, – в крушении страны повинен Каффи. Если бы с Каффи, когда он впервые был избран в Парламент, поступили так, как надлежало с ним поступить, и помешали ему перейти на сторону Даффи, можно было бы объединить его с Фаффи, заполучить для себя столь красноречивого оратора, как Гаффи, привлечь к поддержке предвыборной кампании громадные средства Фаффи, в трех графствах провести своих кандидатов – Джаффи, Заффи и Лаффи и укрепить власть государственной мудростью и деловитостью Маффи. А вместо всего этого мы теперь очутились в зависимости от любой прихоти Паффи!

По этому, как и по менее важным поводам, имеются разногласия, однако весь избранный и блестящий круг отлично понимает, что вопрос только в Будле и его сторонниках, а также в Баффи и *его* сторонниках. Вот те великие актеры, которым предоставлены подмостки.

Несомненно, существует и Народ – множество статистов, которых иногда угощают речами, в уверенности, что эти статисты будут испускать восторженные клики и петь хором, как на театральной сцене, но Будл и Баффи, их приверженцы и родственники, их наследники, душеприказчики, управляющие и уполномоченные родились актерами на главные роли, антрепренерами и дирижерами, и никто, кроме них, не посмеет выступить на сцене во веки веков.

И в этом отношении в Чесни-Уолде столько Дендизма, что избранный и блестящий круг когда-нибудь найдет это вредным для себя. Ибо даже с самыми окаменелыми и вылощенными кругами может случиться то, что бывает с магическим кругом, которым обводит себя волшебник, – за их пределами тоже могут возникнуть совершенно неожиданные призраки, действующие весьма энергично. Разница в том, что это будут не видения, но существа из плоти и крови, и тем опаснее, что они ворвутся в круг.

Как бы то ни было, в Чесни-Уолде людей полон дом, – так полон, что жгучее чувство обиды вспыхивает в сердцах приехавших с гостями, неудобно размещенных камеристок, и погасить это чувство невозможно. Только одна комната не занята никем. Расположенная в башенке, предназначенная для гостей третьестепенных, просто, но удобно обставленная, она носит какой-то старомодный деловой отпечаток. Это комната мистера Талкинхорна, и ее не отводят никому другому, потому что он может приехать в любое время. Но он еще не появлялся. В хорошую погоду он, доехав до деревни, обычно идет в Чесни-Уолд пешком через парк; входит в свою комнату с таким видом, словно и не выходил из нее с тех пор, как его видели здесь в последний раз; просит слугу доложить сэру Лестеру о его прибытии, на случай если он понадобится, и появляется за десять минут до обеда у входа в библиотеку. Он спит в своей башенке, и над головой у него – жалобно скрипящий флагшток, а под окном – веранда с полом, крытым свинцом, на которой, если он живет здесь, каждое погожее утро показывается черная фигура, смахивающая на какого-то великана-грача: это мистер Талкинхорн прогуливается перед завтраком.

Каждый день миледи перед обедом ищет его в сумрачной библиотеке; но его нет. Каждый день миледи за обедом окидывает глазами весь стол в поисках незанятого места, перед которым стоял бы прибор для мистера Талкинхорна, если бы он только что приехал; но незанятого места нет. Каждый вечер миледи небрежным тоном спрашивает свою камеристку:

– Мистер Талкинхорн уже приехал?

Каждый вечер она слышит в ответ:

– Нет, миледи, еще не приехал.

Как-то раз под вечер, услышав этот ответ от своей камеристки, которая расчесывает ей волосы, миледи забывается, погрузившись в глубокое раздумье; но вдруг видит в зеркале свое сосредоточенное, печальное лицо и чьи-то черные глаза, с любопытством наблюдающие за ней.

– Будьте добры заняться делом, – говорит миледи, обращаясь к отражению мадемуазель Органз. – Любуйтесь своей красотой в другое время.

– Простите! Я любовалась красотой вашей милости.

– А ею вам вовсе незачем любоваться, – говорит миледи.

Но вот однажды, незадолго до заката, когда уже разошлись нарядные гости, часа два толпившиеся на Дорожке призрака, и сэр Лестер с миледи остались одни на террасе, появляется мистер Талкинхорн. Он подходит к ним, как всегда, ровным шагом, которого никогда не ускоряет и не замедляет. На лице у него обычная, лишенная всякого выражения маска (если это маска), но каждая частица его тела, каждая складка одежды пропитаны семейными тайнами. Действительно ли он всей душой предан великим мира сего, или же служит им за плату и только – это его собственная тайна. Он хранит ее так же, как хранит тайны своих клиентов; в этом отношении он сам себе клиент и никогда себя не выдаст.

– Как ваше здоровье, мистер Талкинхорн? – говорит сэр Лестер, подавая ему руку.

Мистер Талкингхорн совершенно здоров. Сэр Лестер совершенно здоров. Миледи совершенно здорова. Все обстоит в высшей степени благополучно. Юрист, заложив руки за спину, идет по террасе рядом с сэром Лестером. Миледи тоже идет рядом с ним, но – с другой стороны.

– Мы думали, что вы приедете раньше, – говорит сэр Лестер.

Любезное замечание. Другими словами это означает: «Мистер Талкингхорн, мы помним о вашем существовании, даже когда вас здесь нет, когда вы не напоминаете нам о себе своим присутствием. Мы уделяем вам крупницу своего внимания, сэр, заметьте это!»

Мистер Талкингхорн, понимая все, наклоняет голову и говорит, что он очень признателен.

– Я приехал бы раньше, – объясняет он, – если бы не был так занят вашими тяжбами с Бойторном.

– Очень неуравновешенный человек, – строго замечает сэр Лестер. – Подобный человек представляет огромную опасность для любого общества. Личность весьма низменного умонаправления.

– Он упрям, – говорит мистер Талкингхорн.

– Да и как ему не быть упрямым, раз он такой человек! – подтверждает сэр Лестер, хотя сам всем своим видом выражает непоколебимое упрямство. – Ничуть этому не удивляюсь.

– Вопрос только в одном, – продолжает поверенный, – согласны ли вы уступить ему хоть в чем-нибудь?

– Нет, сэр, – отвечает сэр Лестер. – Ни в чем. *Мне...* уступать?

– Не в чем-нибудь важном. Тут вы, я знаю, конечно, не уступите. Я хочу сказать – в чем-нибудь маловажном.

– Мистер Талкингхорн, – возражает сэр Лестер, – в моем споре с мистером Бойторном не может быть ничего маловажного. Если я пойду дальше и скажу, что не постигаю, как это *любое* мое право может быть маловажным, я буду при этом думать не столько о себе лично, сколько о чести своего рода, блюсти которую обязан я.

Мистер Талкингхорн снова наклоняет голову.

– Теперь я знаю, что мне делать, – говорит он. – Но предвижу, что мистер Бойторн надеется нам неприятностей...

– Подобным людям, мистер Талкингхорн, – перебивает его сэр Лестер, – свойственно делать неприятности всем. Личность исключительно недостойная, стремящаяся ко всеобщему равенству. Человек, которого пятьдесят лет тому назад, вероятно, судили бы в уголовном суде Олд-Бейли за какие-нибудь демагогические выступления и приговорили бы к суровому наказанию... быть может, даже, – добавляет сэр Лестер после короткой паузы, – к повешению, колесованию или четвертованию.

Произнеся этот смертный приговор, сэр Лестер, по-видимому, свалил гору со своих аристократических плеч и теперь почти так же удовлетворен, как если бы приговор уже был приведен в исполнение.

– Однако ночь на дворе, – говорит сэр Лестер, – как бы миледи не простудилась. Пойдемте домой, дорогая.

Они поворачивают назад, ко входу в вестибюль, и только тогда леди Дедлок заговаривает с мистером Талкингхорном.

– Вы что-то хотели мне сообщить насчет того человека, о котором я спросила, когда увидела его почерк. Как похоже на вас – не забыть о таком пустяке; а у меня он совсем выскочил из головы. После вашего письма все это снова всплыло у меня в памяти. Не могу представить себе, что именно мог мне напомнить этот почерк, но, безусловно, что-то напомнил тогда.

– Что-то напомнил? – повторяет мистер Талкингхорн.

– Да-да, – небрежно роняет миледи. – Кажется, что-то напомнил. Неужели вы действительно взяли на себя труд отыскать переписчика этих... как это называется?.. свидетельских показаний?

– Да.

– Как странно!

Они входят в неосвещенную утреннюю столовую, расположенную в нижнем этаже. Днем свет льется сюда через два окна с глубокими нишами. Сейчас комната погружена в сумрак. Огонь в камине бросает яркий отблеск на обшитые деревом стены и тусклый – на оконные стекла, а за ними, сквозь холодное отражение пламени, видно, как совсем уже похолодевший парк содрогается на ветру и как стелется серый туман – единственный в этих местах путник, кроме несущихся по небу разорванных туч.

Миледи опускается в огромное кресло у камина, сэр Лестер садится в другое огромное кресло напротив. Поверенный становится перед огнем, вытянув вперед руку, чтобы заслонить лицо от света пламени. Повернув голову, он смотрит на миледи.

– Так вот, – говорит он, – я стал наводить справки об этом человеке и нашел его. И, как ни странно, я нашел его...

– Вполне заурядной личностью, – томно подсказывает миледи.

– Я нашел его мертвым.

– Как можно! – укоризненно внушает сэр Лестер, не столько шокированный самим фактом, сколько тем фактом, что об этом факте упомянули.

– Мне указали, где он живет, – это была убогая, нищенская конура, – и я нашел его мертвым.

– Вы меня извините, мистер Талкингхорн, – замечает сэр Лестер, – но я полагаю, что чем меньше говорить о...

– Прошу вас, сэр Лестер, дайте мне выслушать рассказ мистера Талкингхорна, – говорит миледи. – В сумерках только такие рассказы и слушать. Какой ужас! Так вы нашли его мертвым?

Мистер Талкингхорн подтверждает это, снова наклоняя голову.

– Сам ли он наложил на себя руки...

– Клянусь честью! – восклицает сэр Лестер. – Но, право, это уж чересчур!

– Дайте же мне дослушать! – говорит миледи.

– Все, что вам будет угодно, дорогая. Но я должен сказать...

– Нет, вы не должны сказать! Продолжайте, мистер Талкингхорн.

Сэр Лестер галантно подчиняется, однако он все же находит, что заносить такого рода грязь в высшее общество – это... право же... право же...

– Я хотел сказать, – продолжает поверенный, сохраняя невозмутимое спокойствие, – что не имею возможности сообщить вам, сам ли он наложил на себя руки, или нет. Однако, выражаясь точнее, должен заметить, что он, несомненно, умер от своей руки, хотя сделал ли он это с заранее обдуманном намерением или по несчастной случайности – узнать наверное никогда не удастся. Присяжные коронера вынесли решение, что он принял яд случайно.

– А кто он был такой, – спрашивает миледи, – этот несчастный?

– Очень трудно сказать, – отвечает поверенный, покачивая головой. – Он жил бедно, совсем опустился, – лицо у него было темное, как у цыгана, черные волосы и борода всклокочены, словом, он, вероятно, был почти нищий. Врач почему-то предположил, что в прошлом он и выглядел лучше, и жил лучше.

– А как его звали, этого беднягу?

– Его называли так, как он сам называл себя; но настоящего его имени не знал никто.

– Даже те, кто ему прислуживал?

– Ему никто не прислуживал. Просто его нашли мертвым. Точнее, это я его нашел.

– И больше никаких сведений о нем не удалось получить?

– Никаких. После него остался, – задумчиво говорит юрист, – старый чемодан. Но... нет, никаких бумаг в нем не было.

В течение этого короткого разговора леди Дедлок и мистер Талкингхорн, ничуть не меняя своей обычной манеры держаться, произносили каждое слово, не спуская глаз друг с друга, что, пожалуй, и неудивительно, когда приходится говорить на столь необычную тему. А сэр Лестер смотрел на пламя камина, всем своим видом смахивая на Дедлока, портрет которого красуется на стене у лестницы. Дослушав рассказ, он снова начинает важно протестовать, подчеркивая, что раз у миледи, очевидно, не сохранилось ровно никаких воспоминаний об этом несчастном (если только он не обращался к ней с письменной просьбой о вспомоществовании), он, сэр Лестер, надеется, что больше не услышит о происшествии, столь чуждом тому кругу, в котором вращается миледи.

– Да, все это какое-то нагромождение ужасов, – говорит миледи, подбирая свои меха и шали, – ими можно заинтересоваться, но ненадолго. Будьте любезны, мистер Талкингхорн, откройте дверь.

Мистер Талкингхорн почтительно открывает дверь и держит ее открытой, пока миледи выплывает из столовой. Она проходит совсем близко от него, и вид у нее, как всегда, утомленный, исполненный надменного изящества. Они снова встречаются за обедом... и на следующий день... и много дней подряд. Леди Дедлок все та же томная богиня, окруженная поклонниками и, как никто, склонная смертельно скучать даже тогда, когда восседает в посвященном ей храме. Мистер Талкингхорн – все тот же безмолвный хранитель аристократических признаний... здесь он явно не на своем месте, но тем не менее чувствует себя совсем как дома. Оба они, казалось бы, так же мало замечают друг друга, как любые другие люди, живущие в тех же стенах. Но следит ли каждый из них за другим, всегда подозревая его в сокрытии чего-то очень важного; но всегда ли каждый готов отразить любой удар другого, чтобы ни в коем случае не быть застигнутым врасплох; но что дал бы один, чтоб узнать, сколь много знает другой, – все это до поры до времени таится в их сердцах.

Глава XIII

Повесть Эстер

Не раз мы обсуждали вопрос, – сначала без мистера Джарндиса, как он и просил, потом вместе с ним, – какую карьеру должен избрать себе Ричард, но не скоро пришли к решению. Ричард говорил, что он готов взяться за что угодно. Когда мистер Джарндис заметил как-то, что Ричард, пожалуй, уже вышел из возраста, в котором поступают во флот, юноша сказал, что тоже так думает, – пожалуй, и вправду вышел. Когда мистер Джарндис спросил его, не хочет ли он поступить в армию, Ричард ответил, что подумывал об этом и это было бы неплохо. Когда же мистер Джарндис посоветовал ему хорошенько разобраться в себе самом и решить, является ли его давняя тяга к морю простым ребяческим увлечением или настоящей любовью, Ричард сказал, что очень часто пытался это решить, но так и не смог.

– Не знаю, потому ли он сделался столь нерешительным, – сказал мне как-то мистер Джарндис, – что с самого своего рождения попал в такую обстановку, где, как ни странно, все всегда откладывалось в долгий ящик, все было неясно и неопределенно, но что Канцлерский суд, в придачу к прочим своим грехам, частично виновен в его нерешительности, это я вижу. Влияние суда породило или укрепило в Ричарде привычку всегда все откладывать со дня на день, все оставлять нерешенным, неопределенным, запутанным, надеясь, что произойдет то, или другое, или третье, а что именно – мальчик и сам себе не представляет. Даже у менее юных и более уравновешенных людей характер может измениться под влиянием обстановки, так что же говорить о Ричарде? Можно ли ожидать, чтобы юноше с еще не сложившимся характером удалось противостоять подобным влияниям, если он попал в их сферу?

Все это была правда, но позволю себе сказать вдобавок, о чем думала я сама; а думала я, что воспитание Ричарда, к величайшему сожалению, не оказало противодействия этим влияниям и не дало направления его характеру. Он проучился восемь лет в привилегированной закрытой школе и, насколько мне известно, выучился превосходно сочинять разнообразные стихи на латинском языке. Но я не слыхивала, чтобы кто-нибудь из его воспитателей попытался узнать, какие у него склонности, какие недостатки, или потрудился приспособить к его складу ума преподавание какой-либо науки! Нет, это его самого приспособили к сочинению латинских стихов, и мальчик научился сочинять их так хорошо, что, останься он в школе до своего совершеннолетия, он, я думаю, только и делал бы, что писал стихи, если бы не решил наконец завершить свое образование, позабыв, как они пишутся. Правда, латинские стихи очень красивы, очень поучительны, во многих случаях очень полезны для жизни и даже запоминаются на всю жизнь, но я все же спрашивала себя, не лучше ли было бы для Ричарда, если бы сам он менее усердно изучал латинскую поэтику, зато кто-нибудь хоть немножко постарался бы изучить его.

Впрочем, я в этом ничего не понимаю и не знаю даже, способны ли были молодые люди Древнего Рима и Греции и вообще молодые люди любой другой страны сочинять стихи в таком количестве.

– Не имею ни малейшего представления, какую профессию мне избрать, – озабоченно говорил Ричард. – Я не хочу быть священником и это знаю твердо, а все остальное под вопросом.

– А не хочется вам пойти по стопам Кенджа? – предложил однажды мистер Джарндис.

– Не знаю; пожалуй, не очень, сэр! – ответил Ричард. – Правда, я люблю кататься на лодке. А клерки у юристов разводят свою писанину такой уймой воды... Ну и профессия!

– Может, хотите сделаться врачом? – подсказал мистер Джарндис.

– Вот это по мне, сэр! – воскликнул Ричард.

Сомневаюсь, чтобы до этой минуты ему хоть раз пришла в голову мысль о медицине.

– Вот это по мне, сэр! – повторил Ричард с величайшим энтузиазмом. – Наконец-то мы попали в точку! «Член Королевского Медицинского общества».

И никакими шутками нельзя было его разубедить, хотя он сам весело подшучивал над собой. Он говорил, что теперь выбрал себе профессию и чем больше о ней думает, тем лучше понимает, что его судьба ясна – искусство врачевания для него самое высокое искусство. Подозревая, что он лишь потому пришел к этому выводу, что никогда не умел самостоятельно разобратся в своих способностях и, лишенный руководства, увлекался всяким новым предложением, радуясь возможности избавиться от тяжелой необходимости думать, я спрашивала себя, всегда ли сочинение стихов на латинском языке приводит к таким результатам, или Ричард – единственный в своем роде юноша.

Мистер Джарндис всячески старался вызвать его на серьезный разговор, убедительно доказывая, что нельзя обманывать себя в столь важном деле. После таких бесед Ричард ненадолго погружался в размышления, но вскоре неизменно говорил Аде и мне, что «все ясно», после чего переводил разговор на другую тему.

– Клянусь небом! – вскричал однажды мистер Бойторн, который горячо интересовался этим вопросом (впрочем, мне незачем добавлять, что он ни к чему не мог относиться равнодушно), – как отрадно видеть, что мужественный и достойный молодой джентльмен посвящает себя этой благородной профессии! Чем больше достойных людей будет заниматься ею, тем лучше будет для человечества, тем хуже – для продажных деляг и подлых шарлатанов, которые только принижают славное искусство врачевания в глазах всего мира. Клянусь всем, что низко и презренно! – загремел мистер Бойторн. – Судовые лекари лечат до того скверно, что я предлагаю подвергнуть ноги – обе ноги – каждого члена Совета адмиралтейства сложному перелому, а всем опытным врачам запретить пользоваться их под страхом ссылки на каторгу, если всю систему врачебной помощи во флоте не изменят коренным образом в течение сорока восьми часов!

– Дай им хоть неделю сроку! – сказал мистер Джарндис.

– Нет! – воскликнул мистер Бойторн непреклонно. – Ни в коем случае! Сорок восемь часов! Что касается всяких там корпораций, приходских общин, приходских советов и прочих им подобных сборищ, куда олухи с трясущимися головами сходятся, чтобы обмениваться такими речами, за которые – клянусь небом! – их следует сослать на каторжные работы, в ртутные рудники, на весь короткий остаток их мерзкого существования, хотя бы лишь для того, чтобы помешать их отвратительному английскому языку заражать язык, на котором люди говорят под солнцем, – что касается этих мерзавцев, что подлю наживаются на рвении джентльменов, ищущих знания и, в награду за их неоценимые услуги, за лучшие годы их жизни и большие средства, потраченные ими на получение медицинского образования, платят медикам какие-то жалкие гроши, от каких откажется и простой клерк, – то я приказал бы свернуть шею всем этим подлецам, а черепа их выставить в Медицинской коллегии на обзор всему медицинскому миру так, чтобы младшие его представители уже в юности могли определить посредством точных измерений, какими толстыми могут стать черепа!

Он закончил эту неистовую декларацию, оглядев всех нас с приятнейшей улыбкой, и внезапно захохотал: «Ха-ха-ха!» – и хохотал так долго, что всякий другой на его месте изнемог бы от напряжения.

Мистер Джарндис несколько раз давал Ричарду сроки на размышление, но после того как они истекали, Ричард продолжал утверждать, что не намерен отказываться от сделанного выбора и все с тем же решительным видом уверял Аду и меня, что «все ясно»; поэтому мы надумали вызвать на совет мистера Кенджа. И вот как-то раз мистер Кендж приехал к нам обедать и уж, конечно, откидывался на спинку кресла, вертел и перевертывал свои очки, гово-

рил звучным голосом и вообще держал себя совершенно так же, как в те времена, когда я была еще девочкой.

– А! – говорил мистер Кендж. – Да. Прекрасно! Отменная профессия, мистер Джарндис... отменная профессия.

– Но теоретическая и практическая подготовка к этой профессии требует усердия, – заметил мой опекун, бросив взгляд на Ричарда.

– Без сомнения, – согласился мистер Кендж. – Именно усердия.

– Впрочем, усердие более или менее необходимо для достижения любой цели, если она чего-нибудь стоит, – заметил мистер Джарндис, – и это вовсе не какое-то особое условие, которого можно избежать, сделав иной выбор.

– Совершенно верно! – подтвердил мистер Кендж. – И мистер Ричард Карстон, столь достойным образом проявивший себя в... скажем... в области изучения классиков, под сенью коих прошла его юность, вступая теперь на более практическое поприще, бесспорно, найдет применение если не теории и практике сочинения стихов, то хотя бы навыкам, приобретенным в занятиях латинским языком – тем самым языком, на котором было сказано, что поэтом (если я не ошибаюсь) нужно родиться, но сделаться им нельзя.

– Можете на меня положиться, – недолго думая, отозвался Ричард, – дайте мне только взяться за ученье, и я сделаю все, что в моих силах.

– Прекрасно, мистер Джарндис, – сказал мистер Кендж, слегка кивнув. – Если мистер Ричард заверил нас, что, начав ученье, он сделает все, что в его силах, – повторяя эти слова, мистер Кендж сочувственно и ласково кивал головой, – то, мне кажется, нам остается только решить, как достигнуть цели его стремлений наиболее разумным образом. Далее, поскольку мистера Ричарда придется отдать в ученье к достаточно опытному практикующему врачу... у вас есть на примете такой врач?

– Как будто нет, Рик? – осведомился опекун.

– Никого нет, сэр, – ответил Ричард.

– Так! – отозвался мистер Кендж. – Ну, а что касается медицинской специальности... тут у вас имеется какое-нибудь предпочтение?

– Н-нет, – проговорил Ричард.

– Так-так! – заметил мистер Кендж.

– Мне хотелось бы разнообразия в занятиях, – объяснил Ричард, – то есть широкого поля деятельности.

– Бесспорно, это весьма желательно, – согласился мистер Кендж. – Мне кажется, это легко устроить, не правда ли, мистер Джарндис? Нам придется только, во-первых, найти достаточно опытного врача; а едва мы объявим о нашем желании, – и нужно ли добавлять? – о нашей возможности платить за преподавание, у нас останется лишь одна трудность – выбрать одного из многих. Во-вторых, нам придется только соблюсти те небольшие формальности, которые обусловлены нашим возрастом и нашим состоянием под опекой Канцлерского суда. И тогда мы быстро, – выражаясь в непринужденном стиле самого мистера Ричарда, – возьмемся за ученье и будем заниматься сколько нашей душе угодно. Какое совпадение, – продолжал мистер Кендж, улыбаясь с легким оттенком меланхолии, – одно из тех совпадений, объяснить которые мы можем, – или не можем при наших теперешних ограниченных способностях, – но у меня есть родственник – врач. Возможно, вы найдете его подходящим, а он, возможно, согласится принять ваше предложение. Конечно, я так же не могу ручаться за него, как и за вас, но возможно, что он согласится!

Это было разумное предложение, и мы попросили мистера Кенджа, чтобы он переговорил со своим родственником. Мистер Джарндис еще раньше собирался увезти нас в Лондон на несколько недель, поэтому мы на другой же день решили выехать как можно скорее, чтобы наладить дела Ричарда.

Неделю спустя мистер Бойторн от нас уехал, а мы поселились в уютной квартире близ улицы Оксфорд-стрит, над лавкой одного обойщика. Лондон поразил нас, как чудо, и мы целыми часами осматривали его достопримечательности, но запас их был так неистощим, что силы наши грозили иссякнуть раньше, чем мы успеем все осмотреть. Мы с величайшим наслаждением бывали во всех лучших театрах и смотрели все пьесы, которые стоило видеть. Я упоминаю об этом потому, что именно в театре мне опять начал досажать мистер Гаппи.

Как-то раз, на вечернем спектакле, когда мы с Адой сидели у барьера ложи, а Ричард занимал свое любимое место – за креслом Ады, я случайно бросила взгляд на задние ряды партера и увидела мистера Гаппи – его прилизанные волосы, омраченное скорбью лицо и глаза, устремленные вверх, на меня. В течение всего спектакля я чувствовала, что мистер Гаппи не смотрит на актеров, но не отрывает глаз от меня – и все с тем же деланным выражением глубочайшего страдания и самого безнадежного уныния.

Его поведение испортило мне весь вечер – так оно было нелепо и стеснительно. И с тех пор всякий раз, как мы были в театре, я видела в задних рядах партера мистера Гаппи – его неизменно прямые, прилизанные волосы, упавший на плечи воротничок рубашки и совершенно расслабленную фигуру. Если его не было видно, когда мы входили в зрительный зал, я, воспрянув духом, начинала надеяться, что он не придет, и все свое внимание отдавала пьесе, но – ненадолго, ибо рано или поздно встречала его томный взор, когда никак этого не ждала, и с той минуты не сомневалась, что мистер Гаппи ни разу за весь вечер не отведет от меня глаз.

Не могу выразить, как это меня стесняло. Трудно было бы им любоваться, даже если б он взбил свою шевелюру и поправил воротничок рубашки, но, зная, что на меня все с тем же подчеркнуто страдальческим лицом уставился человек столь нелепого вида, я чувствовала себя так неловко, что могла только смотреть на сцену, но не могла ни смеяться, ни плакать, ни двигаться, ни разговаривать. Кажется, я ничего не могла делать естественно. Избежать внимания мистера Гаппи, удалившись в аванложу, я тоже не могла, так как догадывалась, что Ричард и Ада хотят, чтобы я оставалась рядом с ними, зная, что им не удастся разговаривать непридуманно, если мое место займет кто-нибудь другой. Поэтому я сидела с ними, не зная, куда девать глаза, – ведь я не сомневалась, что, куда бы я ни взглянула, взор мистера Гаппи последует за мной, – и была не в силах отвязаться от мысли, что молодой человек тратит из-за меня уйму денег.

Иной раз я подумывала: а не сказать ли обо всем этом мистеру Джарндису? Но боялась, как бы молодой человек не потерял места и не испортил себе карьеры.

Иной раз подумывала – а не довериться ли мне Ричарду; но терялась при мысли, что он, чего доброго, подерется с мистером Гаппи и наставит ему синяков под глазами. То я думала – не посмотреть ли мне на него, нахмутив брови и покачав головой? Но чувствовала, что не в силах. То решалась написать его матери, но потом убеждала себя, что, начав переписку, только поставлю себя в еще более неприятное положение. И всякий раз я приходила к выводу, что ничего сделать нельзя. Все это время мистер Гаппи с упорством, достойным лучшего применения, не только появлялся решительно на всех спектаклях, которые мы смотрели, но стоял в толпе, когда мы выходили из театра и даже – как я видела раза два-три – прицеплялся сзади к нашему экипажу с риском напороться на громадные гвозди. Когда мы приезжали домой, он уже торчал у столба для афиш против нашей квартиры. Обойщик, у которого мы поселились, жил на углу, а столб стоял против окон моей спальни, и я, поднявшись к себе в комнату, не смела подойти к окну из боязни увидеть мистера Гаппи (как я и видела его однажды в лунную ночь) прислонившимся к столбу и явно рискующим простудиться. Если бы мистер Гаппи, к счастью для меня, не был занят днем, мне не было бы от него покоя.

Предаваясь этим развлечениям, в которых мистер Гаппи принимал участие столь странным образом, мы не забывали и о деле, ради которого приехали в город. Родственником мистера Кенджа оказался некий мистер Бейхем Беджер, который имел хорошую практику в

Челси и, кроме того, работал в крупной общественной больнице. Он охотно согласился взять к себе Ричарда и руководить его занятиями, для которых, по-видимому, мог создать благоприятную обстановку; и так как мистеру Беджеру понравился Ричард, а Ричард сказал, что мистер Беджер понравился ему «в достаточной степени», то сделка была заключена, разрешение лорд-канцлера получено, и все устроилось.

В тот день, когда Ричард и мистер Беджер договорились, нас всех пригласили отобедать у мистера Беджера. Нам предстояло провести «чисто семейный вечер», как было сказано в письменном приглашении миссис Беджер, и в доме ее не оказалось других дам, кроме самой хозяйки. Она сидела в гостиной, окруженная разнообразными предметами, по которым можно было догадаться, что она немножко пишет красками, немножко играет на рояле, немножко – на гитаре, немножко – на арфе, немножко поет, немножко вышивает, немножко читает, немножко пишет стихи и немножко занимается ботаникой. Это была женщина лет пятидесяти, с прекрасным цветом лица, одетая не по возрасту молодо. Если к небольшому списку ее занятий я добавлю, что она немножко румянилась, то – вовсе не для того, чтобы ее осудить.

Сам мистер Бейхем Беджер, краснощекий, бодрый джентльмен со свежим лицом, тонким голосом, белыми зубами, светлыми волосами и удивленными глазами, был, вероятно, на несколько лет моложе миссис Бейхем Беджер. Он от души восхищался женой, но, как ни странно, прежде всего и преимущественно тем (как нам показалось), что она трижды выходила замуж. Едва мы успели сесть, как он торжествующе сообщил мистеру Джарндису:

– Вы, наверное, и не подозреваете, что я у миссис Бейхем Беджер третий муж!

– В самом деле? – промолвил мистер Джарндис.

– Третий! – повторил мистер Беджер. – Не правда ли, мисс Саммерсон, миссис Беджер не похожа на даму, у которой уже было двое мужей?

– Нисколько, – согласилась я.

– И оба в высшей степени замечательные люди! – проговорил мистер Беджер конфиденциальным тоном. – Первый муж миссис Беджер – капитан Суоссер, моряк королевского флота, был выдающимся офицером. Профессор Динго, мой ближайший предшественник, прославился на всю Европу.

Миссис Беджер случайно услышала его слова и улыбнулась.

– Да, дорогая, – ответил мистер Беджер на ее улыбку, – я сейчас говорил мистеру Джарндису и мисс Саммерсон, что у тебя уже было двое мужей – весьма выдающихся, и наши гости нашли, как и все вообще находят, что этому трудно поверить.

– Мне было всего двадцать лет, – начала миссис Беджер, – когда я вышла замуж за капитана Суоссера, офицера королевского флота. Я плавала с ним по Средиземному морю и сделалась прямо-таки заправским моряком. В двенадцатую годовщину нашей свадьбы я стала женой профессора Динго.

– Прославился на всю Европу, – вставил мистер Беджер вполголоса.

– А когда на мне женился мистер Беджер, – продолжала миссис Беджер, – мы венчались в тот же самый месяц и число. Я уже успела полюбить этот день.

– Итак, миссис Беджер выходила замуж трижды, причем двое ее мужей были в высшей степени выдающимися людьми, – проговорил мистер Беджер, суммируя факты, – и каждый раз она венчалась двадцать первого марта, в одиннадцать часов утра!

Мы все выразили свое восхищение этим обстоятельством.

– Если бы не скромность мистера Беджера, – заметил мистер Джарндис, – я позволил бы себе поправить его, назвав выдающимися людьми всех троих мужей его супруги.

– Благодарю вас, мистер Джарндис. Я всегда ему это говорю, – промолвила миссис Беджер.

– А я, дорогая, что я тебе всегда говорю? – осведомился мистер Беджер. – Что, не стараясь притворно умалять те профессиональные успехи, которых я, быть может, достиг (и оценить

которые нашему другу, мистеру Карстону, представится немало случаев), я не столь глуп – о нет! – добавил мистер Беджер, обращаясь ко всем нам вместе, – и не столь самонадеян, чтобы ставить свою собственную репутацию на одну доску с репутацией таких замечательных людей, как капитан Суоссер и профессор Динго. Быть может, мистер Джарндис, – продолжал мистер Бейхем Беджер, пригласив нас пройти в гостиную, – вам будет интересно взглянуть на этот портрет капитана Суоссера. Он был написан, когда капитан вернулся домой с одной африканской базы, где страдал от тамошней лихорадки. Миссис Беджер находит, что на этом портрете он слишком желт. Но все-таки это красавец мужчина. Прямо красавец!

Мы все повторили, как эхо:

– Красавец!

– Когда я смотрю на него, – продолжал мистер Беджер, – я думаю: как жаль, что я с ним не был знаком! И это, бесспорно, доказывает, каким исключительным человеком был капитан Суоссер. С другой стороны – профессор Динго. Этого я знал хорошо – лечил его во время его последней болезни... разительное сходство! Над роялем портрет миссис Бейхем Беджер в бытность ее миссис Суоссер. Над диваном – портрет миссис Бейхем Беджер в бытность ее миссис Динго. Что касается миссис Бейхем Беджер в теперешний период ее жизни, то я обладаю оригиналом, но копии у меня нет.

Доложили, что обед подан, и мы спустились в столовую. Обед был весьма изысканный и очень красиво сервированный. Но капитан и профессор все еще не выходили из головы у мистера Беджера, и, так как нам с Адой досталась честь сидеть рядом с хозяином, он потчевал нас ими очень усердно.

– Вам воды, мисс Саммерсон? Позвольте мне! Нет, простите, только не в этот стакан. Джеймс, принесите бокальчик профессора!

Ада восхищалась искусственными цветами, стоявшими под стеклянным колпаком.

– Удивительно, как они сохранились! – сказал мистер Беджер. – Миссис Бейхем Беджер получила их в подарок, когда была на Средиземном море.

Он протянул было мистеру Джарндису бутылку красного вина.

– Не то вино! – вдруг спохватился он. – Прошу извинения! Сегодня у нас исключительный случай, а в исключительных случаях я угощаю гостей совершенно необычайным бордо (Джеймс, вино капитана Суоссера!). Мистер Джарндис, капитан привез в Англию это вино, – не будем говорить, сколько лет тому назад. Вы такого вина не пивали. Дорогая, я буду счастлив выпить с тобой этого вина. (Джеймс, налейте бордо капитана Суоссера вашей хозяйке!) Твое здоровье, любовь моя!

Когда мы, дамы, удалились после обеда, нам пришлось забрать с собой и первого и второго мужа миссис Беджер. В гостиной миссис Беджер набросала нам краткий биографический очерк добрачной жизни и деятельности капитана Суоссера, а затем сделала более подробный доклад о нем, начиная с того момента, как он влюбился в нее на балу, который давали на борту «Разящего» офицеры этого корабля, стоявшего тогда в Плимутской гавани.

– Ах, этот старый милый «Разящий»! – говорила миссис Беджер, покачивая головой. – Вот был великолепный корабль! Нарядный, блестяще оснащенный, прямо «высший класс», по словам капитана Суоссера. Извините меня, если я случайно употреблю флотское выражение, – ведь я когда-то была заправским моряком. Капитан Суоссер обожал это судно из-за меня. Когда оно уже больше не годилось для плавания, он частенько говаривал, что, будь он богат, он купил бы его старый остов и велел бы сделать надпись на шканцах, там, где мы стояли с ним во время бала, чтобы отметить то место, где он пал, испепеленный с носа и до кормы (как выражался капитан Суоссер) моими марсовыми огнями. Так он по-своему, по-флотски, называл мои глаза.

Миссис Беджер покачала головой, вздохнула и посмотрелась в зеркало.

– Профессор Динго сильно отличался от капитана Суоссера, – продолжала она с жалобной улыбкой. – Вначале я это чувствовала очень остро. Полнейший переворот во всем моем

образе жизни! Но время и наука – в особенности наука – помогли мне привыкнуть и с ним. Я была единственной спутницей профессора в его ботанических экскурсиях, так что почти забыла, что когда-то плавала по морям, и сделалась заправским ученым. Замечательно, что профессор был полной противоположностью капитана Суоссера, а мистер Беджер ничуть не похож ни на того, ни на другого!

Затем мы перешли к повествованию о кончине капитана Суоссера и профессора Динго, – оба они, видимо, страдали тяжкими болезнями. Рассказывая об этом, миссис Беджер призналась, что только раз в жизни была безумно влюблена и предметом этой пылкой страсти, неповторимой по свежести энтузиазма, был капитан Суоссер. Потом настал черед профессора, и он самым грустным образом начал постепенно умирать, – миссис Беджер только что стала передразнивать, как он, бывало, с трудом выговаривал: «Где Лора? Пусть Лора принесет мне сахарной водицы», – как в гостиную пришли джентльмены, и он сошел в могилу.

В тот вечер, и вообще за последнее время, я видела, что Ада и Ричард все больше стараются быть вместе, да и немудрено – ведь им так скоро предстояло расстаться. Поэтому, когда мы с Адой, вернувшись домой, поднялись к себе наверх, я не очень удивилась, заметив, что она молчаливее, чем всегда, но уж никак не ожидала, что она внезапно бросится в мои объятия и спрячет лицо на моей груди.

– Милая моя Эстер, – шептала Ада, – я хочу открыть тебе одну важную тайну!

Конечно, прелесть моя, «тайну», да еще какую!

– Что же это такое, Ада?

– Ах, Эстер, ты ни за что не догадаешься.

– А если постараюсь? – сказала я.

– Нет-нет! Не надо! Пожалуйста, не надо! – воскликнула Ада, испуганная одной лишь мыслью о том, что я могу догадаться.

– Не представляю себе, что это может быть? – сказала я, притворяясь, что раздумываю.

– Это... – прошептала Ада, – это – насчет кузена Ричарда!

– Ну, родная моя, – сказала я, целуя ее золотистые волосы (лица ее я не видела), – что же ты о нем скажешь?

– Ах, Эстер, ты ни за что не угадаешь!

Так приятно было, что она прильнула ко мне, спрятав лицо; так приятно было знать, что плачет она не от горя, а от сверкающей радости, гордости и надежды, – даже не хотелось сразу же помочь ей признаться.

– Он говорит... Я знаю, это очень глупо, ведь мы так молоды... но он говорит, – и она залилась слезами, – что он нежно любит меня, Эстер.

– В самом деле? – сказала я. – Как странно!.. Но, душенька моя, я сама могла бы сказать это тебе давным-давно!

Ада в радостном изумлении подняла свое прелестное личико, обвила руками мою шею, рассмеялась, расплакалась, покраснела, снова рассмеялась, – и все это было так чудесно!

– Но, милая моя, – сказала я, – ты, должно быть, считаешь меня совсем дурочкой! Твой кузен Ричард любит тебя я уж и не помню сколько времени и ничуть этого не скрывает!

– Так почему же ты мне ни слова про это не сказала?! – воскликнула Ада, целуя меня.

– Как можно, милая моя! – проговорила я. – Я ждала, чтобы ты мне призналась сама.

– Но раз уж я тебе сейчас призналась, ты не думаешь, что это дурно, нет? – спросила Ада.

Будь я самой жестокосердной дуэньей в мире, я и то не устояла бы против ее ласковой мольбы и сказала бы «нет». Но я еще не сделалась дуэньей и сказала «нет» с легким сердцем.

– А теперь, – промолвила я, – я знаю самое страшное.

– Нет, это – еще не самое страшное, милая Эстер! – вскричала Ада, еще крепче прижимаясь ко мне и снова пряча лицо у меня на груди.

– Разве? – сказала я. – Разве может быть что-нибудь страшнее?

– Может! – ответила Ада, качая головой.

– Неужели ты хочешь сказать, что... – начала я шутливо. Но Ада подняла глаза и, улыбаясь сквозь слезы, воскликнула:

– Да, люблю! Ты знаешь, ты знаешь, что да! – И, всхлипывая, пролепетала: – Люблю всем сердцем! Всем моим сердцем, Эстер!

Я со смехом сказала ей, что знала об этом так же хорошо, как и о любви Ричарда. И вот мы уселись перед камином, и некоторое время (хоть и недолго) я говорила одна; и вскоре Ада успокоилась и развеселилась.

– А как ты думаешь, милая моя Хлопотунья, кузен Джон знает? – спросила она.

– Если кузен Джон не слепой, душенька моя, надо думать, кузен Джон знает ничуть не меньше нас, – ответила я.

– Мы хотим поговорить с ним до отъезда Ричарда, – робко промолвила Ада, – и еще хотим посоветоваться с тобой и попросить тебя сказать ему все. Ты не против того, чтобы Ричард вошел сюда, милая моя Хлопотунья?

– Вот как! Значит, Ричард здесь, милочка моя? – спросила я.

– Я в этом не уверена, – ответила Ада с застенчивой наивностью, которая завоевала бы мое сердце, если б оно давно уже не было завоевано, – но мне кажется, он ждет за дверью.

Разумеется, так оно и оказалось. Они притащили кресла и поставили их по обе стороны моего, а меня посадили в середине, и вид у них был такой, словно они влюбились не друг в друга, а в меня, – так они были доверчивы, откровенны и ласковы со мной. Некоторое время они ворковали, перескакивая с одной темы на другую, а я их не прерывала, – я сама наслаждалась этим, – затем мы постепенно начали говорить о том, что они молоды, и должно пройти несколько лет, прежде чем эта ранняя любовь приведет к чему-нибудь определенному, ибо она только в том случае приведет к счастью, если окажется настоящей и верной и внушит им твердое решение исполнять свой долг по отношению друг к другу, – исполнять преданно, стойко, постоянно – так, чтобы каждый жил для другого. Ну что ж! Ричард сказал, что пойдет на все для Ады, Ада же сказала, что пойдет на все для Ричарда, потом они стали называть меня всякими ласковыми и нежными именами, и мы до полуночи просидели за разговором. В конце концов, уже на прощанье, я обещала им завтра же поговорить с кузеном Джоном.

Итак, наутро я пошла после завтрака к опекуну в ту комнату, которая в городе заменяла нам Брюзжальню, и сказала, что меня попросили кое-что сообщить ему.

– Если вы согласились, Хозяюшка, – отозвался он, закрывая книгу, – значит, в этом не может быть ничего дурного.

– Надеюсь, что так, опекун, – сказала я. – Это не тайна, могу вас уверить, но мне ее рассказали только вчера.

– Да? Что же это такое, Эстер?

– Опекун, – начала я, – вы, помните тот радостный вечер, когда мы впервые приехали в Холодный дом и Ада пела в полутемной комнате?

Мне хотелось напомнить ему, какой взгляд бросил он на меня в тот вечер. И, пожалуй, мне это удалось.

– Так вот... – начала было я снова, но запнулась.

– Да, моя милая, – проговорил он. – Не торопитесь.

– Так вот, – повторила я, – Ада и Ричард полюбили друг друга и объяснились.

– Уже! – вскричал опекун в полном изумлении.

– Да! – подтвердила я. – И, сказать вам правду, опекун, я, пожалуй, ожидала этого.

– Надо полагать! – воскликнул он.

Минуты две он сидел задумавшись, с прекрасной и такой доброй улыбкой на изменчивом лице, потом попросил меня передать Аде и Ричарду, что хочет их видеть. Когда они пришли, он отечески обнял Аду одной рукой и с ласковой серьезностью обратился к Ричарду.

– Рик, – начал мистер Джарндис, – я рад, что завоевал ваше доверие. Надеюсь сохранить его и впредь. Когда я думал об отношениях, которые завязались между нами четырьмя и так украсили мою жизнь, наделив ее столькими новыми интересами и радостями, я, конечно, подумывал о том, что вы и ваша прелестная кузина (не смущайтесь, Ада, не смущайтесь, милая!) в будущем, возможно, решите пройти свой жизненный путь вместе. Я по многим причинам считал и считаю это желательным. Но не теперь, а в будущем, Рик, в будущем!

– И мы думаем, что в будущем, сэр, – ответил Ричард.

– Прекрасно! – сказал мистер Джарндис. – Это разумно. А теперь послушайте меня, дорогие мои! Я мог бы сказать вам, что вы еще хорошенько не знаете самих себя и может произойти многое такое, что заставит вас разойтись, а цепь из цветов, которой вы себя связали, к счастью, очень легко порвать раньше, чем она превратится в цепь из свинца. Но этого я не скажу. Такого рода мудрость вскоре сама придет к вам, если только ей суждено прийти. Допустим, что вы и в ближайшие годы будете относиться друг к другу так же, как сегодня. Я хочу поговорить с вами и об этом, но сначала отмечу одно: если вы все-таки изменитесь, если, сделавшись зрелыми людьми, вы поймете, что ваши отношения не те, какими они были в ту пору, когда вы были еще мальчиком и девочкой (простите, что я называю вас мальчиком, Рик!), но перешли в простые родственные отношения, не стесняйтесь признаться в этом мне, ибо тут не будет ничего страшного и ничего исключительного. Я всего только друг ваш и дальний родственник. Я не имею никакого права распоряжаться вашей судьбой. Но я хочу и надеюсь сохранить ваше доверие, если сам ничем его не подорву.

– Я считаю, сэр, и Ада тоже, конечно, – отозвался Ричард, – что вы имеете полное право распоряжаться нами, и право это зиждется на нашем уважении, благодарности и любви и крепнет с каждым днем.

– Милый кузен Джон, – проговорила Ада, склонив голову к нему на плечо, – отныне вы замените мне отца. Всю любовь, всю преданность, которые я могла бы отдать ему, я теперь отдаю вам.

– Ну, полно, полно! – остановил ее мистер Джарндис. – Значит, допустим, что ваши отношения не изменятся. С надеждою бросим взгляд на отдаленное будущее. Рик, у вас вся жизнь впереди, и она, конечно, примет вас так, как вы сами в нее войдете. Надейтесь только на providение и на свой труд. Не отделяйте одного от другого, как это сделал возница-язычник. Постоянство в любви прекрасно, но оно не имеет никакого значения, оно ничто без постоянства в любом труде. Будь вы даже одарены талантами всех великих людей древности и современности, вы ничего не сможете делать как следует, если твердо не решите трудиться и не выполните своего решения. Если вы думаете, что когда-нибудь было или будет возможно достигнуть подлинного успеха в больших делах или малых, вырывая его у судьбы, то есть без длительных усилий, а лихорадочными порывами, оставьте это заблуждение или оставьте Аду.

– Я оставляю это заблуждение, сэр, – ответил Ричард с улыбкой, – если только пришел с ним сюда (но, к счастью, кажется, нет), и трудом проложу свой путь к кухне Аде, в то будущее, что сулит нам счастье.

– Правильно! – сказал мистер Джарндис. – Если вы не можете сделать ее счастливой, вы не должны ее добиваться.

– Я не мог бы сделать ее несчастной... нет, даже ради того, чтоб она меня полюбила, – гордо возразил Ричард.

– Хорошо сказано! – воскликнул мистер Джарндис. – Это хорошо сказано! Она будет жить у меня, в родном для нее доме. Любите ее, Рик, в своей трудовой жизни не меньше, чем здесь, дома, когда будете ее навещать, и все пойдет хорошо. Иначе все пойдет плохо. Вот и вся моя проповедь. А теперь пойдите-ка вы с Адой погулять.

Ада нежно обняла опекуна. Ричард горячо пожал ему руку, и влюбленные направились к выходу, но на пороге оглянулись и сказали, что не уйдут гулять одни, а подождут меня.

Дверь осталась открытой, и мы следили за ними глазами, пока они не вышли через другую дверь из залитой солнечным светом соседней комнаты. Ричард шел, склонив голову, под руку с Адой и говорил ей что-то очень серьезным тоном, а она смотрела снизу вверх ему в лицо, слушала и, казалось, ничего больше не видела. Такие юные, прекрасные, окрыленные надеждами и взаимными обещаниями, они шли, озаренные лучами солнца, так же легко, как, вероятно, мысли их летели над вереницей грядущих лет, превращая их в сплошное сияние. Так перешли они в полосу тени, а потом исчезли. Это была только вспышка света, но такого яркого. Как только они ушли, солнце покрылось облаками и вся комната потемнела.

– Прав ли я, Эстер? – спросил опекун, когда они скрылись из виду.

Подумать только, что он, такой добрый и мудрый, спрашивал *меня*, прав ли он!

– Возможно, что Рик, полюбив, приобретет те качества, которых ему недостает... недостает, несмотря на столько достоинств! – промолвил мистер Джарндис, качая головой. – Аде я ничего не сказал, Эстер. Ее подруга и советчица всегда рядом с нею. – И он ласково положил руку мне на голову.

Как я ни старалась, я не могла скрыть своего волнения.

– Полно! Полно! – успокаивал он меня. – Но нам надо позаботиться и о том, чтобы жизнь нашей милой Хлопотуньи не целиком ушла на заботы о других.

– Какие заботы? Дорогой опекун, да счастливей меня нет никого на свете!

– И я так думаю, – сказал он. – Но, возможно, кто-нибудь поймет то, чего сама Эстер никогда не захочет понять, – поймет, что прежде всего надо помнить о нашей Хозяюшке!

Я забыла своевременно упомянуть, что на сегодняшнем семейном обеде было еще одно лицо. Не леди. Джентльмен. Смуглый джентльмен... молодой врач. Он вел себя довольно сдержанно, но мне показался очень умным и приятным. Точнее, Ада спросила, не кажется ли мне, что он приятный умный человек, и я сказала «да».

Глава XIV

Хороший тон

На другой день вечером Ричард расстался с нами, чтобы приступить к своим новым занятиям, и оставил Аду на мое попечение с чувством глубокой любви к ней и глубокого доверия ко мне. В те дни я всегда волновалась при мысли, а теперь (зная, о чем мне предстоит рассказать) еще больше волнуюсь при воспоминании о том, как много они думали обо мне даже в те дни, когда были так поглощены друг другом. Они включили меня во все свои планы на настоящее и будущее. Я обещала посылать Ричарду раз в неделю точный отчет о жизни Ады, а она обещала писать ему через день. Ричард же сказал мне, что я от него самого буду узнавать обо всех его трудах и успехах; что увижу, каким он сделается решительным и стойким; что буду подружкой Ады на их свадьбе, а когда они поженятся, буду жить вместе с ними, буду вести их домашнее хозяйство и они сделают меня счастливой навсегда и на всю мою жизнь.

– *Если бы* только наша тяжба сделала нас богатыми, Эстер... а ведь вы знаете, это может случиться! – сказал Ричард, должно быть желая увенчать этой мечтой свои радужные надежды.

По лицу Ады пробежала легкая тень.

– Ада, любимая моя, почему бы и нет? – спросил ее Ричард.

– Лучше уж пусть она теперь же объявит нас нищими.

– Ну, не знаю, – возразил Ричард, – так или иначе, она ничего не объявит теперь. Бог знает сколько лет прошло с тех пор, как она перестала что-либо объявлять.

– К сожалению, это верно, – согласилась Ада.

– Да, но чем дольше она тянется, дорогая кузина, тем ближе та или иная развязка, – заметил Ричард, отвечая скорее на то, что говорил ее взгляд, чем на ее слова. – Ну, разве это не логично?

– Вам лучше знать, Ричард. Боюсь только, что, если мы станем рассчитывать на нее, она принесет нам горе.

– Но, Ада, мы вовсе не собираемся на нее рассчитывать! – весело воскликнул Ричард. – Мы же знаем, что рассчитывать на нее нельзя. Мы только говорим, что если она сделает нас богатыми, то у нас нет никаких разумных возражений против богатства. В силу торжественного законного постановления Канцлерский суд является нашим мрачным, старым опекуном, и на все, что он даст нам (если он нам что-нибудь даст), мы имеем право. Не следует отказываться от своих прав.

– Нет, – сказала Ада, – но, может быть, лучше позабыть обо всем этом.

– Ладно, ладно, позабудем! – воскликнул Ричард. – Предадим все это забвению. Хлопотунья смотрит на нас сочувственно – и кончено дело!

– А вы даже и не видели сочувствующего лица Хлопотуньи, когда приписали ему такое выражение, – сказала я, выглядывая из-за ящика, в который укладывала книги Ричарда, – но она все-таки сочувствует и думает, что ничего лучшего вы сделать не можете.

Итак, Ричард сказал, что с этим покончено, но немедленно, и без всяких новых оснований, принялся строить воздушные замки, да такие, что они могли бы затмить Великую Китайскую стену. Он уехал в прекраснейшем расположении духа. А мы с Адой приготовились очень скучать по нем и снова зажили своей тихой жизнью.

Вскоре после приезда в Лондон мы вместе с мистером Джарндисом сделали визит миссис Джеллиби, но нам не посчастливилось застать ее дома. Она уехала куда-то на чаепитие, взяв с собой мисс Джеллиби. В том доме, куда она уехала, должно было состояться не только чаепитие, но и обильное словоизвержение и письмописание на тему о пользе культивирования кофе и одновременно – туземцев в колонии Борибула-Гха. Все это, наверное, требовало такой

усиленной работы пером и чернилами, что дочери миссис Джеллиби участие в этой процедуре никак не могло показаться праздничным развлечением.

Миссис Джеллиби должна была бы отдать нам визит, но срок для этого истек, а она не появлялась, поэтому мы снова отправились к ней. Она была в городе, но не дома, – сразу же после первого завтрака устремилась в Майл-Энд по каким-то бориобульским делам, связанным с неким обществом, именуемым «Восточно-Лондонским отделением отдела вспомоществования». В прошлый наш визит я не видела Пищика (его нигде не могли отыскать, и кухарка полагала, что он, должно быть, уехал куда-то в повозке мусорщика), и поэтому я теперь снова спросила о нем. Устричные раковины, из которых он строил домик, все еще валялись в коридоре, но мальчика нигде не было видно, и кухарка предположила, что он «убежал за овцами». Мы немного удивленно повторили: «За овцами?», и она объяснила:

– Ну да, в базарные дни он иной раз провожает их далеко за город и является домой бог знает в каком виде!

На следующее утро я сидела с опекуном у окна, а моя Ада писала письмо (конечно, Ричарду), когда нам доложили о приходе мисс Джеллиби, и вот она вошла, держа за руку Пищика, которого, видимо, попыталась привести в приличный вид, а сделала это так: втерла грязь в ямочки на его щеках и ручонках и, хорошенько смочив ему волосы, круто завila их, – намотав пряди на собственные пальцы. Вся одежда на бедном малыше была ему не по росту – либо широка, либо узка. В числе прочих разнокалиберных принадлежностей туалета на него напялили шляпу, вроде тех, какие носят епископы, и рукавички для грудного младенца. Башмаки у Пищика смахивали на сапоги пахарей, только были поменьше, а голые ножонки – густо испещренные царапинами вдоль и поперек, они напоминали сетку меридианов и параллелей на географических картах – торчали из слишком коротких клетчатых штанишек, края которых были обшиты неодинаковыми оборками: на одной штанине одного фасона, на другой – другого. Недостающие застёжки на его клетчатом платье были заменены медными пуговицами, вероятно споротыми с сюртука мистера Джеллиби, – так ярко они были начищены и так несоразмерно велики. Самые необыкновенные образцы дамского рукоделья красовались на его костюме в тех нескольких местах, где он был наспех починен, а платье самой мисс Джеллиби, как я сразу же догадалась, было заштопано той же рукой. Сама Кедди, однако, почему-то изменилась к лучшему, и мы нашли ее прехорошенькой. Она, по-видимому, сознавала, что, несмотря на все ее старания, бедный маленький Пищик выглядит каким-то чучелом, и, как только вошла, взглянула сначала на него, потом на нас.

– О господи! – проговорил опекун. – Опять восточный ветер, не иначе!

Мы с Адой приняли девушку ласково и познакомили ее с мистером Джарндисом, после чего она села и сказала ему:

– Привет от мамы, и она надеется, что вы извините ее, потому что она занята правкой корректуры своего проекта. Она собирается разослать пять тысяч новых циркуляров и убеждена, что вам будет интересно это узнать. Я принесла с собой циркуляр. Привет от мамы.

И, немного насупившись, она подала циркуляр опекуну.

– Благодарю вас, – сказал опекун. – Очень обязан миссис Джеллиби. О господи! Какой неприятный ветер!

Мы занялись Пищиком – сняли с него его епископскую шляпу, стали спрашивать, помнит ли он нас, и тому подобное. Сначала Пищик все закрывался рукавом, но при виде бисквитного торта осмелел – даже не стал упираться, когда я посадила его к себе на колени, а сидел смирно и жевал торт. Вскоре мистер Джарндис ушел в свою временную Брюзжалню, а мисс Джеллиби заговорила, как всегда, отрывисто.

– У нас, в Тейвис-Инне, все так же скверно, – начала она. – У меня – ни минуты покоя. А еще говорят об Африке! Хуже мне быть не может, будь я даже... как это называется?.. «страдающим братом нашим!»

Я попыталась сказать ей что-то в утешение.

– Утешать меня бесполезно, мисс Саммерсон, – воскликнула она, – но все-таки благодарю вас за сочувствие. Кто-кто, а уж я-то знаю, как со мной поступают, и разубедить меня нельзя. Вас тоже не разубедишь, если с вами будут так поступать. Пищик, полезай под рояль, поиграй в диких зверей!

– Не хочу! – отрезал Пищик.

– Ну, погоди, неблагодарный, злой, бессердечный мальчишка! – упрекнула его мисс Джеллиби со слезами на глазах. – Никогда больше не буду стараться тебя наряжать.

– Ладно, Кедди, я пойду! – вскричал Пищик; он, право же, был очень милый ребенок и, тронутый огорчением сестры, немедленно полез под рояль.

– Пожалуй, не стоит плакать из-за таких пустяков, – проговорила бедная мисс Джеллиби, как бы извиняясь, – но я прямо из сил выбилась. Сегодня до двух часов ночи надписывала адреса на новых циркулярах. Я так ненавижу все эти дела, что от одного этого у меня голова разбалчивается, до того, что прямо глаза не глядят на свет божий. Посмотрите на этого несчастного малыша! Ну есть ли на свете подобное пугало!

Пищик, к счастью, не ведающий о недостатках своего туалета, сидел на ковре за ножкой рояля и, уплетая торт, безмятежно смотрел на нас из своей берлоги.

– Я отослала его на другой конец комнаты, – сказала мисс Джеллиби, подвигая свой стул поближе к нам, – потому что не хочу, чтобы он слышал наш разговор. Эти крошки такие понятливые! Так вот, я хотела сказать, что все у нас сейчас так плохо, что хуже некуда. Скоро папу объявят банкротом – вот мама и получит по заслугам. Она одна во всем виновата, ее и надо благодарить.

Мы выразили надежду, что дела мистера Джеллиби не так уж плохи.

– Надеяться бесполезно, хоть это очень мило с вашей стороны, – отозвалась мисс Джеллиби, качая головой. – Не дальше как вчера утром папа (он ужасно несчастный) сказал мне, что не в силах «выдержать эту бурю». Да и немудрено, – будь он в силах, я бы очень этому удивилась. Если лавочники присылают нам на дом всякую дрянь, какую им угодно, а служанки делают с нею все, что им угодно, а мне некогда наводить порядок в хозяйстве, да я и не умею, а маме ни до чего нет дела, так может ли папа «выдержать бурю»? Скажу прямо, будь я на месте папы, я бы сбежала.

– Но, милая, – сказала я, улыбаясь, – не может же ваш папа бросить свою семью.

– Хорошенькая семья, мисс Саммерсон! – отозвалась мисс Джеллиби. – Какие радости дает она ему, эта семья? Счета, грязь, ненужные траты, шум, падения с лестниц, неурядицы и неприятности – вот все, что он видит от своей семьи. В его доме все летит кувырком, всю неделю, от первого дня до последнего, как будто у нас каждый день большая стирка, только ничего не стирают!

Мисс Джеллиби топнула ногой и вытерла слезы.

– Мне так жаль папу, – сказала она, – и я так сержусь на маму, что слов не нахожу! Однако я больше не намерена терпеть. Не хочу быть рабой всю жизнь, не хочу выходить за мистера Куэйла. Выйти за филантропа... счастье какое, подумаешь. Только *этого* не хватает! – заключила бедная мисс Джеллиби.

Признаюсь, я сама не могла не сердиться на миссис Джеллиби, когда видела и слушала эту заброшенную девушку, – ведь я знала, сколько горькой бичующей правды было в ее словах.

– Если бы мы не подружились с вами, когда вы остановились у нас, – продолжала мисс Джеллиби, – я постеснялась бы прийти сюда сегодня, – понятно, какой нелепой я должна казаться вам обеим. Но так или иначе, я решилась прийти, и в особенности потому, что вряд ли увижу вас, когда вы опять приедете в Лондон.

Она сказала это с таким многозначительным видом, что мы с Адой переглянулись, предвидя новые признания.

– Да! – проговорила мисс Джеллиби, качая головой. – Вряд ли! Я знаю, что могу довериться вам обоим. Вы меня никогда не выдадите. Я стала невестой.

– Без ведома ваших родных? – спросила я.

– Ах, боже мой, мисс Саммерсон, – ответила она в свое оправдание немного раздраженным, но не сердитым тоном, – как же иначе? Вы знаете, что за женщина мама, а рассказывать папе я не могу – нельзя же расстраивать его еще больше.

– А не будет он еще несчастнее, если вы выйдете замуж без его ведома и согласия, дорогая? – сказала я.

– Нет, – проговорила мисс Джеллиби, смягчаясь. – Надеюсь, что нет. Я всячески буду стараться, чтобы ему было хорошо и уютно, когда он будет ходить ко мне в гости, а Пищика и остальных ребятишек я собираюсь по очереди брать к себе, и тогда за ними будет хоть какой-нибудь уход.

В бедной Кедди таились большие запасы любви. Она все больше и больше смягчалась и так расплакалась над непривычной ей картиной семейного счастья, которую создала в своем воображении, что Пищик совсем растрогался в своей пещере под роялем и, повалившись навзничь, громко разревелся. Я поднесла его к сестре, которую он поцеловал, потом снова посадила к себе на колени, сказав: «Смотри – Кедди смеется» (она ради него заставила себя рассмеяться), – и только тогда он постепенно успокоился, но все же не раньше, чем мы разрешили ему потрогать нас всех по очереди за подбородок и погладить по щекам. Однако его душевное состояние еще недостаточно улучшилось для пребывания под роялем, поэтому мы поставили его на стул, чтобы он мог смотреть в окно, а мисс Джеллиби, придерживая его за ногу, продолжала изливать душу.

– Это началось с того дня, когда вы приехали к нам, – сказала она.

Естественно, мы спросили, как все случилось.

– Я почувствовала себя такой неуклюжей, – ответила она, – что решила исправиться хоть в этом отношении и выучиться танцевать. Я сказала маме, что мне стыдно за себя и я должна учиться танцам. А мама только скользнула по мне своим невидящим взором, который меня так раздражает; но я все-таки твердо решила выучиться танцевать и поступила в Хореографическую академию мистера Тарвидропа на Ньюмен-стрит.

– И там, дорогая... – начала я.

– Да, там, – сказала Кедди, – там я обручилась с мистером Тарвидропом. Мистеров Тарвидропов двое – отец и сын. Мой мистер Тарвидроп – это сын, конечно. Жаль только, что я так плохо воспитана, – ведь мне хочется быть ему хорошей женой, потому что я его очень люблю.

– Должна сознаться, – промолвила я, – что мне грустно слышать все это.

– Не знаю, почему вам грустно, – сказала она с легкой тревогой, – но так или иначе, я обручилась с мистером Тарвидропом, и он меня очень любит. Пока это тайна, – даже он скрывает нашу помолвку, потому что мистер Тарвидроп-старший имеет свою долю доходов в их предприятии, и, если сообщить ему обо всем сразу, без подготовки, это, чего доброго, разобьет ему сердце или вообще как-нибудь повредит. Мистер Тарвидроп-старший – настоящий джентльмен, настоящий.

– А жена его знает обо всем? – спросила Ада.

– Жена мистера Тарвидропа-старшего, мисс Клейр? – переспросила мисс Джеллиби, широко раскрыв глаза. – У него нет жены. Он вдовец.

Тут нас прервал Пищик, – оказывается, его сестра, увлеченная разговором, сама того не замечая, то и дело дергала его за ногу, как за шнурок от звонка, и бедный мальчуган, не выдержав, уныло захныкал. Ища сочувствия, он обратился ко мне, и я, будучи только слушательницей, сама взялась придерживать его. Мисс Джеллиби, поцелуем попросив прощения у Пищика, сказала, что дергала его не нарочно, потом продолжала рассказывать.

– Вот как обстоят дела, – говорила она. – Но если я и пожалею, что так поступила, все равно я буду считать, что во всем виновата мама. Мы поженимся, как только будет можно, и тогда я пойду в контору к папе и скажу ему, а маме просто напишу. Мама не расстроится; *для нее* я только перо и чернила. Одно меня утешает, и немало, – всхлипнула Кедди. – Если я выйду замуж, я никогда уже больше не услышу об Африке. Мистер Тарвидроп-младший ненавидит ее из любви ко мне, а если мистер Тарвидроп-старший и знает, что она существует, то больше он ничего о ней не знает.

– Настоящий джентльмен – это он, не правда ли? – спросила я.

– Да, он настоящий джентльмен, – сказала Кедди. – Он почти всюду славится своим хорошим тоном.

– Он тоже преподает? – спросила Ада.

– Нет, он ничего не преподает, – ответила Кедди. – Но у него замечательно хороший тон.

Затем Кедди очень застенчиво и нерешительно сказала, что хочет сообщить нам еще кое-что, так как нам следует это знать, и она надеется, что это нас не шокирует. Она подружилась с мисс Флайт, той маленькой полоумной старушкой, с которой мы познакомились в день своего первого приезда в Лондон, и нередко заходит к ней рано утром, а там встречается со своим женихом и проводит с ним несколько минут до первого завтрака – всего несколько минут.

– Я захожу к ней и в другие часы, – проговорила Кедди, – когда Принца у нее нет. Принцем зовут мистера Тарвидропа-младшего. Мне не нравится это имя, потому что оно похоже на собачью кличку, но ведь он не сам себя окрестил. Мистер Тарвидроп-старший назвал его Принцем в память принца-регента. Мистер Тарвидроп-старший боготворил принца-регента за его хороший тон. Надеюсь, вы не осудите меня за эти коротенькие свидания у мисс Флайт, – ведь я впервые пошла к ней вместе с вами и люблю ее, бедняжку, совершенно бескорыстно, да и она, кажется, привязалась ко мне. Если бы вы увидели мистера Тарвидропа-младшего, я уверена, что он вам понравился бы... во всяком случае, уверена, что вы не подумали бы о нем дурно. А сейчас мне пора на урок. Я не решаюсь просить вас, мисс Саммерсон, пойти со мною, но если бы вы пожелали, – закончила Кедди, которая все время говорила серьезным, взволнованным тоном, – я была бы очень рада... очень.

Так совпало, что мы уже условились с опекуном навестить мисс Флайт в этот самый день. Мы давно рассказали ему о том, как однажды попали к ней, и он выслушал нас с интересом, но нам все почему-то не удавалось пойти к ней снова. Я подумала, что, быть может, сумею повлиять на мисс Джеллиби и помешать ей сделать какой-нибудь опрометчивый шаг, если соглашусь быть ее поверенной, – она так хотела этого, бедняжка, – и потому решила пойти с нею и Пищиком в Хореографическую академию, чтобы затем встретиться с опекуном и Адой у мисс Флайт, – я только сегодня узнала, как ее фамилия. Но согласилась я лишь с тем условием, чтобы мисс Джеллиби и Пищик вернулись к нам обедать. Последний пункт соглашения был радостно принят ими обоими, и вот мы при помощи булавок, мыла, воды и щетки для волос привели Пищика в несколько более приличный вид, потом отправились на Ньюмен-стрит, которая была совсем близко.

Академия помещалась в довольно грязном доме, стоявшем в каком-то закоулке, к которому вел крытый проход, и в каждом окне ее парадной лестницы красовались гипсовые бюсты. Насколько я могла судить по табличкам на входной двери, в том же доме жили учитель рисования, торговец углем (хотя места для склада тут, конечно, не могло быть) и художник-литограф. На самой большой табличке, прибитой на самом видном месте, я прочла: «Мистер Тарвидроп». Дверь в его квартиру была открыта настежь, а передняя загромождена роялем, арфой и другими музыкальными инструментами, которые были упакованы в футляры, видимо для перевозки, и при дневном свете у них был какой-то потрепанный вид. Мисс Джеллиби сказала мне, что на прошлый вечер помещение Академии было сдано – тут устроили концерт.

Мы поднялись наверх, в квартиру мистера Тарвидропа, которая, вероятно, была очень хорошей квартирой в те времена, когда кто-то ее убирал и проветривал и когда никто не курил в ней целыми днями, и прошли в зал с верхним светом, пристроенный к конюшне извозничьего двора. В этом зале, почти пустом и гулком, пахло, как в стойле, вдоль стен стояли тростниковые скамьи, а на стенах были нарисованы лиры, чередующиеся через одинаковые промежутки с маленькими хрустальными бра, которые были похожи на ветки и уже разрывали часть своих старомодных подвесок, как ветви деревьев роняют листья осенью. Здесь собралось несколько учениц в возрасте от тринадцати-четырнадцати лет до двадцати двух – двадцати трех, и я уже искала среди них учителя, как вдруг Кедди схватила меня за руку и представила его:

– Мисс Саммерсон, позвольте представить вам мистера Принца Тарвидропа!

Я сделала реверанс голубоглазому миловидному молодому человеку маленького роста, на вид совсем еще мальчику, с льняными волосами, причесанными на прямой пробор и вьющимися на концах. Под мышкой левой руки у него была крошечная скрипочка (у нас в школе такие скрипки называли «кисками»), и в той же руке он держал коротенький смычок. Его балльные туфельки были совсем крохотные, а держался он так простодушно и женственно, что не только произвел на меня приятное впечатление, но, как ни странно, внушил мне мысль, что он, должно быть, весь в мать, а мать его не слишком уважали и баловали.

– Очень счастлив познакомиться с приятельницей мисс Джеллиби, – сказал он, отвесив мне низкий поклон. – А я уже побаивался, что мисс Джеллиби не придет, – добавил он с застенчивой нежностью, – сегодня она немного запоздала.

– Это я виновата, сэр, я задержала ее; вы уж меня простите, – сказала я.

– О, что вы! – проговорил он.

– И, пожалуйста, – попросила я, – не прерывайте из-за меня ваших занятий.

Я отошла и села на скамью между Пищиком (он тоже здесь был завсегдатаем и уже привычно забрался в уголок) и пожилой дамой сурового вида, которая пришла сюда с двумя племянницами, учившимися танцевать, и с величайшим возмущением смотрела на башмаки Пищика. Принц Тарвидроп провел пальцами по струнам своей «киски», а ученицы стали в позицию перед началом танца. В эту минуту из боковой двери вышел мистер Тарвидроп-старший во всем блеске своего хорошего тона.

Это был тучный джентльмен средних лет с фальшивым румянцем, фальшивыми зубами, фальшивыми бакенбардами и в парике. Он носил пальто с меховым воротником, подбитое – для красоты – таким толстым слоем ваты на груди, что ей не хватало только орденской звезды или широкой голубой ленты. Телеса его были сдавлены, вдавлены, выдавлены, придавлены корсетом, насколько хватало сил терпеть. Он носил шейный платок (который завязал так туго, что глаза на лоб лезли) и так обмотал им шею, закрыв подбородок и даже уши, что, казалось, стоит этому платку развязаться, и мистер Тарвидроп весь поникнет. Он носил цилиндр огромного размера и веса, сужавшийся к полям, но сейчас держал его под мышкой и, похлопывая по нему белыми перчатками, стоял, опираясь всей тяжестью на одну ногу, высоко подняв плечи и округлив локти, – воплощение непревзойденной элегантности. Он носил тросточку, носил монокль, носил табакерку, носил перстни, носил белые манжеты, носил все, что можно было носить, но ничто в нем самом не носило отпечатка естественности; он не выглядел молодым человеком, он не выглядел пожилым человеком, он выглядел только образцом хорошего тона.

– Папенька! У нас гостя. Знакомая мисс Джеллиби, мисс Саммерсон.

– Польщен, – проговорил мистер Тарвидроп, – посещением мисс Саммерсон.

Весь перетянутый, он кланялся мне с такой натугой, что я боялась, как бы у него глаза не лопнули.

– Папенька – знаменитость, – вполголоса сказал сын, обращаясь ко мне тоном, выдававшим его трогательную веру в отца. – Папенькой восхищаются все на свете.

– Продолжайте, Принц! Продолжайте! – произнес мистер Тарвидроуп, становясь спиной к камину и снисходительно помахивая перчатками. – Продолжай, сын мой!

Выслушав это приказание, а может быть, милостивое разрешение, сын продолжал урок. Принц Тарвидроуп то играл на «киске» танцуя; то играл на рояле стоя; то слабым голоском – насколько хватало дыхания – напевал мелодию, поправляя позу ученицы; добросовестно проходил с неуспевающими все па и все фигуры танца и ни разу за все время не отдохнул. Его изысканный родитель ровно ничего не делал – только стоял спиной к камину, являя собой воплощение хорошего тона.

– Вот так он всегда – бездельничает, – сказала пожилая дама сурового вида. – Однако, верите ли, на дверной табличке написана *его* фамилия!

– Но сын носит ту же фамилию, – сказала я.

– Он не позволил бы сыну носить никакой фамилии, если бы только мог отнять ее, – возразила пожилая дама. – Посмотрите, как его сын одет! – И правда, костюм у Принца был совсем простой, потертый, почти изношенный. – А папаша только и делает, что франтит да прихорашивается, – продолжала пожилая дама, – потому что у него, изволите видеть, «хороший тон». Я бы ему показала «тон»! Не худо бы сбавить ему его тон, вот что!

Мне было интересно узнать о нем побольше, и я спросила:

– Может быть, он теперь дает уроки хорошего тона?

– Теперь! – сердито повторила пожилая дама. – Никогда он никаких уроков не давал.

Немного подумав, я сказала, что, может быть, он когда-то был специалистом по фехтованию.

– Да он вовсе не умеет фехтовать, сударыня, – ответила пожилая дама.

Я посмотрела на нее с удивлением и любопытством. Пожилая дама, все более и более кипевшая гневом на «воплощение хорошего тона», рассказала мне кое-что из его жизни, категорически утверждая, что даже смягчает правду.

Он женился на кроткой маленькой женщине, скромной учительнице танцев, дававшей довольно много уроков (сам он и до этого никогда в жизни ничего не делал – только отличался хорошим тоном), а женившись, уморил ее работой, или, в лучшем случае, позволил ей доработаться до смерти, чтобы оплачивать расходы на поддержание его репутации в свете. Стремясь рисоваться своим хорошим тоном в присутствии наиболее томных денди и вместе с тем всегда иметь их перед глазами, он считал нужным посещать все модные увеселительные места, где собиралось светское общество, во время сезона появляться в Брайтоне и на других курортах и вести праздную жизнь, одеваясь как можно шикарней. А маленькая любящая учительница танцев трудилась и старалась изо всех сил, чтобы дать ему эту возможность, и, наверное, по сию пору продолжала бы трудиться и стараться, если бы ей не изменили силы. Объяснялось все это тем, что, несмотря на всепоглощающее себялюбие мужа, жена (завороженная его хорошим тоном) верила в него до конца и на смертном одре в самых трогательных выражениях поручила его Принцу, говоря, что отец имеет неотъемлемое право рассчитывать на сына, а сын обязан всемерно превозносить и почитать отца. Сын унаследовал веру матери и, всегда имея перед глазами пример «хорошего тона», жил и вырос в этой вере, а теперь, дожив до тридцати лет, работает на отца по двенадцати часов в день и благоговейно смотрит снизу вверх на это мнимое совершенство.

– Как он рисуется! – сказала моя собеседница и с немым возмущением покачала головой, глядя на мистера Тарвидроупа-старшего, который натягивал узкие перчатки, конечно не подозревая, как его честят. – Он искренне воображает себя аристократом! Подло обманывает сына, но говорит с ним так благосклонно, что его можно принять за самого любящего из отцов. У, я бы тебя на куски растерзала! – проговорила пожилая дама, глядя на мистера Тарвидроупа с беспредельным негодованием.

Мне было немножко смешно, хотя я слушала пожилую даму с искренним огорчением. Трудно было сомневаться в ее правдивости при виде отца и сына. Не знаю, как бы я отнеслась к ним, если бы не слышала ее рассказа, или как бы я отнеслась к этому рассказу, если бы не видела их сама. Но одно так соответствовало другому, что нельзя было ей не верить.

Я переводила глаза с мистера Тарвидропа-младшего, работавшего так усердно, на мистера Тарвидропа-старшего, державшего себя так изысканно, как вдруг последний мелкими шажками подошел ко мне и вмешался в мой разговор с пожилой дамой.

Прежде всего он спросил меня, оказала ли я честь и придала ли очарование Лондону, избрав его своей резиденцией. Я не нашла нужным ответить, что, как мне прекрасно известно, я ничего не могу оказать или придать этому городу, и потому просто сказала, где я живу всегда.

– Столь грациозная и благовоспитанная леди, – изрек он, поцеловав свою правую перчатку и указывая ею в сторону танцующих, – отнесется снисходительно к недостаткам этих девиц. Мы делаем все, что в наших силах, дабы навести на них лоск... лоск... лоск!

Он сел рядом со мной, стараясь, как показалось мне, принять на скамье ту позу, в какой сидит на диване его августейший образец на известном гравированном портрете. И правда, вышло очень похоже.

– Навести лоск... лоск... лоск! – повторил он, беря понюшку табаку и слегка пошевеливая пальцами. – Но мы теперь уже не те, какими были, – если только я осмелюсь сказать это особе, грациозной не только от природы, но и благодаря искусству, – он поклонился, вздернув плечи, чего, кажется, не мог сделать, не поднимая бровей и не закрывая глаз, – мы теперь уже не те, какими были раньше в отношении хорошего тона.

– Разве, сэр? – усомнилась я.

– Мы выродились, – ответил он, качая головой с большим трудом, так как шейный платок очень мешал ему. – Век, стремящийся к равенству, не благоприятствует хорошему тону. Он способствует вульгарности. Быть может, я несколько пристрастен. Пожалуй, не мне говорить, что вот уже много лет, как меня прозвали «Джентльменом Тарвидропом», или что его королевское высочество принц-регент, заметив однажды, как я снял шляпу, когда он выезжал из Павильона в Брайтоне (прекрасное здание!), сделал мне честь осведомиться: «Кто он такой? Кто он такой, черт подери? Почему я с ним не знаком? Надо б ему платить тридцать тысяч в год!» Впрочем, все это пустяки, анекдоты... Однако они получили широкое распространение, сударыня... их до сих пор иногда повторяют в высшем свете.

– В самом деле? – сказала я.

Он ответил поклоном и высоко вздернул плечи.

– В высшем свете, – добавил он, – где пока еще сохраняется то немногое, что осталось у нас от хорошего тона. Англия – горе тебе, отечество мое! – выродилась и с каждым днем вырождается все больше. В ней осталось не так уж много джентльменов. Нас мало. У нас нет преемников – на смену нам идут ткачи.

– Но можно надеяться, что джентльмены не переведутся благодаря вам, – сказала я.

– Вы очень любезны, – улыбнулся он и снова поклонился, вздернув плечи. – Вы мне льстите. Но нет... нет! Учитель танцев должен отличаться хорошим тоном, но мне так и не удалось привить его своему бедному мальчику. Сохрани меня бог осуждать моего дорогого отпрыска, но про него никак нельзя сказать, что у него хороший тон.

– Он, по-видимому, прекрасно знает свое дело, – заметила я.

– Поймите меня правильно, сударыня; он действительно прекрасно знает свое дело. Все, что можно заучить, он заучил. Все, что можно преподавать, он преподает. Но есть вещи... – Он взял еще понюшку табаку и снова поклонился, как бы желая сказать: «Например, такие вот вещи».

Я посмотрела на середину комнаты, где жених мисс Джеллиби, занимаясь теперь с отдельными ученицами, усердствовал пуще прежнего.

– Мое милое дитя, – пробормотал мистер Тарвидроп, поправляя шейный платок.

– Ваш сын неутомим, – сказала я.

– Я вознагражден вашими словами, – отозвался мистер Тарвидроп. – В некоторых отношениях он идет по стопам своей матери – святой женщины. Вот было самоотверженное создание! О вы, женщины, прелестные женщины, – продолжал мистер Тарвидроп с весьма неприятной галантностью, – какой обольстительный пол!

Я встала и подошла к мисс Джеллиби, которая уже надевала шляпу. Да и все ученицы надевали шляпы, так как урок окончился. Когда только мисс Джеллиби и несчастный Принц успели обручиться – не знаю, но на этот раз они не успели обменяться и десятком слов.

– Дорогой мой, – ты знаешь, который час? – благосклонно обратился мистер Тарвидроп к сыну.

– Нет, папенька.

У сына не было часов. У отца были прекрасные золотые часы, и он вынул их с таким видом, как будто хотел показать всему человечеству, как нужно вынимать часы.

– Сын мой, – проговорил он, – уже два часа. Не забудь, что в три ты должен быть на уроке в Кенсингтоне.

– Времени хватит, папенька, – сказал Принц, – я успею наскоро перекусить и побегу.

– Поторопись, мой дорогой мальчик, – настаивал его родитель. – Холодная баранина стоит на столе.

– Благодарю вас, папенька. А *вы* тоже уходите, папенька?

– Да, милый мой. Я полагаю, – сказал мистер Тарвидроп, закрывая глаза и поднимая плечи со скромным сознанием своего достоинства, – что мне, как всегда, следует показаться в городе.

– Надо бы вам пообедать где-нибудь в хорошем ресторане, – заметил сын.

– Дитя мое, так я и сделаю. Я скромно пообедаю хотя бы во французском ресторане у Оперной колоннады.

– Вот и хорошо. До свидания, папенька! – сказал Принц, пожимая ему руку.

– До свидания, сын мой. Благослови тебя бог!

Мистер Тарвидроп произнес эти слова прямо-таки набожным тоном, и они, видимо, приятно подействовали на его сына, – прощаясь с отцом, он был так им доволен, так гордился им, всем своим видом выражал такую преданность, что, как мне показалось тогда, было бы просто нехорошо по отношению к младшему из Тарвидропов не верить слепо в старшего. Прощаясь с нами (и особенно с одной из нас, что я подметила, будучи посвящена в тайну), Принц вел себя так, что укрепил благоприятное впечатление, произведенное на меня его почти детским характером. Я почувствовала к нему симпатию и сострадание, когда он, засунув в карман свою «киску» (а одновременно свое желание побыть немножко с Кедди), покорно пошел есть холодную баранину, чтобы потом отправиться на урок в Кенсингтон, и я вознегодовала на его «папеньку» едва ли не больше, чем суровая пожилая дама.

Папенька же распахнул перед нами дверь и пропустил нас вперед с поклоном, достойным, должна сознаться, того блестящего образца, которому он всегда подражал. Вскоре он, все такой же изысканный, прошел мимо нас по другой стороне улицы, направляясь в аристократическую часть города, чтобы показаться среди немногих других уцелевших «джентльменов». На несколько минут я целиком погрузилась в мысли обо всем, что видела и слышала на Ньюмен-стрит, и потому совсем не могла разговаривать с Кедди или хотя бы прислушиваться к ее словам, – особенно когда задумалась над вопросом: нет ли или не было ли когда-нибудь джентльменов, которые, не занимаясь танцами как профессией, тем не менее тоже создали себе репутацию исключительно своим хорошим тоном? Это меня так смутило и мне так живо представилось, что «мистеров Тарвидропов», может быть, много, что я сказала себе: «Эстер,

перестань думать об этом и обрати внимание на Кедди». Так я и поступила, и мы проболтали весь остаток пути до Линкольнс-Инна.

По словам Кедди, ее жених получил такое скудное образование, что письма его не всегда легко разобрать. Она сказала также, что если бы он не так беспокоился о своей орфографии и поменьше старался писать правильно, то выходило бы гораздо лучше; но он прибавляет столько лишних букв к коротким английским словам, что те порой смахивают на иностранные.

– Ему, бедняжке, хочется сделать лучше, – заметила Кедди, – а получается хуже!

Затем Кедди принялась рассуждать о том, что нельзя же требовать, чтобы он был образованным человеком, если он всю свою жизнь провел в танцевальной школе и только и делал, что учил да прислуживал, прислуживал да учил, утром, днем и вечером! Ну и что же? Да ничего! Ведь она-то умеет писать письма за двоих, – выучилась, на свое горе, – и пусть уж лучше он будет милым, чем ученым. «Да ведь и меня тоже нельзя назвать образованной девушкой, и я не имею права задирать нос, – добавила Кедди. – Знаю я, конечно, очень мало, – по милости мамы!»

– Пока мы одни, мне хочется рассказать вам еще кое-что, мисс Саммерсон, – продолжала Кедди, – но я не стала бы этого говорить, если бы вы не познакомились с Принцем. Вы знаете, что такое наш дом. У нас в доме не научишься тому, что полезно знать жене Принца, – не стоит и пытаться. Мы живем в такой неразберихе, что об этом и думать нечего, и всякий раз, как я делала такие попытки, у меня только еще больше опускались руки. И вот я стала понемногу учиться... у кого бы вы думали – у бедной мисс Флайт! Рано утром я помогаю ей убирать комнату и чистить птичьи клетки; варю ей кофе (конечно, она сама меня этому научила), и стала так хорошо его варить, что, по словам Принца, он никогда нигде не пил такого вкусного кофе и мой кофе привел бы в восторг даже мистера Тарвидропа-старшего, а тот ведь очень разборчивый. Кроме того, я теперь умею делать маленькие пудинги и знаю, как покупать баранину, чай, сахар, масло и вообще все, что нужно для хозяйства. Вот шить я еще не умею, – сказала Кедди, взглянув на залатанное платье Пищика, – но, может быть, научусь; а главное, с тех пор как я обручилась с Принцем и начала заниматься всем этим, я чувствую, что характер у меня стал получше, и я многое прощаю маме. Нынче утром я совсем было расстроилась, когда увидела вас и мисс Клейр, таких чистеньких и хорошеньких, и мне стало стыдно за Пищика, да и за себя тоже; но, в общем, характер у меня, кажется, стал получше, и я многое прощаю маме.

Бедная девушка, как она старалась, как искренне говорила... я даже растрогалась.

– Милая Кедди, – сказала я, – я начинаю очень привязываться к вам и надеюсь, что мы подружимся.

– Неужели правда? – воскликнула Кедди. – Какое счастье!

– Знаете что, Кедди, душенька моя, – сказала я, – давайте отныне будем друзьями, давайте почаще разговаривать обо всем этом и попытаемся найти правильный путь.

Кедди пришла в восторг. Я всячески старалась по-своему, по-старосветски утешить и ободрить ее и в тот день чувствовала, что простила бы мистера Тарвидропа-старшего только в том случае, если бы он преподнес своей будущей невестке целое состояние.

И вот мы подошли к лавке мистера Крука и увидели, что дверь в жилые помещения открыта. На дверном косяке было наклеено объявление, гласившее, что сдается комната на третьем этаже. Тут Кедди вспомнила и рассказала мне, пока мы поднимались вверх, что в этом доме кто-то скоропостижно умер и о его смерти производилось дознание, а наша маленькая приятельница захворала с перепугу. Окно и дверь в пустующую комнату были открыты, и мы решились в нее заглянуть. Это была та самая комната с окрашенной в темную краску дверью, на которую мисс Флайт тайком обратила мое внимание, когда я впервые была в этом доме. Печальный и нежилой вид был у этой каморки – мрачной и угрюмой, и, как ни странно, мне стало как-то тоскливо и даже страшно.

– Вы побледнели, – сказала Кедди, когда мы вышли на лестницу, – вам холодно?

Все во мне застыло – так подействовала на меня эта комната.

Увлечшись разговором, мы шли сюда медленно, поэтому опекун и Ада опередили нас. Мы застали их уже в мансарде у мисс Флайт. Они разглядывали птичек в клетках, в то время как врач, который был так добр, что взялся лечить старушку и отнесся к ней очень заботливо и участливо, оживленно разговаривал с нею у камина.

– Ну, мне как врачу тут больше делать нечего, – сказал он, идя нам навстречу. – Мисс Флайт чувствует себя гораздо лучше и уже завтра сможет снова пойти в суд (ей прямо не терпится). Насколько я знаю, ее там очень недостает.

Мисс Флайт выслушала этот комплимент с самодовольным видом и сделала всем нам общий реверанс.

– Весьма польщена этим новым визитом подопечных тяжбы Джарндисов! – сказала она. – Оч-чень счастлива принять Джарндиса, владельца Холодного дома, под своим скромным кровом! – Мистеру Джарндису она сделала отдельный реверанс. – Фиц-Джарндис, милая, – так она прозвала Кедди и всегда называла ее так, – вам особый привет!

– Она была очень больна? – спросил мистер Джарндис доктора.

Мисс Флайт немедленно ответила сама, хотя опекун задал вопрос шепотом.

– Ах, совсем, совсем расхворалась! Ах, действительно тяжело болела! – пролепетала она конфиденциальным тоном. – Не боль, заметьте... но волнение. Не столько физические страдания, сколько нервы... нервы! Сказать вам правду, – продолжала она, понизив голос и вся дрожа, – у нас тут умер один человек. В доме нашли яд. Я очень тяжело переживаю такие ужасы. Я испугалась. Один мистер Вудкорт знает – как сильно. Мой доктор, мистер Вудкорт! – представила она его очень церемонно. – Подопечные тяжбы Джарндисов... Джарндис, владелец Холодного дома... Фиц-Джарндис.

– Мисс Флайт, – начал мистер Вудкорт серьезным тоном (словно, говоря с нами, он обращался к ней) и мягко касаясь рукой ее локтя, – мисс Флайт описывает свой недуг со свойственной ей обстоятельностью. Ее напугало одно происшествие в этом доме, которое могло напугать и более сильного человека, и она занемогла от огорчения и волнения. Она поспешила привести меня сюда, как только нашли тело, но было уже поздно, и я ничем не мог помочь несчастному. Впрочем, я вознаградил себя за неудачу – стал часто заходить к мисс Флайт, чтобы хоть немного помочь ей.

– Самый добрый доктор из всей медицинской корпорации, – зашептала мне мисс Флайт. – Я жду решения суда. В Судный день. И тогда буду раздавать поместья.

– Дня через два она будет так же здорова, как всегда, – сказал мистер Вудкорт, внимательно глядя на нее и улыбаясь, – другими словами, совершенно здорова. А вы слышали о том, как ей повезло?

– Поразительно! – воскликнула мисс Флайт, восторженно улыбаясь. – Просто невероятно, милая моя! Каждую субботу Велеречивый Кендж или Гаппи (клерк Велеречивого Кенджа) вручает мне пачку шиллингов. Шиллингов... уверяю вас! И всегда их одинаковое количество. Всегда по шиллингу на каждый день недели. Ну, знаете ли! И так своевременно, не правда ли? Да-а! Но откуда же эти деньги, спросите вы? Вот это важный вопрос! А как же! Сказать вам, что думаю я? Я думаю, – промолвила мисс Флайт, отодвигаясь с очень хитрым видом и весьма многозначительно покачивая указательным пальцем правой руки, – я думаю, что лорд-канцлер, зная о том, как давно была снята Большая печать (а ведь она была снята очень давно!), посылает мне эти деньги. И будет посылать вплоть до решения суда, которого я ожидаю. Да... это, знаете ли, очень похвально с его стороны. Таким путем признать, что он и *вправду* немножко медлителен для человеческой жизни. Так деликатно! Когда я в прошлый раз была в суде, – а я бываю там регулярно, со своими документами, – я дала ему понять, что знаю, кто присылает деньги, и он почти признался. То есть я улыбнулась ему со своей скамьи,

а он улыбнулся мне со своей. Но это большая удача, не правда ли? А Фиц-Джарндис очень экономно тратит для меня эти деньги. О, уверяю вас, очень!

Я поздравила мисс Флайт (так как она обращалась ко мне) с приятной добавкой к ее обычному бюджету и пожелала ей подольше получать эти деньги. Я не стала раздумывать, кто бы это мог присылать ей пособие, не спросила себя, кто был к ней так добр и так внимателен. Опекун стоял передо мной, рассматривая птичек, и мне незачем было искать других добрых людей.

– Как зовут этих пташек, сударыня? – спросил он. – У них есть имена?

– Я могу ответить за мисс Флайт, – сказала я, – имена у птичек есть, и она обещала нам назвать их. Помнишь, Ада?

Ада помнила это очень хорошо.

– Разве обещала? – проговорила мисс Флайт. – Кто там за дверью?.. Зачем вы подслушиваете, Крук?

Старик, хозяин дома, распахнул дверь и появился на пороге с меховой шапкой в руках и с кошкой, которая шла за ним по пятам.

– Я не подслушивал, мисс Флайт, – сказал он. – Я хотел было к вам постучать, а вы уж успели догадаться, что я здесь!

– Гоните вниз свою кошку! Гоните ее вон! – сердито закричала старушка.

– Ну-ну, будет вам!.. Бояться нечего, господа, – сказал мистер Крук, медленно и пристально оглядывая всех нас поочередно, – пока я здесь, на птиц она не кинется, если только я сам не велю ей.

– Не посетуйте на моего хозяина, – проговорила старушка с достоинством. – Он ведь... того, совсем того! Что вам нужно, Крук? У меня гости.

– Ха! – произнес старик. – Вы ведь знаете, что меня прозвали Канцлером?

– Да! Ну и что же? – сказала мисс Флайт.

– «Канцлер», а незнаком с одним из Джарндисов, неужто это не странно, мисс Флайт? – захихикал старик. – Разрешите представиться?.. Ваш слуга, сэр. Я знаю тяжбу «Джарндисы против Джарндисов» почти так же досконально, как вы, сэр. Я и старого сквайра Тома знавал, сэр. Но вас, помнится, никогда не видывал... даже в суде. А ведь, если сложить все дни в году, когда я там бываю, получится немало времени.

– Я никогда туда не хожу, – отозвался мистер Джарндис (и он действительно никогда, ни при каких обстоятельствах, не появлялся в суде). – Я скорее отправился бы в... какое-нибудь другое скверное место.

– Вот как? – ухмыльнулся Крук. – Очень уж вы строги к моему благородному и ученому собрату, сэр; впрочем, это, пожалуй, естественно – для Джарндиса. Обжегся на молоке, будешь дуть на воду, сэр! Что я вижу! Вы, кажется, интересуетесь птичками моей жилицы, мистер Джарндис? – Шаг за шагом старик прокрался в комнату, приблизился к опекуну и, коснувшись его локтем, впился пристальным взглядом ему в лицо. – Чудачка такая, ни за что не соглашается сказать, как зовут ее птиц, хотя всем им дала имена. – Последние слова он произнес шепотом. – Ну как, назвать мне их, Флайт? – громко спросил он, подмигивая нам и показывая пальцем на старушку, которая отошла и сделала вид, что выметает золу из камина.

– Как хотите, – быстро ответила она.

Старик посмотрел на нас, потом перевел глаза на клетки и принялся называть имена птичек:

– Надежда, Радость, Юность, Мир, Покой, Жизнь, Прах, Пепел, Растрата, Нужда, Разорение, Отчаяние, Безумие, Смерть, Коварство, Глупость, Слова, Парики, Тряпье, Пергамент, Грабеж, Прецедент, Тарабарщина, Обман и Чепуха. Вот и вся коллекция, – сказал старик, – и все заперты в клетку моим благородным ученым собратом.

– Какой неприятный ветер! – пробормотал опекун.

– Когда мой благородный и ученый собрат вынесет свое решение, всех их выпустят на волю, – проговорил Крук, снова подмигивая нам. – А тогда, – добавил он шепотом и осклабился, – если только это когда-нибудь случится, – но этого не случится, – их заклюют птицы, которых никогда не сажали в клетки.

– Восточный ветер! – сказал опекун и посмотрел в окно, делая вид, будто ищет глазами флюгер. – Ну да, прямо с востока дует!

Нам было очень трудно уйти из этого дома. Задерживала нас не мисс Флайт, – когда дело шло об удобствах других людей, эта малюсенькая старушка вела себя как нельзя внимательней. Нас задерживал мистер Крук. Казалось, он был не в силах оторваться от мистера Джарндиса. Будь они прикованы друг к другу, Крук и то не мог бы так цепляться за него. Он предложил нам осмотреть его «Канцлерский суд» и весь тот диковинный хлам, который там накопился. Пока мы осматривали лавку, хозяин (который сам затягивал осмотр) не отходил от мистера Джарндиса, а порой даже задерживал его под тем или иным предлогом, когда мы проходили дальше, по-видимому терзаемый желанием поговорить о какой-то тайне, коснуться которой не решался. Вообще весь облик и поведение мистера Крука в тот день так ярко изобличали осторожность, нерешительность и неотвязное стремление сделать нечто такое, на что трудно отважиться, что это производило чрезвычайно странное впечатление. Он неотступно следил за моим опекуном. Он почти не сводил глаз с его лица. Если они шли рядом, Крук наблюдал за опекуном с лукавством старой лисицы. Если Крук шел впереди, он все время оглядывался назад. Когда мы останавливались, он стоял против мистера Джарндиса, водя рукой перед открытым ртом с загадочным видом человека, сознающего свою силу, поднимал глаза, опускал седые брови, шурился и, кажется, изучал каждую черточку на лице опекуна.

Обойдя весь дом (вместе с приставшей к нам кошкой) и осмотрев всю находившуюся в нем разнообразную рухлядь, и вправду прелюбопытную, мы наконец вернулись в заднюю комнатку при лавке. Здесь на дне пустого бочонка стояла бутылка с чернилами, лежали огрызки гусиных перьев и какие-то грязные театральные афиши, а на стене было наклеено несколько больших печатных таблиц с прописями, начертанными разными, но одинаково разборчивыми почерками.

– Что вы тут делаете? – спросил опекун.

– Учусь читать и писать, – ответил Крук.

– И как у вас идет дело?

– Медленно... плохо, – с досадой ответил старик. – В мои годы это трудно.

– Было бы легче учиться с преподавателем, – сказал опекун.

– Да, но меня могут научить неправильно! – возразил старик, и в глазах его промелькнула странная подозрительность. – Уж и не знаю, сколько я потерял оттого, что не учился раньше. Обидно будет потерять еще больше, если меня научат неправильно.

– Неправильно? – переспросил опекун, добродушно улыбаясь. – Но кому же придет охота учить вас неправильно, как вы думаете?

– Не знаю, мистер Джарндис, хозяин Холодного дома, – ответил старик, сдвигая очки на лоб и потирая руки. – Я никого не подозреваю, но лучше все-таки полагаться на самого себя, чем на других!

Эти ответы и вообще поведение старика были так странны, что опекун спросил мистера Вудкорта, когда мы все вместе шли через Линкольнс-Инн, правда ли, что мистер Крук не в своем уме, как на это намекала его жилища. Молодой врач ответил, что не находит этого. Конечно, старик донельзя подозрителен, как и большинство невежд, к тому же он всегда немного навеселе – напивается неразбавленным джином, которым так разит от него и его лавки, как мы, наверное, заметили, – но пока что он в своем уме.

По дороге домой я купила Пищину игрушку – ветряную мельницу с двумя мешочками муки, чем так расположила его к себе, что он никому, кроме меня, не позволил снять с него

шляпу и рукавички, а когда мы сели за стол, пожелал быть моим соседом. Кедди сидела рядом со мною с другой стороны, а рядом с нею села Ада, которой мы рассказали всю историю помолвки, как только вернулись домой. Мы очень ухаживали за Кедди и Пищиком, и Кедди совсем развеселилась, а опекун был так же весел, как мы, и все очень приятно проводили время, пока не настал вечер и Кедди не уехала домой в наемной карете с Пищиком, который уже сладко спал, так и не выпуская своей ветряной мельницы из крепко сжатых ручонков.

Я забыла сказать – во всяком случае, не сказала, – что мистер Вудкорт был тем самым смуглым молодым врачом, с которым мы познакомились у мистера Беджера. Не сказала я и о том, что в тот день мистер Джарндис пригласил его к нам отобедать. А также о том, что он пришел. А также о том, что, когда все разошлись и я предложила Аде: «Ну, душенька, давай немножко поболтаем о Ричарде!», Ада рассмеялась и сказала...

Впрочем, неважно, что именно сказала моя прелесть. Она всегда любила подшучивать.

Глава XV

Белл-Ярд

Пока мы жили в Лондоне, мистера Джарндиса постоянно осаждали толпы леди и джентльменов, которые волновались по всякому поводу и уже успели очень удивить нас своим образом действий. Мистер Куэйл, появившийся у нас вскоре после нашего приезда, участвовал во всех этих волнующих мероприятиях. Он совал свой лоснящийся шишковатый лоб во все, что происходило на свете, а волосы зачесывал назад, с такой силой приглаживая их щеткой, что самые корни их, казалось, готовы были вырваться из головы в ненасытной жажде благотворительности. Любые объекты этой благотворительности были для него равны, но особенно охотно он хлопотал о поднесении адресов всем и каждому. По-видимому, главнейшей его способностью была способность восхищаться кем угодно без всякого разбора. Он с величайшим наслаждением мог заседать сколько угодно часов, подставляя свой лоб лучам любого светила. Вначале, видя, как беззаветно он восхищается миссис Джеллиби, я подумала, что он предан до самозабвения ей одной. Но я скоро заметила свою ошибку и поняла, что он прислужник и глашатай целой толпы.

Однажды миссис Пардигл явилась к нам с просьбой подписаться в пользу чего-то, и с нею пришел мистер Куэйл. Что бы ни говорила миссис Пардигл, мистер Куэйл повторял нам ее слова, и если раньше он расхваливал миссис Джеллиби, то теперь расхваливал миссис Пардигл. Миссис Пардигл написала опекуну письмо, в котором рекомендовала ему своего красноречивого друга, мистера Гашера. Вместе с мистером Гашером снова явился и мистер Куэйл. Мистер Гашер, рыхлый джентльмен с потной кожей и глазами, столь несоразмерно маленькими для его лунообразного лица, что казалось, будто они первоначально предназначались кому-то другому, на первый взгляд не внушал симпатии; однако не успел он сесть, как мистер Куэйл довольно громко спросил меня и Аду, не кажется ли нам, что его спутник крупная личность – какой он, конечно, и был, если говорить о его расплывшихся телесах, но мистер Куэйл имел в виду красоту духовную, – и не поражают ли нас монументальные формы его чела? Короче говоря, в среде этих людей мы слышали о множестве «миссий» разного рода, но яснее всего поняли, что миссия мистера Куэйла сводится к восторженному восхищению миссиями всех прочих и что именно эта миссия пользуется наибольшей популярностью.

Мистер Джарндис попал в их компанию по влечению своего сострадательного сердца, повинувшись искреннему желанию делать добро по мере сил, но ничуть не скрывал от нас, что компания эта слишком часто кажется ему неприятной, ибо ее милосердие проявляется судорожно, а благотворительность превратилась в мундир для жаждущих дешевой известности крикливых проповедников и аферистов, неистовых на словах, суетливых и тщеславных на деле, до крайности низко раболепствующих перед сильными мира сего, льстящих друг другу и невыносимых для людей, которые стремятся без всякой шумихи предотвращать падение слабых, вместо того чтобы с непомерным хвастовством и самовосхвалением чуть-чуть приподымать павших, когда они уже повержены ниц. После того как мистеру Куэйлу однажды поднесли адрес благодаря стараниям мистера Гашера (которому уже поднесли адрес стараниями мистера Куэйла), а мистер Гашер полтора часа говорил об этом на митинге, где присутствовали воспитанники двух школ для бедных, причем то и дело напоминал мальчикам и девочкам о лепте вдовицы и убеждал их пожертвовать по полупенсу, – ветер, кажется, недели три подряд дул с востока.

Я говорю об этом потому, что мне опять придется рассказывать о мистере Скимполе. Мне казалось, что по контрасту с такого рода явлениями его откровенные признания в своей ребячливости и беспечности были большим облегчением для опекуна, который тем охотнее

им верил, что ему было приятно видеть хоть одного вполне искреннего и бесхитростного человека среди стольких людей, противоположных ему по характеру. Я не хочу думать, что мистер Скимпол об этом догадывался и умышленно вел себя таким образом, – утверждать это я не имею права, ибо никогда не могла понять его вполне. Во всяком случае, он со всеми на свете вел себя так же, как с моим опекуном.

Мистер Скимпол был не совсем здоров, и поэтому мы до сих пор не встречались с ним, хотя он жил в Лондоне. Но как-то раз утром он пришел к нам веселый, как всегда, и в приятнейшем расположении духа.

Ну, вот он и появился, говорил он. Он болел желтухой; а ведь желчь часто разливается у богатых людей, поэтому он во время болезни уверял себя, что он богат. Впрочем, в одном отношении он действительно богат, а именно – благими намерениями. Своего врача он, можно сказать, озолотил самым щедрым образом. Он всегда удваивал, а порой даже учетверял его гонорар. Он говорил доктору: «Слушайте, дорогой доктор, вы глубоко ошибаетесь, считая, что лечите меня даром. Если б вы только знали, как щедро я осыпаю вас деньгами... в душе, преисполненной благих намерений!» И в самом деле, он (по его словам) так горячо желал заплатить за свое лечение, что желание это считал почти равным действию. Имей он возможность сунуть доктору в руку эти кусочки металла и листки тонкой бумаги, которым человечество придает такое значение, он вручил бы их доктору. Но раз он такой возможности не имеет, он заменяет действие желанием. Прекрасно! Если он действительно хочет заплатить доктору, если его желание искренне и непритворно, – а так оно и есть, – значит, оно все равно что звонкая монета и, следовательно, погашает долг.

– Возможно, мне это только кажется, – отчасти потому, что я ничего не понимаю в ценности денег, – говорил мистер Скимпол, – но так мне кажется часто. И даже представляется вполне разумным. Мой мясник говорит мне, что хотел бы получить деньги по «счетику». Кстати, он всегда говорит не «счет», а именно «счетик», и в этом сказывается приятная, хоть и не осознанная им поэтичность его натуры, – тем самым он стремится облегчить расчеты нам обоим. Я отвечаю мяснику: «Мой добрый друг, вам уже уплачено, и жаль, что вы этого не понимаете. К чему вам трудиться, – ходить сюда и требовать уплаты по вашему «счетику»? Вам уже уплачено. Ведь я искренне хочу этого».

– Но предположим, – сказал опекун, рассмеявшись, – что он только *хотел* доставить вам мясо, указанное в счете, но не доставил?

– Дорогой Джарндис, – возразил мистер Скимпол, – вы меня удивляете. Вы разделяете точку зрения мясника. Один мясник, с которым я как-то имел дело, занял ту же самую позицию. Он сказал: «Сэр, почему вы скушали молодого барашка по восемнадцати пенсов за фунт?» – «Почему я скушал молодого барашка по восемнадцати пенсов за фунт, любезный друг? – спросил я, натурально изумленный таким вопросом. – Да просто потому, что я люблю молодых барашков»... Не правда ли, убедительно? «Если так, сэр, – говорит он, – надо мне было только хотеть доставить вам барашка, раз вы только хотите уплатить мне деньги». – «Давайте, приятель, – говорю я, – рассуждать, как подобает разумным существам. Ну, как же это могло быть? Это совершенно немыслимо. Ведь у вас барашек *был*, а у меня денег *нет*. Значит, если вы действительно хотели прислать мне барашка, вы не могли его не прислать; тогда как я могу хотеть и действительно хочу уплатить вам деньги, но не могу их уплатить». Он не нашелся что ответить. Тем дело и кончилось.

– И он не подал на вас жалобы в суд? – спросил опекун.

– Подал, – ответил мистер Скимпол. – Но так он поступил под влиянием страсти, а не разума. Кстати, слово «страсть» напомнило мне о Бойторне. Он пишет мне, что вы и ваши дамы обещали ненадолго приехать к нему в Линкольншир и погостить в его холостяцком доме.

– Мои девочки его очень любят, – сказал мистер Джарндис, – и ради них я обещал ему приехать.

– Мне кажется, природа позабыла его отретушировать, – заметил мистер Скимпол, обращаясь ко мне и Аде. – Слишком уж он бурлив... как море. Слишком уж вспыльчив... ни дать ни взять бык, который раз навсегда решил считать любой цвет красным. Но я признаю, что достоинства его поражают, как удары кузнечного молота по голове.

Впрочем, странно было бы, если бы эти двое высоко ставили друг друга, – ведь мистер Бойторн так серьезно относился ко всему на свете, а мистер Скимпол ни к чему не относился серьезно. Кроме того, я заметила, что всякий раз, как речь заходила о мистере Скимполе, мистер Бойторн едва удерживался от того, чтобы не высказать о нем свое мнение напрямик. Сейчас мы с Адой, конечно, сказали только, что нам мистер Бойторн очень нравится.

– Он и меня пригласил, – продолжал мистер Скимпол, – и если дитя может довериться такому человеку (а данное дитя склоняется к этому, раз оно будет под охраной соединенной нежности двух ангелов), то я поеду. Он предлагает оплатить мне дорогу в оба конца. Пожалуй, это будет стоить денег? Сколько-то шиллингов? Или фунтов? Или чего-нибудь в этом роде? Кстати, я вспомнил о «Ковинсове». Вы не забыли нашего друга «Ковинсова», мисс Саммерсон?

Очевидно, в уме его возникло некое воспоминание, и он тотчас же задал мне этот вопрос свойственным ему беспечным, легким тоном и без малейшего смущения.

– Как забыть! – ответила я.

– Так вот! «Ковинсов» сам арестован великим Судебным исполнителем – смертью, – сказал мистер Скимпол. – Он уже больше не будет оскорблять солнечный свет своим присутствием.

Меня это известие огорчило, и я сразу вспомнила с тяжелым чувством, как этот человек сидел в тот вечер на диване, вытирая потный лоб.

– Его преемник рассказал мне об этом вчера, – продолжал мистер Скимпол. – Его преемник сейчас у меня в доме... «описывает», или, как это там называется... Явился вчера в день рождения моей голубоглазой дочери. Я, конечно, его урезонивал: «Это с вашей стороны неразумно и неприлично. Будь у вас голубоглазая дочь и приди я к вам без зова в день ее рождения, вам это понравилось бы?» Но он все-таки не ушел.

Мистер Скимпол сам посмеялся своей милой шутке и, легко прикоснувшись к клавишам рояля, за которым сидел, извлек несколько звуков.

– И он сообщил мне, – начал мистер Скимпол, прерывая свои слова негромкими аккордами там, где я ставлю точки. – Что «Ковинсов» оставил. Троих детей. Круглых сирот. И так как профессия его. Не популярна. Подрастающие «Ковинсовы». Живут очень плохо.

Мистер Джарндис встал и, взъерошив волосы, принялся ходить взад и вперед. Мистер Скимпол начал играть мелодию одной из любимых песен Ады. Мы с Адой смотрели на мистера Джарндиса, догадываясь о его мыслях.

Опекун ходил по комнате, останавливался, ерошил волосы, оставлял их в покое, опять ерошил и вдруг положил руку на клавиши и прекратил игру мистера Скимпола.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.